



УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)
П525

Полотнянко Н.А.

П525 Синбирские сказания. Сборник сказов / Н.А. Полотнянко. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2018. – 288 с.

ISBN

Книга «Синбирские сказания» содержит художественные поэтические и прозаические сказы из истории Синбирского края русского поэта и прозаика Николая Полотнянко, автора четырёх исторических романов синбирского цикла, изданных крупнейшим издательством России «ЭКСМО» в 2007-2010 гг.

«Синбирские сказания» созданы им, чтобы привлечь читателей к познанию истории родной земли, на которой в первые полтора века после начала заселения её русскими людьми происходили события, оказавшие существенное влияние на весь ход российской истории. Это — и культурное освоение Дикого поля, совместно с народами Среднего Поволжья, и церковный раскол, и крестьянские восстания С.Т. Разина и Е.И. Пугачёва, и деятельность первых русских промышленников, и расцвет помещичьей усадебной культуры, давшей России классиков русской литературы Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева и И.А. Гончарова.

Все сказы относятся к историческому периоду, когда город Ульяновск назывался Синбирском (1648-1780).

ISBN

УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)

© Полотнянко Н.А., 2018

© Союз краеведов Ульяновской области, 2018

© АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области», 2018

Николай Полотнянко

Синбирские сказания



Ульяновск
2018

* * *

Пусть прошлое туманно и неблизко,
Печаль о нём торжественно светла.
На площадях и улицах Синбирска,
Прислушайся, — звонят колокола.

Прислушайся! Восходит звон из глуби.
Что ни удар, то отзовётся год.
И от волненья пересохнут губы.
И память горькой скорбью обожжёт.

Мы часто на решенья были скоры,
Беспамятны... Но ты нас не кори,
Былой Синбирск. Звонят твои соборы,
И тенями встают монастыри.

И кладбища, что скрыты под бетоном
Дорог и зданий, явственно видны.
Синбирск! К твоим истокам и иконам,
Настанет час, и припадут сыны.

Художественно-историческая поэзия и проза о Симбирском – Ульяновском крае

Ещё несколько лет назад в Ульяновске полностью отсутствовала историческая художественная проза, и надежд на её появление было очень мало, поскольку не было писателя, чей талант был бы нацелен в прошлое нашего края. И все свыклись с тем, что современный Ульяновск — это глухая периферия не только в исторической, но и в русской литературе вообще, если не брать во внимание творчество известных классиков XIX века.

И вот в первом десятилетии нашего века произошло, к сожалению, ещё мало кем по достоинству оцененное событие. Писатель Н.А. Полотнянко, живущий здесь, в этом городе, среди нас, неожиданно для всех «выстрелил» целой серией исторических романов: «Государев наместник» («Богдан Хитрово») (2007), «Бунташное войско Стеньки Разина» (2008), «Клад Емельяна Пугачёва» (2009), «Жертва сладости немецкой», «Минувшего лепет и шелест» (2010); две пьесы: «Симбирский греховодник» (2010) и «Клад Емельяна Пугачёва» (2012). Кроме этого, им написана поэтическая книга «Симбирский Временник».

Все вместе они составляют впечатляющую картину наиболее ярких страниц жизни нашего края в XVII и первой половине XIX веков, где речь идёт о Б. Хитрово, С. Разине и Е. Пугачёве, симбирском дворянстве в контексте событий большой российской истории.

Обращает на себя внимание верность автора историческому времени и тематике. Исключая лёгкую, остроумную комедию «Симбирский греховодник», внимание Н.А. Полотнянко обращено к судьбоносным периодам российской истории, когда власть стоит лицом к лицу с народом и вынуждена держать перед ним ответ за все совершённые ею неправды. Такое бывало раньше в российской истории, и пребудет всегда.

Конечно, и раньше писали и о бунташном XVII веке, и непосредственно о С. Разине, но об осаде Симбирска в художественной литературе рассказано впервые с завидным

мастерством художника слова. И в этом смысле автор возвращает читателей в языковую стихию русской классики. Для Н. Полотнянко всё написанное им органично, и в лучшем смысле традиционно, потому что опирается на основополагающие смыслы русского бытия. Поэтому его поэзия и проза близка всем, кто ещё не отпал от своего народа и стремится к познанию Отечества.

Художественной особенностью романов и пьес Н.А. Полотнянко является то, что трагедийный исторический материал подан без пафоса, без лобовой дидактики, а сдержанно, порою иронично или даже просто с юмором. И это нормально, так как история даже самых великих эпох складывается из судеб обычных людей. Наверху действуют «наполеоны», а внизу простые смертные, которые не произносят ярких речей и не делают героических жестов. Поэтому на страницах произведений Н.А. Полотнянко его герои живут, а не «красиво» творят историю.

Галерея исторических персонажей в произведениях нашего автора разнообразна. Здесь и царь Алексей Михайлович, и императрица Екатерина II, и вожди народных восстаний, и служилые люди, и казаки, и крепостные, и колдуны, и симбирский губернатор, и И.А. Гончаров... И каждый герой — индивидуальность, их не спутаешь друг с другом, различаются они не только именами, но и характерами, каждый ведёт своё соло в партитуре романа или даже стихотворения.

Как профессиональный историк я знаю, что создавать историческую художественную литературу очень сложно. Мало того, что автор должен держать сюжет, наполнять героев жизнью, так ещё нужно знать историю, причём не историю вообще, а данную конкретную во всех её деталях (события, лица, даты, политическая ситуация, географические названия). Надо знать помимо истории подвижной историю другого, менее подвижного пласта бытия человеческого общества (быт, мировоззрение, хозяйство), причём во всех деталях. Стоит один раз сбиться, и неслучайный читатель крикнет: «Не верю!», и произведение перейдёт из разряда исторической литературы в перечень околосторической писанины. Следует отдать

должное Н.А. Полотнянко — он сумел этого избежать. От эпохи до мелочи — всё верно, всё убеждает, всё опирается на источники.

И, наконец, очень важно отметить, что Н.А. Полотнянко, помимо чисто исторических романов, фактически создал современную литературную летопись Ульяновска начала ХХI века: романы «Загон для отверженных», «Счастлив посмертно» («Огненный Спас»), «Бесстыжий остров», в которых наш край наконец-то нашёл своё истинное художественное отражение.

За почти полвека творческой деятельности Николаем Полотнянко создана уникальная литературно-художественная летопись Симбирского — Ульяновского края в контексте русской действительности и в форме исторических и современных романов, повестей, поэм, стихотворений, комедий и рассказов. Его книги востребованы уже сегодня, и тем более будет востребованы в будущем как опора для эстетического и нравственного самоопределения человека в эпоху политических, социально-экономических потрясений и аморальных безумств.

Предлагаемая читателям книга «Симбирские сказания» представляет собой антологию талантливых сказов о самых значительных эпизодах из жизни земли Симбирской за первые полтора века после заселения её русскими людьми. Эту эпоху с полным основанием можно считать героической, поскольку русскими людьми и жившими вместе с ними народами Среднего Поволжья были освоены и вызваны к жизни пустынные пространства Дикого поля. И все они в своё время были участниками бунташных событий XVII-XVIII веков, так называемых Разинщины и Пугачёвщины, которые освещены автором предлагаемой читателям книги в сказаниях, имеющих под собой документальную основу.

***Кузнецов Валерий Николаевич,
доктор исторических наук,
член Союза писателей России***

*Посвящается Людмиле Ивановне,
верному другу и помощнику*

Сказ про давние давности Гинзбургского края

Дикое поле

Дабы край оберечь от набегов башкир и ногайцев
И унять навсегда их по-волчьи разбойную прыть,
Государь повелел Хитрово — от Карсуна к Симбирску
Ров копать, сыпать вал и засеки, не медля, рубить.

Сберегать было что — по Суре от Курмыша
к Свияжску
Непрерывной чредой вековые стояли боры.
Меднотелые сосны, как струны, звенели
зимой от мороза,
Истекали смолой от истомной июльской жары.

На ручьях и речушках гнездились бобровые гоны.
Даже днём становилось темно от пролётных гусей.
Как бояре хмельные, в малинниках спали медведи,
И обозы пчелиные к дуплам тянулись
с медовых полей.

В мелколесьях и пустошах лоси бродили стадами.
И куницы за белками мчались в ветвях верховых.
А в Суре жироваля по заводям царская стерлядь,
И сомы щекотали русалок усами в потёмках речных.

Край обильный, не ведавший русского слова,
Простирался на полдень вдоль Волги-реки.
Вкруг лежали ещё никогда не рождавшие земли.
Только дрофы ныряли в траву, да свистели сурки.



Думы о Диком поле

Край пустынный! Просторное Дикое поле,
Где ковыль, словно мех соболиный, волнуясь, сиял.
Там во тьме зарождались несметные орды,
И московский престол от кровавых набегов дрожал.

Сберечь было что — Волга стала проезжей дорогой
От Москвы и до Каспия, до шемаханских краёв.
Струги с красным товаром упругую пенили воду
На стремнине, разбойных страхась берегов.

Государь повелел, и по слову его каждый пятый
Двор послал мужика на царёвы труды.
Так возникли Тагай и Уренск, и Сокольск, и Юшанский,
И другие острожки Карсунско-Симбирской черты.

Громоздили валы, заострённые брёвна вбивали,
Были рвы в три сажени, а там, где был лес,
Там засеку рубили почти в полверсты шириною,
А пред ней выпускали на поиск казачий разъезд.

Под защитой черты поселялись стрельцы и крестьяне,
Созидатели края, первожителю русских слобод.
И плодились несчетно, пахали и сеяли жито,
И стекался к ним беглый гулящий народ.

Оглядевшись, подняв целину и построив жилища,
Для души возводили церквей многоглавую вязь.
Сквозь леса и болота дороги к столице торили,
Чтобы крепла с Москвою державная связь.

Андреевский курган

Разъят курган.
На дне его — гробница.
В ней прах вождя неведомой страны
Сжимает меч костлявая десница.
Пустые очи сумрачно темны.

И рядом с ним — два воина в кольчугах
Стоят, зарыты с копьями в руках,
Что добровольно и вождя, и друга
Пошли сопровождать в могильный мрак.
У ног его — ничком скелет девичий
Наложницы, пусть не скучает он,
Живём зарытой, как велел обычай,
На торжестве печальном похорон.

И конский остов под седлом богат
И на сосудах серебристый тлен.
Гнетущее величие распада.
Слепая неизбежность перемен.

Валун

На нём свои оставили следы
Мороз и солнце, суховей и ливень.
И на вершине глинистой гряды
Лежит он, словно исполинский бивень.

Он много видел:
Толпы диких орд
Здесь табунились, крах готовя Рима.
И космы шкур, и лошадиных морд
В нём отражались, проплывая мимо.

Он помнит первых пахарей Руси,
И знает дату каждого набега,
В те времена, когда дичали псы
На мёртвых пепелищах человека.

О многом может камень рассказать,
Но разве от него добьёшься слова.
Лежит он, как гранитная печать,
На беспробудной памяти былого.

Святослав

Ветер дул с понизовья, упругий и свежий.
Воссиял по-над Волгой луны светлый шар.
Русский князь Святослав шёл на Белую Вежу,
Чтоб безжалостный меч обнажить на хазар.

Были полны добычей из Булгара чёлны.
На могилах друзей отшумели пиры.
И дружина устала грести через волны,
И пристала к подножью Синбирской горы.

Запылали костры. И над станом дружины
Плыл от Волги туман, предвещая тепло.
Князь отведал соспелой сырой строганины,
Лёг на землю, главу преклонив на седло.

И обьял его шум листвяного напева.
И прозрела душа, устремляясь во тьму.
И, восстав из воды, златовласая дева,
Наготово сияя, явилась ему.

И сказала она:
— Ты хазарское царство
Разгромишь, византийцев повергнешь во прах.
Только помни, всегда опасайся коварства
На днепровских порогах, в ковыльных степях.

Месяц плыл над землёю туманным осколком.
— Кто ты?.. Как мне найти тебя, где?
И ответила дева речная: Я — Волга.
И сокрылась в прибрежной кипящей воде.

Он проснулся и встал. Кумачового цвета
Облака проплывали над ним на заре.
И шумели прибоем деревья от ветра
На высокой и древней Синбирской горе.

Чингис-хан

Когда Чингис хребты сломал врагам
И увидел, как вырванное сердце
Последнего изменника лягушкой
Трепещет на ладони палача,
Он молча скрылся в златотканой юрте.

Три дня его не видели нойоны.
Три ночи он не призывал наложниц.
На троне императоров Китая
Он восседал, внимая вою ветра
И топоту горячих табунов.
Орда вокруг,
Как будто змий огромный,
Свилась в кольцо.
Он был его главою,
А хвост терялся за Полярным кругом.

Визжали жеребцы, ослы стонали,
Скрипели арбы. Мудрые верблюды,
Брюзгливо оттопыривая губы,
Глядели на костры.
Людское стадо,
Пропахшее курдючным ржавым салом,
Взглянуть не смело на бунчук владыки.

Он был один.
Взъярённые драконы
Смотрели с подлокотников во тьму.
И он глядел на пламя, камнелищый,
Как смерть, непроницаемый владыка
В год Барса ставший всемонгольским ханом,
Как посуху, ступавший по крови.

Он руку протянул.
Китаец — раб

Подад ему с противоядьем чашу.
— Паршивый раб, скажи мне — я отравлен?
Ты жить оставлен мною для того,
Чтоб правду говорить! Другие лгут.
А молчуны опасней каракурта,
Ужалят и скрываются в ночи!

— О яшмовый владыка! Повелитель! —
Ответствовал Чингису старый раб.
— Нет на земле такого человека,
Кто бы замыслил подлое злодейство:
Последний был убит у ног твоих.
Ты не отравлен, ты страшнее болен...
Три дня назад почувствовал ты скуку
В груди своей. Тебя сжигает жажда
Величия, бессмертия и славы.

Раб замолчал, распластанный пред троном.
Во тьме гортанно прокричала стража.
Скулили псы. Гудела юрта бубном.
В глазах владыки заметались тигры,
Он зубы сжал и молвил: «Говори!»
— Величие земных владык в победах.
Когда орда — твои клыки и когти —
Послушная тебе, как травы ветру,
Разрушит десять тысяч городов.
И десять миллионов мёртвых тел
Покроют мир от моря и до моря;
Тобою покорённые народы
И твой обоз — вороны и шакалы
Тебя восславят плачем и проклятьем,
Провоют и прокаркают хвалу,
Тогда ты будешь истинно бессмертен,
И неприступен для своих потомков.
Одно запомни — десять миллионов!
Ведь кто погубит даже двести тысяч
Неотличим от подлого убийцы.

Детей им не пугают в колыбелях,
И не слагают гимнов и молитв.
Из погребений кости вырывают,
Швыряют их по ветру.
Грязный пёс,
В отбросах роясь, брезгает их смрадом.

Раб замолчал.
На ставку шла гроза.
Столь редкая в степи, и было душно.
Воителя саврасый жеребец
На привязи забился.
— Подлый раб, —
Подумал хан, —
Ты должен быть правдивым,
А ты читаешь мысли...

Через день
Орда, поднявшись, двинулась на Запад
Всем скопищем кибиток, стад овечьих,
Храпящих табунов и гор верблюжьих.
В тот день в Багдаде рухнул минарет,
А в Киеве колокола вдруг зазвонили сами.

На брошенной стоянке, точно язвы,
Кострища тлели. И хромой шакал,
Отставший навсегда от жадной стаи,
Выл возле трупа старого раба.

Булгар Великий

Р. Шарафутдинову

Был Булгар Великий, многолюдьем
обильный и славный,
Защищённый от недругов крепкой дубовой стеной.
Много белых, как снег, украшали столицу мечетей.
Далеко было видно вокруг серебро полумесяцев их.

Пять веков город был знаменит мастерами ремёсел,
Что готовили замшу, сафьян, выплавляли металл.
Славой Булгара были шеломы, мечи и кольчуги,
Но особо — воловьи, упругие, как барабаны, щиты.

Полноводный Итиль бороздили купцов караваны
Из персидских и свейских, закамских
и русских земель.

Открывала радушно пред ними ворота столица,
И на торжищах бурных копила богатства свои.

Был Булгар Великий володетелем нив плодородных,
Тучных стад крепкошеих быков и несметных отар.
Табуны аргамаков копытили дикие степи.
И кипел в бурдюках, вызревая к байраму, кумыс.

Были девы нежны и чисты, словно майские луны.
Благонравные жёны хранили огонь в очагах.
А мужья были мощные вои. Мечи в их десницах
Беспощадно разили надменно кичливых врагов.

И народы, что жили вокруг — черемисы,
мордва и чувашаи,
Приносили им дань: хлеб и мед,
серебристых бобров и куниц.
Булгар всех государь был отцом и владыкой
для смертных.
И послы дальних стран пировали за ханским столом.

Был Булгар Великий, стоять бы ему
до скончания века.
Но в каспийских степях зародился неистовый смерч.
Миллионы копыт враз ударили в гулкую землю
И орда саранчой накатила на булгарский край.

Это были монголы, свирепые волки пустыни,
Кровь привыкшие пить из артерий своих жеребцов.
Главнёю горящей они по земле протекали,
И за ними три года на ней не росло ничего.

Медью прочной окованы были ворота столицы.
Но ударом тарана повержены были они.
И резня началась. И по плитам текла изразцовым
Кровь невинных детей, юных дев и седых стариков.

Трое суток монголы терзали и грабили город.
И, насытившись кровью и золотом, его подожгли.
Был Булгар Великий, от него не осталось и плача
Летописца - поэта, лишь россыпи ржавых монет.

Витязь

Кончилась дорога. Чёрный камень
На распутье медленно всплыл.
Фыркнул конь. Метнулся ярый пламень
Из ноздрей и надпись осветил.

Хмурый витязь по складам читает
Древнее пророчество в стихах.
Ничего оно не обещает,
Кроме смерти на земных путях.

Мир велик, но где пути другие?
Как идти, когда подсказки нет.
А страна за камнем тем — Россия!
И над ней восходит дивный свет.

Витязь булаву забросил в яму.
Снял доспехи. Меч вонзил в траву.
И босой, по бездорожью прямо,
Он пошёл, склонив на грудь голову.

Тридцать дней он шёл без сна и хлеба.
Конь за ним ступал стопа в стопу.
Он увидел озеро и небо.
И услышал ангела трубу.

Этот глас на путь его направил.
Понял он, что Богом не забыт.
И на этом месте крест поставил.
И в бугре песчаном вырыл скит.

Тридцать лет со тщаньем и любовью
Он молился, пашню поднимал.
— Больше ты не пахнешь, витязь, кровью.
В мир иди...
Нашёл ты, что искал!

Николина гора

Рассветный час.
В тяжёлых снежных тучах
Мелькают ярко всполохи зари.
И на краю высокой древней кручи
Смотрю я вдаль с Николиной горы.

Распахнутый простор смущает душу.
Засурье, лес, огнисто-золотой...
Рассветный час.
Легко смотреть и слушать,
Как бы паря над отчей стороной.

Здесь каждый вздох минувшим отзовётся,
Как эхом, из глубин седых веков.
Явление Николая Чудотворца
Здесь изумило некогда врагов.

И в ужасе они бежали в степи.
И затерялся навсегда их след.
Здесь созидались рубежи и крепии,
И святости струился дивный свет.

Иван Грозный на Суру

Казань близка. В мордовских дебрях рати
Князь Курбский вёл три ночи и три дня.
И, выйдя из лесов, на кровавом закате
У берега Суры остановил коня.

Царь Иоанн оставил спешно Муром
И шёл навстречу с войском основным.
Клубились облака на небе хмурым.
Над станом вился горький белый дым.

Там, где Барыш с Сурой сливались вместе,
Вставала из воды седая хмарь.
И прискакавший Иоаннов вестник
Всем объявил, что завтра будет царь.

Князь Курбский из шатра шагнул наружу.
Вокруг костров мерцал багровый свет.
Звезда, взлетев, отяготила душу
Предчувствием уже недалёких бед.

Он знал, что за казанскую победу
Придётся заплатить ему сполна.
Но князь в тот час того ещё не ведал,
Что будет и Ливонская война.

Что будут мятежи, опалы, казни,
Опричина, потоки подлой лжи.
Но в этот миг он мог помыслить разве,
Что скоро сам в Литву перебежит?..

Наутро они встретились. Пожаром
Рассвет в Суре волну окровавил.
И князь перед великим государем
Бестрепетно колено преклонил.

Первосёл

Он из глины и дёрна построил жилище.
Зиму провёл в задымлённой норе.
Первенца - сына отнёс на кладбище,
Что основал на недалнем бугре.

Богу молился, чтоб не было плоше,
Глядя с надеждою в звездную тьму.
Выжила б только кормилица-лошадь,
Счастье же пашня подарит ему.

Вновь журавли в небе синем поплыли,
Липа взмахнула зелёным крылом.
Вышел во двор, в ноздри дунул кобыле:
«Отзимовали, Карюха, живём!

Ну-ка, пошли...
Навались!»
Жирным дёрном
Пласт отвалился, блеснув чернотой.
С хрустом холстинным лопались корни
Под деревянной скрипучей сохой.

Долог денёк за крестьянской работой.
Пышет, как печь вековая страда.
Терпким мужицким пропитана потом
Каждая в поле его борозда.

Сказ про встречу Богдана Хитрово с царём Алексеем Михайловичем перед началом строительства Гинзбурга

Испокон веков повелось на святой Руси, что в начале любого дела, даже самого малого, всегда было слово, тем более, когда оно решало, быть или не быть на Волге ещё одному граду-крепости, и произнести его мог во всём Московском государстве лишь его державный владыка — великий государь и царь Алексей Михайлович.

Для этого по зимнему пути 1648 года из только что возведённого им на засечной линии острога Корсуна был вызван в Москву полковой воевода Богдан Хитрово, который, не мешкая, отправился в путь, чтобы предстать перед могущественным самодержцем.

Полковому воеводе Хитрово кремлёвские порядки были хорошо ведомы по прежним временам его службы при самом великом государе. И стольник «на крюке» в государственной комнате не стал томить своего предшественника по должности ожиданием в сенях, и зычно, перекрывая шум, возгласил:

— Полковой воевода Богдан Матвеевич Хитрово! Тебя призывает великий государь!

Все обернулись на того, кто удостоился великой милости — разговора с глазу на глаз с царём. Хитрово приосанился и неторопливо прошёл в царскую комнату.

Алексей Михайлович сидел в кресле и пальцами правой руки постукивал по столу. Он был явно раздосадован.

Хитрово опустился на колени и уткнулся лбом в пол.

— Желаю здравствовать, великий государь!

— Поднимись, Богдан, — молвил Алексей Михайлович. — Я рад тебя видеть. Подойди ближе.

Хитрово поднялся с колен, сделал шаг вперёд и остановился.

— Не раз уже пожалел, что отпустил тебя на Степную границу, — сказал государь. — Мысль у меня была поставить тебя на приказ здесь, в Москве. Но мне насоветовали другое — как де он проявит себя на службе в поле. Советники!..

Алексей Михайлович умолк и явно над чем-то задумался. Хитрово, улучив момент, внимательно посмотрел на него и отметил, что молодой царь за последний год заметно возмужал. «Недавняя женитьба, — подумал Богдан Матвеевич, — пошла ему явно на пользу».

— Советники, — повторил государь, — могут такое наподсказать, что потом волосы дыбом от их советов! Мой дядька Морозов убедил меня поднять налог на соль. Сейчас Москву завалили челобитными. Пишут из Астрахани, де, нечем солить на учугах рыбу, а та, что посолена, будет втридорога. Пишут из Ярославля, Рыбинска, Новгорода, в Москве, что ни день, хватают подстрекателей к бунту. Что делать?.. Ждать, когда толпа явится в Кремль?.. Морозов мне говорит, что отменять налог никак не можно, в Швеции заказаны пищажи для новых полков иноземного строя, деньги нужны на жалованье стрельцам, рейтарам, солдатам... Гость Строганов в челобитной советует сократить налог на соль на две трети, чтобы утишить народ. Морозов против. Сейчас только мне доказывал, что он прав. А ты как, Богдан, мыслишь?..

— Затраты на вооружение полков можно сократить, если наладить его изготовление у нас, — сказал Хитрово. — Но деньги потребны на возведение засечной черты, испомещение на ней крестьян, казаков.

Великий государь построжел взглядом.

— Как ты мыслишь Синбирск строить?

— Прошлой осенью, великий государь, я разведал сие место, — сказал Хитрово. — Над Волгой саженой на сто поднимается великая гора. В полутора верстах от неё течёт другая река — Свяига. На горе и близ неё спелый сосновый бор, годный на строительство. У меня и чертёж града готов.

Хитрово приблизился к царю.

— Это Синбирская крепость. Сначала будем вокруг неё рыть рвы и насыпать земляные валы, опоясывающие крепость. На валы надо будет ставить дубовые тарасы, двух-трёхсаженные бревновые срубы, набитые камнем и глиной. На тарасах встанут бревновые колья ограды и срубы наугольных и проездных башен. Город мыслю поставить о шести башнях: две —

Казанская и Крымская — проездные, стены на тарасах, со стороны Волги частокол, остальные рубленные... Все стены с бойницами для ведения огненного пушечного и пищального боя. Помосты на стенах для ратников, башни и проездные ворота, воеводская изба, церковь, избы ратных людей, амбары для государева хлеба, погреб для сбережения пороховой казны и свинца, поварня, конюшня для боевых коней, земляная тюрьма для лихих людишек, осадные избы для житья во время осады посадских и иных людей, которые сбегутся в город при появлении врагов.

— Скажи подробно про башни. Они есть основа крепости. В них вся сила огненного боя.

— Главные башни будут проездные, — сказал Хитрово, — Казанская и Крымская, обращённая к Дикому полю, откуда набегают ногаи да калмыки. Эти башни сплошь из дуба, ворота железом окованы. Над вратами — боевые часы. В нижнем ярусе башен — большие пушки. Через ров сделан подъёмный мост над острыми кольями. По стенам града поставлены ещё шесть глухих башен — две боковые и четыре наугольные.

— Круто ты замесил, Богдан! Чуть ли не вторую Москву надо ставить.

— Иначе никак нельзя, государь. Град должен иметь в себе всё нужное для войны и мира. Со временем он обрастёт посадом, домовыми строениями — избами, амбарами, банями, огородами, женками, детишками, всякой живностью...

— Не части, Богдан, дай государю слово молвить. А что, с волжской стороны не бревновая стена?

— Тяжело земле будет: с горы к Волге оползни случаются. Стена может съехать в Волгу.

— Говори, в чём нужда?

— Работные люди потребны, государь. — Строить надо Синбирск, и черта только начата. Сейчас у меня на Карсуне всего две сотни стрельцов и полусотня казаков.

— Князю Петру Долгорукому отписано в Нижний Новгород нарядить на черту и град Синбирск до пяти тысяч работных людей, взяв с каждого пятого двора по одному крестьянину или

бобылю. Если замешкается, будет в ответе! Ты отпиши мне, если что не так.

Алексей Михайлович встал с кресла, сделал несколько шагов по комнате, остановился, прислушался. Из сеней порывами доносился лёгкий шумок.

— Слышишь, Богдан, как шумят, колобродят каждый о своём... Нигде от них спасу нет. Я уже приказал двери войлоком оббить и сафьяном обшить, всё равно слышно. Тут как-то Федя Ртищев принёс мне свой переклад с фряжского учёного мужа Маккиавели, «Государь» называется. Умно писано: всяк государь одинок, как сирота. Если и можно с кем по душам поговорить, то только с Богом, а среди человек собеседника государю нет. Всяк из людишек норовит вырвать у царя что-нибудь для себя.

Алексей Михайлович сел в кресло, посмотрел на примолкшего Хитрово, улыбнулся и громко вымолвил, обращаясь к комнатному стольнику, который немим истуканом стоял возле двери:

— Степан, кликни дьяка Волюшанинова!

Дьяк резво вошёл в комнату и привычно уткнулся лбом в пол.

— Указ готов? — спросил Алексей Михайлович.

— Готов, великий государь!

— Тогда иди и объяви для всех с крыльца. И ты, Богдан, ступай!

Хитрово нагнулся к милостиво протянутой царской руке и, жарко дыхнув, поцеловал потную ладонь Алексея Михайловича.

Выйдя из царской комнаты, дьяк Волюшанинов преобразился, стал выше ростом, могутнее статью, свиток с царской грамотой, который он нёс на вытянутых руках, заставил бояр окольничих и думных дворян отшатнуться к стенам и освободить дорогу государеву глашатаю. Следом за Волюшаниновым шёл Хитрово, а за ними двигались лучшие люди. Их появление смело с крыльца площадных стольников и стряпчих. Дьяк развернул начало грамоты и громко стал выкрикивать:

— Божьей милостью Царь и Великий Князь, Алексей Михайлович, всея России Самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Лифляндский, Удорский, Обдорский, Кондинский и Государь и Обладатель повелел за многия труды, за Керенскую службу, за городовое и засечное строительство, да за Карсунскую службу и засечное строительство пожаловать полкового воеводу и стольника Богдана Матвеевича Хитрово в окольные и дать ему восемьдесят рублей и триста четей земли в каждом поле в Царёвом Сенчурске!

— Ну, и какво стать окольным? — спросил с улыбкой государь вернувшегося в комнату Хитрово. — Там, возле крыльца, — государь указал рукой в окно, — вон, сколько толпится стольников. Все тшятся взлететь, да крылья далеко не у всех вырастают. Мыслью, что я в тебе, Богдан, не ошибся.

Хитрово упал на колени и коснулся лбом яркого персидского ковра.

— Великий государь! Все мои помыслы — служить тебе, не щадя живота своего!

— Встань, Богдан, — молвил государь. — Верю, что не ошибся в тебе. Большие дела предстоят, и для них нужны новые люди, такие, кто свободен от воспоминаний времён лжецарей и Смуты.

Слова царя были Богдану Матвеевичу вполне понятны. Алексей Михайлович венчался на царство шестнадцатилетним юношей, и сильные люди — Морозов, Хованский связали его клятвенным обязательством за любые преступления людей вельможных родов не казнить смертью, а только ссылать в заточение. Эта клятва, данная царём Алексеем, так же как и его отцом Михаилом, была для него всегда тягостным напоминанием о допущенном слабодушии.

— Я не в силах долго гневаться на Бориса Ивановича, — сказал царь. — Мой дядька, как себя помню, он всегда рядом. На него жалуются. Сегодня не успел от утрени выйти, суют под нос ворох челобитных. Обложили соль по совету Морозова, а что из этого выйдет, не ведаю.

Алексей Михайлович замолчал и потупился. Любимый кот царя прыгнул ему на колени и заурчал.

— У тебя недалече от нового града Синбирска соляные промыслы в Надеином Усолье. Виноват я перед Надеей Светешниковым, не доглядел, умер гость на правеже. Сейчас промыслами его сын владеет. Ты проведай его дела в Усолье. И отпиши, что он желает.

— Сделаю, великий государь, — сказал Хитрово.

— Град строй, но и другие дела не упускай. Смотри за ясачными людьми, что-то худо от них куньи меха идут. Пользуйся моим указом: кто из язычников примет православие, тот на пять лет свободен от ясачной подати. Но ни татар, ни чуваш к нашей вере не тесни...

Я прошлым летом разговаривал с аглицким купцом Самуэльсом, не по торговым делам, а пытал его о тамошних порядках. Всё у них не по-нашему устроено, но самое любопытное, что там крестьяне уже четыреста лет свободны. А мы только надумали запретить им выход. Я вот записал, сколько доходов получает королевская казна, в десять раз больше, чем наша. Но не от земли, а от торговли.

— Там крестьяне владеют землей? — спросил Хитрово.

— Нет, нанимают её на срок у лордов.

— Им бы наши заботы, — вздохнул Хитрово. — У них крестьянишки от безземелья в Америку убегают, а у нас земли немеряно, наш мужик землю нанимать не будет, уйдёт, куда ему вздумается, и найдёт себе пашню. На Руси мужика надо держать в кулаке.

— У тебя, Богдан, всё просто. Ты предлагаешь в кулаке держать не палку, но человека, у коего есть божеская суть — его бессмертная душа. А ведомо ли тебе, как меня бесчестят в Европе, каким срамным именем называют те же шведы, ляхи и

прочие паписты и лютеры?.. Они меня, Богдан, Геростратом обозвали? Тебе ведомо, кто этот Герострат?

— Первый раз слышу, великий государь.

— Я велел посольскому дьяку Алмазу Иванову узнать, что это за некресть такая — Герострат? И он проведал, что это ветхий грек, который жил во времена царя Соломона.

— Какое зло сотворил этот Герострат, — вкрадчиво спросил Хитрово, — что немцы посмели обругать православного государя его именем и воздвигли на него злые бесчестья, хулы и укоризны?

— Сжѣг языческий храм. И в его деянии я не усматриваю ничего зазорного. Для лютеран шведов, чья вера недалеко ушла от язычества, сей Герострат может и тиран, а православный человек его поступок признает добрым. Ведь это так, Богдан?

— У меня в этом нет никакого сомнения, великий государь! — жарко выдохнул окольничий.

— Точно, как ты, говорит и патриарх, — молвил царь. — А бояре советуют потребовать от шведов миллион ефимков и пригрозить войной. Вот такие у нас советники. Проси, что ещё надо...

— Просьбишка у меня, великий государь, — сказал Хитрово. — На соборную церковь в Синбирске добрый пастырь нужен.

Эти слова пришлись Алексею Михайловичу по душе. Он был истовым христианином и назубок знал церковную службу так, что даже вмешивался в исполнение обрядов, если они неправильно проводились.

— Скажу Ивану Неронову, чтобы подобрал попа из своего окружения, — сказал государь. — Вчера он мне представил лопатицкого протопопа Аввакума, которого с места воевода вышиб.

— Я его видел у Ртищева.

— Как он тебе показался? — заинтересовался Алексей Михайлович. — Может на Синбирск годится?

Возможность иметь рядом с собой иерея бунташного нрава не вдохновила окольничего.

— Сей протопоп дерзок с начальными людьми. Опасаюсь, как бы он на границе не учинил смуту.

— Ужели он на такое способен? — удивился Алексей Михайлович.

— Тебе ведомо, великий государь, что люди на черте не по своей воле нарушают предписанные церковью обряды. Аввакум в вере неистов, вся опасность в этом.

— Добро, — сказал, чуток поразмыслив, Алексей Михайлович. — Неронов даст тебе покладистого иерея. А мне Аввакум своей неистовостью пришёлся по сердцу. Он прав — Богу служить абы как нельзя. У нас много чего негожего накопилось в церкви.

Алексей Михайлович с улыбкой посмотрел на окольного и подал ему ларец из дорогого кипарисового дерева, изукрашенный серебряной чеканкой:

— Сей серебряный позлащённый крест, убранный жемчугом и драгоценными камнями, наш с государыней дар новому русскому граду Синбирску. Про то сделана надпись: «Повелением Великого Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича и его благоверных Царицы и Великой Княгини Марии Ильиничны сделан сей крест в Синбирск во град в соборную церковь Живоначальных Троицы...»

Алексей Михайлович с улыбкой посмотрел на окольного.

— Великий государь, — с жаром произнёс Хитрово. — Я премного вознесён твоей милостью! Дозволь завтра отбыть на черту!

— Поезжай с Богом! Я на тебя в полной надежде. Знай, что скоро ты мне будешь нужен на Москве.

Сказ о приходе Богдана Хитрово с ратными и работными людьми на Гинбирскую горѹ

В один из последних майских дней 1648 года ратные и работные люди, во главе с окольным и воеводой Богданом Матвеевичем Хитрово, вышли в пойму реки Свияги, за которой сразу начиналась Синбирская гора. Она предстала взорам прибывших людей твердыней, которую им необходимо было покорить в самое ближайшее время. По склону горы к её вершине, как ратники в чешуйчатых доспехах, плотно стояли медноствольные сосны. На берегу передовым охранением притаились заросли ивняка, а над водой у берега, сторожко улавливая малейшее движение ветра, стояли чуткие камыши.

Люди приказчика Авдеева успели закончить работу к назначенному сроку. Наплавной мост — связанные ивовыми прутьями деревья, укреплённый кольями, забитыми в дно реки, — слегка покачивался на поверхности воды между берегами и двумя островами, которые делили течение реки на три протоки.

Въезд на мост был расчищен от ивовых кустов, и возле него воеводу встречал приказчик Авдеев.

— Мост готов, — доложил он. — Я послал всех мужиков на ту сторону рубить просеку на макушку горы.

— Вижу, что мост готов, — сказал Хитрово. — И слышу, что лес рубят. Начнём, с божьей помощью, переправу!

Сначала на правый берег перешли темниковские лесорубы, за ними переправились стрельцы и часть казаков, затем настала очередь алатырских плотников и обоза. Кони, чувствуя под собой зыбкий настил, вздрагивали, пугаясь, и храпели. Возчики держали их под уздцы, сзади мужики подталкивали телеги. Переплавились удачно, кроме опасного случая, когда один конь с перепугу рванулся встать на дыбы, но возчик вовремя повис на нём и не дал рухнуть в воду.

Богдан Матвеевич переходил мост в числе последних. Чуть позади него шёл денщик Васятка, ведя своего и хозяйского коней на поводьях. С левого берега вслед им смотрели несколько казаков, которых воевода оставил для сбережения переправы.

Крутую часть подъёма Хитрово прошёл пешком, следуя по просеке. Алатырцы успели не только свалить деревья, но и оттащили их по сторонам, сделав неширокий, в две сажени, проход в лесу. Далее подъём стал положе, и Хитрово поскакал верхом, обгоняя неспешно идущих людей.

— Першин! Поди сюда! — вполголоса крикнул воевода, заметив градоделльца, который шёл в гору, держа в поводу коня.

Дальше был лес, ещё не тронутый прорубкой просеки. Звуки топоров остались позади, Хитрово, Першин и Васятка ехали по сосновому, пронизанному лучами солнца, бору, в котором почти не было подроста. Все деревья были одного, примерно, векового возраста, зрелые сосны, прогонистые и ровные, с далёкими от земли шапками редких верховых ветвей.

— Есть из чего град ставить? — спросил Богдан Матвеевич.

— Есть, воевода. Добрый лес, в самый раз на срубы для городьбы и изб.

— Вот и распорядись им по-хозяйски.

Они пересекли неглубокий лог и, проехав ещё немного, попали на просторную поляну, которая одним своим краем уходила в небо.

— А вот и венец, — сказал Хитрово. — Самый край берегового обрыва.

Где-то невдалеке громыхнул гром. Они привязали коней к дереву и подошли к краю горы. Со стосаженной высоты венца перед ними необъятно распахнулся вид на Волгу и её пойму. Река петляла между островов, широко и стремительно шла по коренному руслу, заводями, заливами и протоками, охватывала громадное, не уместяющееся в человеческий взгляд, пространство земли и воды. Левый берег был пологим и неспешно отступал от реки, поднимаясь двумя широкими террасами.

Туча не донесла свою тяжесть до высокого правого берега, опрокинулась посредине реки частым дождём, и налетевший неведомо откуда ветер быстро разметал дождевые струи над белолобыми волнами. Заходила Волга, заволновалась, бросилась на свои берега, взбаламучивая песок и глину. Но ветер разметал

на мелкие облачные клочки тучу, небо обнажилось и засияло солнцем.

— Здесь место для крепости самое подходящее, — сказал Першин. — Давно я города ставлю, но такого удобства не видывал. Заволжское Дикое поле всё, как на ладони, просматривается, и казанская, и крымская, и русская стороны также будут хорошо видны. Лес мы сведём на крепость и откроем простор взгляду.

Богдан Матвеевич мыслил о другом. Стоя на высоком волжском откосе, он чувствовал, как в него вливается щемящее душу желание взмыть над Волгой в вольном полёте. «Как здесь просторно! — думал он. — Для того Господь и создал такие места, чтобы человек почувствовал своё горнее будущее».

Васятку высота, открывшаяся перед ним, тоже смущала. Ему стало понятно, почему Волга манит к себе неуживчивых, беспокойных людей, и они, бросив всё привычное, бегут сюда, чтобы обрести волю. Сейчас река была пустынной, но Васятка так пристально вглядывался вдаль, что ему показалось, он видит белый парус струга, летящего по волнам, за ним ещё один парус, ещё один. Васятка протёр глаза, и видение исчезло.

Вершина горы наполнилась людьми, которые располагались на отдых. Начальные люди поспешили к воеводе с докладами. Он выслушал их и отпустил с наказом дать послеобеденный отдых работникам, а затем браться за труды. Темниковские лесорубы должны были начать валку леса на вершине горы, на которой будет поставлена крепость. Предстояло очистить от деревьев более двух десятин соснового бора. Алатырцы и стрельцы были наряжены на работу по прокладке дороги от Свяги к будущей крепости. Казаков воевода приказал разбить на несколько станиц, по десятку человек в каждой, и распустить в разные стороны на поиск для проводывания поля. В последнем была особая нужда: башкирцы, калмыки и ногаи ещё не забыли свой обычай делать набеги на русскую сторону.

Богдан Матвеевич в силу своего поста окольничего и полкового воеводы хорошо представлял, в каком положении находится южная граница Русского государства, и с каких сторон через неё пытаются прорваться враги. Два десятка лет

назад положение дел в Нижнем Поволжье и Причерноморье резко изменилось. Из северо-западных областей Китая к Волге подошли калмыки, которые вступили в борьбу за обладание летними кочевьями с ордой Больших ногаев. Под давлением пришельцев ногаи ушли из-за Волги и стали пробиваться через Дон для соединения с крымскими татарами. Туда же двинулась и Малая ногайская орда. В течение двух лет донские казаки препятствовали этому, но ногаи всё-таки прорвались в Крым и соединились с единоверцами. В 1634–1636 годах они предприняли сильные вторжения в русские пределы, и на огромном пространстве от заозких уездов до «мордовских мест» население вело с ними отчаянную борьбу. Эти кровавые события подтолкнули русское правительство к переустройству и усилению обороны южных границ государства.

В скором времени были построены десять новых городов и возобновлён город Орёл, разрушенный в годы польской интервенции. Было положено начало строительству новой оборонительной черты, названной Белгородской.

В 1637 году донские казаки по собственной воле заняли Азов. Это создало угрозу осложнения отношений с турками. В сентябре того же года по указу турецкого султана крымский царевич Сафат-Гирей вторгся в русские пределы и захватил в полон более двух тысяч человек. В Москве допускали возможность, что татары преодолеют засеку «большой мочью и пойдут к берегу, и Оку перелезут, и пойдут под Москву». Поэтому в 1638 году правительство, мобилизовав большое количество людей и огромные средства, полностью восстановило заозкую оборонительную черту на протяжении шестисот вёрст.

К счастью, получилось так, что занятие Азова и удержание его пятью тысячами казаков в течение нескольких лет против двухсоттысячного турецкого войска остановило вторжения татар на некоторое время, но затем они возобновились и достигли большой силы. Против них на Белгородской черте были построены ещё восемнадцать городов и создано два укреплённых района с целой системой острожков, валов, рвов, засек в Комарицкой волости под Севском и в Лебедянском

уезде. К концу сороковых годов было в основном завершено строительство Белгородской черты от реки Ворсклы до Тамбова на Цне, с продолжением её дальше на восток — сооружения гораздо более мощного, чем старая засечная черта: валы, рвы, надолбы, острожки и города составляли почти сплошную линию. Укреплённая граница была заселена крестьянами, которые стали со временем отличными солдатами и драгунами создаваемых полков иноземного строя.

К 1648 году возведение засечной черты дошло до Синбирска, который должен был стать важным стратегическим пунктом на Волге. Строительство крепости было своевременным шагом правительства, потому что калмыки и башкиры в 1647 году совершили большой набег на волжские пределы и даже осаждали Самару, но воевода Плещеев нанёс им жестокое поражение под Саратовом.

...Вековые сосны на горе шумели спокойно и умиротворяюще. Люди спали, но приказчик Авдеев был занят, он с подручным достал из укладки своего воза небольшой колокол, который они привязали к ветке дерева. И вот по бору разнеслись частые и звонкие удары набата. Это был призыв к началу работы.

К Авдееву подошли его полусотники, и каждому он дал задание. Одни обязывались разбить стан для житья работных людей, устроить большие шалаши, очаги для артельных котлов и отхожие места, чтобы не загаживать лес. Другие во главе с Авдеевым пошли на просеку, там ещё было работы не впрокорот.

Приказчик лесорубов с Першиным обошли участок, где деревья нужно было срубить подчистую, и делали топорами затеси на деревьях, обозначая границы лесоповала. Их сопровождали полусотники, которые тут же получали размеры своих лесорубных участков, отмечали своими зарубками крайние деревья и приглядывались, с какой стороны лучше начать валку леса.

Першин как организатор всех работ не забыл и ещё об одном немаловажном деле.

Основными орудиями труда для работных людей были топоры, поэтому Прохор призвал к себе кузнеца Захара, выделил ему в помощь несколько людей из возчиков и велел подготовить с десятков точильных станков на колодах с широкими пазами для воды, смачивающей круги из песчаника. Три десятка работников он послал изготавливать берёзовые слегги, используемые в качестве рычагов при корчевании пней. Конечно, освободить от пней всю площадь, которую займёт крепость в скором времени, было невозможно, для начала это было нужно сделать там, где будут построены самые первые избы — воеводская и пороховой погреб.

День был в самом разгаре, когда к Хитрово подошли Першин и приказчик лесорубов. Они были чем-то заметно смущены, и воевода это заметил.

— Что мнётся? Или в чём промашка вышла?

— Не изволь гневаться, воевода, — сказал приказчик. — Мужики тебя к себе просят.

— Что за дело? — удивился Хитрово.

— Кланяются тебе лесорубы и просят тебя срубить первую сосенку для почина.

Богдану Матвеевичу такая просьба была в новость, но она его не смутила, а скорее позабавила.

— Тогда идём, коли просят.

Лесорубы встретили приход воеводы одобрительным шумом. Приказчик подвел его к сосне явно меньших размеров, чем те, что её окружали, и подал топор.

— Что ж вы мне такую захудалую сосёнку подобрали? — спросил Богдан Матвеевич. — На бревно для сруба она не годится, разве что на подпорку к худой городьбе.

Он огляделся по сторонам и приблизился к ровной и прямой, как свеча, сосне, устремлённой саженей на десять в высоту. Обошёл её вокруг, стукнул обухом топора по стволу.

— Эта вот годится. Так, мужики?

— Так! Так! — зашумели лесорубы.

Богдан Матвеевич снял с плеч кафтан, взял в руки топор и со всего размаху вонзил его чуть выше комля. Сосна на удар откликнулась коротким вздохом, на землю упали несколько

шишек. Двумя ударами, наискосок и вдоль земли, он вырубал щепку за щепкой, чувствуя, что ему становится жарко. Мужики смотрели на воеводу с топором в руках и радовались, что он их уважил, не побрезговал прийти к ним и прикоснуться к их чёрной работе.

Хитрово дорубил дерево до середины и почувствовал, что весь взмок, как мышь. Но он был упрям и понимал, что отступить ему никак нельзя. Першин с вниманием смотрел за воеводой, и когда тот углубился ударами топора достаточно глубоко, подошёл и подрубил ствол с другой стороны. Этого оказалось достаточно — сосна вздрогнула и, задевая другие деревья, рухнула на землю. Вокруг раздались одобрительные возгласы:

— С почином! С почином!

Лесорубы пошли по своим участкам, и скоро вся гора наполнилась треском и грохотом. Вековые сосны обрушивались одна за другой, освобождая место для нового града Синбирска.



Крестьянин-лесоруб и ратник

Сказ про ногойский набег

-I-

Лампада жёлто тлела под иконой.
Петушьим гребнем алая заря
Над Волгой воссияла.
Ржали кони.
Вилась позёмка, искрами горя.

Перекрестившись истово три раза,
Он из ковша плеснул в лицо воды.
День впереди — бдить царские указы,
Доносы разбирать, вершить суды...

Зевнул, по-волчьи клацнув челюстями.
Испил вина из кубка своего.
Почти всю ночь провёл в острожной яме
Без сна Богдан Матвеич Хитрово.

Вокруг народец на разбои прыткий.
Глаза сомкнёшь — и вот она, беда.
Вчера ногоец показал на пытке,
Что из Заволжья движется орда.

Он приказал не медлить и сегодня
Разведку выслать, ибо враг не ждёт.
В окошко глянул: наготове сотня
Казаков гарцевала у ворот.

Он знал, что не вернётся каждый пятый
Из посланных...
Коварен старый хан!
И в горницу, огромный, звероватый,
Вошёл на зов походный атаман.

Боярин Хитрово промолвил:
— С Богом!
На всё три дня. Засады берегись!..
Ворота заскрипели. Из острога
Станица с гиком перешла на рысь.

За нею взвился белый хвост метели.
Вставало солнце, разгоняя мрак.
И к воеводе, как сквозняк сквозь щели,
Проник подьячий с кипюю бумаг.

Бочонок — статью, мордочкой — лисица,
А вьёт слова, как будто чародей.
Поморщился боярин на мздоимца.
В кнуты б его, да жалко — грамотей.

Другого не найти во всей округе.
Всё ведаёт в делах, собачья сыть.
Вон — целый ворох приволок докуки,
На всё ответить надо, рассудить...

-II-

На крыше съезжей снег шуршал половой.
Склонился люд.
Богдану Хитрово
Царь повелел вершить в краине новой
Суд праведный от имени его.

И в этот день пред ним прошли чредою:
Должник — на правеже весь день стоять,
Крестьянин беглый — выдать с головою,
Базарный тать — на год в оковы взять.

По всей Руси ещё гноила смута,
От Пскова до окраинной земли.

Пришёл указ, чтобы повинных в бунте
Поймать, дабы на Дон не утекли.

И зорко бдить за понизовой степью,
За каждой шайкой, каждым бунтарём.
Поволжье тлело, словно уголь под пеплом,
Чтоб распалиться разинским огнём.

Вокруг конца не видно лихолетью,
Как будто бесы кружат над страной...
Из думы отписали:
Лютой смертью
Казнить воров, что взяты за разбой.

Всё сделать, как в Москве приговорили,
Подъячему велел.
Свершился суд.
Чтоб прорубь на Свияге прорубили,
А кат покруче просолил свой кнут.

-III-

Снежинки комарьём в лицо метнулись.
Пахнуло свежим деревом крыльца.
Под шубою тяжёлою сутулясь,
Смотрел на Волгу Хитрово с Венца.

Скулил у ног бродячий пёс острожный.
Боярин злобно пнул его под дых.
Казачья сотня сгинула в Заволжье.
Четвёртый день, как нет вестей от них!

И где они?.. Увязли в снежных топях?
А может быть, не дале, как вчера,
Их головы чубатые на копьях
Подъяты возле ханского шатра?

И завтра огласится диким гулом
Окрестность от нахлынувшей орды.
Он приказал удвоить караулы
И за острогом выставить посты.

Стрельцам — готовить сабли и пищали.
Вокруг — сторожевые жечь костры.
Послал гонца в Корсун, чтоб не зевали,
Отставили похмелья и пиры.

Строптивцам посулил свою немилость,
Чтоб в строй встал каждый ратный человек.
И весь рубеж, засекой ошетинаясь,
Был наготове отразить набег.

В Москву б сейчас... Но далеко столица.
На помощь от неё надежды нет.
На нём сейчас поволжская граница,
И он один за всё несёт ответ.

Позор и слава – всё в руке у Бога,
Но воевода не порушит честь.
Гонец стучит копьём в ворота острога,
И он готов услышать злую весть.



Сказ про то, как синбирские казаки воевали со Степью

Казачья станица, широким загоном раскинувшись по степи гулко копытила поросшую жёсткой травой твёрдую землю. На берегу Майны казаки застали дымящиеся головёшки господской усадьбы, крестьянских избёнок, несколько изрубленных тел, облепленных зелёными жирными мухами.

Из живых нашёлся один мальчонка, который забился в заросли полыни и конопли, и видел, как всё было. Ногайцы подкрались незаметно под утро, выпустили десяток зажжённых стрел, завизжали, замахали саблями и пиками и ринулись на господский двор. Хозяин, шляхтич — русский дворянин — переселенец из Литвы, отстреливался из пищаля, потом выскочил на крыльцо с двумя пистолетами, застрелил двух ногайцев и тут же был насквозь пронзён пикой. Подбежали трое мужиков с копьями, но их расстреляли из луков. После этого налётчики выволокли из дома жену шляхтича с дочерью, связали их, затем сложили, что было ценного в доме, в узлы, набили мешки металлической посудой, кувшинами, тазами, хотели взять зеркало, но разбили. Согнали в один табун лошадей, коров, овец и погнали в степь.

В мужицкие избы ногаи не заходили, знали, что там поживиться нечем. Подождгли их одну за другой и, наскоро перекусив едва обжаренным на огне мясом, покатили в степь, как это всегда делала орда. Но это была уже не орда, а шайка налётчиков, около полусотни всадников. Им бы жить мирно, пасти скот на своих бескрайних пастбищах, но нет, вдруг просыпался в них зуд набега, желание пролить чужую кровь, полонить кого-нибудь, продать в рабство. Грабёж пахотного населения был смыслом жизни степняков. Так жили их предки, так хотели жить они сами, не догадываясь, что их время уже прошло, а они — обыкновенная, сбившаяся в стаю, шайка молодых шакалов, которые ещё не почувствовали на себе тяжесть казачьей руки и её разящего удара.

Набеги на русские окраинные поселения к середине XVII века стали редки. Чаще калмыки, башкиры и ногайцы воевали между собой, но, случалось, появлялся среди них отчаянный башибузук, который не слушал старших своего рода, когда те ему говорили о силе огненного боя русских воинов, их неустрашимости и стойкости в бою. Именно таким был Аскер, который, наслушавшись прадедовских преданий о том, как Золотая Орда властвовала над Русью, вообразил себя тем, кто в состоянии объединить Степь против русских. А для этого, полагал он, нужно совершить подвиг, победить русских, привести на аркане полон, пригнать много скота, набить животы отощавших нукеров мясом. Аскер был изрядным гордецом, и хотел, чтобы о нём в степи пели песни, чтобы у него было много пастбищ, скота, жён и наложниц.

Атаман Степан Большой уже слышал об этом парне и поэтому не удивился, узнав, что разбой на Майне его рук дело. Идти по следу Аскера было легко: скот вытаптывал в степи широкую дорогу, но Степан опасался, что увидев погоню, разбойник бросит всё и уйдёт только с пленницами. Красивые русские женщины высоко ценились в Средней Азии, и за них бухарские купцы, постоянно обитавшие в ногайских улусах, могли дать большие деньги. Этого нельзя было допустить, и вечером, когда уже начало темнеть, атаман позвал к себе сотника Осипа Разгуляя.

Они слезли с коней и сели на землю.

— Как думаешь, где сейчас Аскер? — спросил Степан.

— Впереди вёрст за пятнадцать, может двадцать.

— Тут видишь, какая беда... Он может уйти с бабой и девчонкой, а скот бросить.

— Этот зверёныш может. Слушай, Степан, что мы с ними возимся: в плен берём, на воеводский суд волочём? Взять всех в пики, и вся недолга.

— Ты дело слушай! Отбери из своих человек семьдесят и, пока мы кашеварить будем, уйди оврагом в сторону. Когда стемнеет, двинешь так, чтобы к утру оказаться впереди ногаев. Твоя задача отбить полонянок живыми, а с Аскером делай, что хочешь!

— Понял, атаман! — Разгуляй вскочил на коня и направил к своей сотне.

Ночь выдалась тёмная, беззвёздная. Казачья станица спала, плотно обложившись дозорами, которые, выдвинувшись во все стороны, чутко вслушивались в темноту. Изредка ржали кони, да иногда казак во сне вскрикивал, увидев нечто такое, что трогало душу. Степан Большой лежал на кошке и раздумывал, как дальше скроить свою жизнь, которая уже вдосталь помотала его по белу свету. И где он только не побывал за свою тридцатилетнюю службу. Молодым добивал остатки казацких и ляшских шаек, которые бесчинствовали на Руси, потом был в осаде под Смоленском, ходил в Литву. Даже в Сибири побывал за караваном с мягкой рухлядью. Последние два года определили его в Рязанский разрядный полк. Пришли на Синбирскую гору, крепость строить. И понял Степан, что надо бросать бродячую жизнь, укореняться. Присмотрел себе землю ничейную, попросил дьяка Григория Кунакова написать великому государю челобитную на отвод 200 четвертей пашенной земли, тем более она находилась за чертой, в Диком Поле, и желающих на неё не было. И крестьянишек себе Большой присмотрел — чувашей, которые хотели избавиться от ясака. Хорошие, работающие люди, он был уверен, что уживётся с ними. За службу у него скопилось немало рублей. И решил он жениться на чувашке, на дочке одного мурзы, чтобы старость отдать молодой жене и детям.

Утром казаки быстро снялись с ночевки и двинулись вперёд. День вставал жаркий, душный. Сегодня должно было всё кончиться, и от близкой смертельной схватки у неопытных казаков на сердце было томление и неуютность, а опытные рубаки подтягивали ремни, проверяли упряжь, оружие и зорко вглядывались в степь.

Степан Большой выехал на небольшой курган и увидел в верстах трёх тучу пыли.

— Сшиблись! — понял он и скомандовал сотне ускорить движение и приготовиться к схватке.

Из тучи пыли вырывались коровы, лошади, отдельные всадники и мчались прочь. Казачья лава врезалась в сечу, когда

уже почти всё было кончено. На маленьком пяточке земли бешено крутились, отмахиваясь саблями, несколько ногайцев, прикрывая полонянок, которые сидели на земле, обхватив головы руками. Степан Большой понял, что Аскер решил использовать женщин как заложниц. У ногайцев, которые любили кичиться своей гордостью, была такая паскудная привычка — прятаться за женщин, когда им угрожала опасность. Казаки плотно окружили разбойников, но не знали, что делать. Аскер размахивал саблей над головой женки шляхтича и вопил, что есть силы:

— Зарежу! Отпускай, зарежу!

Степан Большой краем глаза заметил, что казаки слева от него сбились в кучу, прикрывая конями мушкетчика, прилаживающего на сошники своё оружие. Нужно было выгадать несколько мгновений и атаман, подняв руку, крикнул:

— Храбрый Аскер! Мы отпустим тебя, только оставь нам женщин!

— Нет! Урусы богаты женщинами, и эта добыча моя!

В этот миг ударил мушкетный выстрел, и казаки ринулись вперёд. Кусок свинца разбил голову ногайца вдребезги. Мать и дочь были невредимы, только от волнения потеряли сознание.

— А ну, сбивай скотину в табун! — скомандовал атаман. — Оружие собрать. Мертвяков зарыть!.. Своих везти в Синбирск!

Стоянку сделали недалеко, на берегу тихой степной речки. Дымился большой таган с мясом. Казаки купали коней и сами плескались в воде. Все были довольны и веселы, кроме одного казака, который лежал в стороне, спеленатый в тонкую кошму. Для него всё на свете кончилось и началось там, где все мы, грешные, когда-то да пребудем.

Пообедав, отдыхать не стали, выбрали прямую дорогу на Синбирскую крепость, двинулись по ней и шли до позднего вечера. Заночевали на опушке берёзовой рощи.

Большой и Разгуляй сидели у догорающего костра и тихо беседовали. Говорили о том, что Москва не поспешает с выдачей денег, казаки недовольны, и добром это не кончится.

— Отучают нас от казакования, — сказал Большой. — Раньше никакой разницы не было между казаками, а сейчас донские,

гребенские, яицкие. Но у тех своя управа. Пока вот и меня на кругу выкликают. Но помяни мои слова, скоро всё это для городских казаков кончится. Атамана будут назначать, в походы ходить не будем, а в городах сидеть навыкнем. Будем рядом со стрельцами яблоками мочёными торговать.

— А что же делать?

— Думать надо. Тебе, как сотнику, вряд ли земли нарежут, был бы татарский мурза, получил бы сотню четей в одном поле. А так ты кто? Казак, даром что сотник.

— Так что же делать, дядька Степан?

— Жениться, дурья твоя башка!

— Так на ком жениться? В степи же невесты не растут?

— А чем полонянка плоха. Жёнка видная, вдовая, что дочка, так то не беда. Своих казаков нарожаете. А у неё земля, ей хозяин нужен, а ты мужик видный. Хочешь, сосватаю?

— Как-то неудобно сразу, я ж её не знаю.

— Вот, дурак!

Утром поднялись и лёгкой рысью двинулись в путь. Атаман подъехал к разгуляевской сотне, где ехали вдова с дочкой. Пригляделся: жёнка в самом соку, от испуга уже отошла, зорко смотрела вперёд, выглядывая, скоро ли начнётся отчина. Атаман своим конём оттеснил коня вдовы в сторону, от чужих ушей подальше.

— Как жили-ночевали, госпожа? Улеглось хоть чуть-чуть сердечко? Такое пережить, воину и то страшно.

— Страшно уже не то, что пережито, а то, как дальше жить. Дом разорён, муж убит, нива в колосе, а кому жать? Да ты, атаман, не стесняйся, зови меня Евдокией Егорьевной и прямо говори, что надумал.

Большой хмыкнул в бороду: бабочка, и правда, с головой на плечах.

— Не буду скрывать от тебя, Евдокия Егорьевна, разговор о тебе у меня был сегодня ночью с сотником Осипом Разгуляем. Уж больно по душе ты ему пришлась.

— Так ты что, сватаешь?

— Да так и делаю. Я Осипа с молодых казачат выпестовал. Сейчас ему чуток за тридцать. К вину воздержан, холостой, кое-

что имеет на жизнь. Вот я и подумал, а не свести ли вас вместе. Он и защитник, и работник. Решай!

— Да как это сразу, решай? Чай, не козу покупаем. Вот если бы он пожил у меня недельку, другую, я бы присмотрелась и решилась.

Атаман свистнул и Осип Разгуляй подскакал к ним, красный, как рак, язык проглотил.

— Слушай, сотник, приказ! Отбери десятка два самостоятельных казачков из своей сотни и останешься в усадьбе Евдокии Егорьевны для сторожи. Получи провиант, из табуна заберите её лошадей и коров. Сторожу нести до Покрова. А вас, Евдокия Егорьевна, на зиму приглашаю в Синбирск.

Сотни, не останавливаясь, шли вперёд, а сотник Разгуляй сколачивал свою команду сторожей. Брал одних желающих и старых боевых друзей.

На взгорке атаман Степан Большой обернулся и простился с оставшимися казаками несколькими взмахами руки.



Нападение степняков на русскую деревню

Оказ про чуму 1654 года в Гинбирске

-I-

Всё полынь, да ковыль, да полынь...
То жара, то морозная стынь.
Ветер хлынет — и пыль закружится.
Из песков азиатских равнин
Время чёрному мору явиться.

Зреют в норах бубоны чумы.
Как орда, ниоткуда из тьмы
Мор идёт в европейские страны.
Кверху брюхом лежат тарбаганы.

Час живому настал — умереть.
На дорогах гниющие трупы.
И кочевничьи хриплые трубы
Возгласили про чёрную смерть.

Впереди мора крысы идут.
Ими взят астраханский редут.
Миллионы хвостатой пехоты
Смерть и ужас в Россию несут,
Чтоб её обезлюдет народы.

Крысы лавой идут на Москву,
Переносчики чёрного мора.
И чума косит люд, как траву,
Не щадя никого, без разбора.

-II-

Зимой в степи был джуг: снега и льды
Сковались в наст, что не пробить копытом.

И вымерло в Ногае пол-орды
В году давно беспмятно забытом.

И в град Синбирск,
Чуть кончилась зима,
И жаром из степи едва дохнуло,
На спинах крыс бубонная чума
Тайком вползла, минуя караулы.

На Троицу был жаркий ясный день.
Ни облачка на небе не сияло.
Вдруг чёрная стремительная тень
Над городом внезапно пробежала.

На паперти юродивый взвопил
И наземь опрокинулся в падучей.
Лишь он один в мелькнувшей чёрной туче
Ту всадницу с косой, что смерть, узрил.

И всех вокруг объял ознобный страх,
Предчувствие недоброго начала.
Чума пришла в Синбирск, и на костях
Всё лето и всю осень пиновала.



Указ про охоту на лося гоном по льдистому насту

Как-то в Карсунский острог приехал казак Еремейка Хренов с дальней сторожи и объявил отощавшим без мясной пищи казакам, что лоси не ушли, а только передвинулись с одного края леска на другой, где были ещё не обглоданные молодые деревья.

Сборы были недолгими. Ловцы надели овчинные шубы и шапки, взяли длинные ножи, сели в запряжённые низкорослыми ногайскими лошадьми двое саней, и, провожаемые любопытными, выехали за ворота острога.

Сёмка Ротов сидел на передке саней, держа в руках верёвочные вожжи, и вглядывался в наступившие сумерки. Мохнатая ногайская лошадка бодро мяла большими копытами ещё незамёрзший снег, пофыркивала и потряхивала длинной гривой. Сани глубоко взрывали крупитчатый наст, редкие берёзы белыми привидениями выплывали из полумрака, а за ними стоял стеной непроглядно чёрный хвойный лес. Из него доносился временами тревожный и загадочный шум, это верховой ветер шевелил верхушки сосен, и они, вздрагивая, начинали поскрипывать, потрескивать и бормотать на своём звучном древесном наречии.

Ветер разогнал тучи, и крупно вызвездило. Ночь обещала быть студёной. «Добрый наст будет!» — обрадовался Сёмка и снова загрустил. Судьба брата во многом была и его судьбой, он её переживал, как свою. Они были погодки, Федька на год старше, видно, бедовая доля ему на роду была написана, вырос беспокойным и азартным парнем, во всем искал край, вот и оступился с обрыва. Гадать, к чему его за душегубство приговорит дума, было не нужно, в любом случае кнута Федьке не избежать, а могут и на веску вздёрнуть или решат утопить, как котёнка, в проруби.

Засечная сторожа возникла нечаянно, частоколом брёвен и собачьим брехом. Над низким, наполовину врытым в землю бревенчатым жильём из волокового оконца струился дым, и

прыскали белые искры. Охотники вошли в избу, и сразу в ней стало тесно. Второй караульщик, по виду чуваш, сидел возле печи и свежевал куницу. Собака сидела рядом с ним и, роняя с языка слюну, ждала, когда хозяин закончит работу и выбросит для неё тушку во двор.

— Укладывайтесь, ребята, — сказал Хренов. — Как забелеет на дворе, я вас шумну.

Все, кроме Агапова, последовали этому здравому совету, упали на земляной пол, завернулись в свои шубы и вскоре захрапывали, записвистывали.

— И часто куница в руки идёт? — спросил Агапов у чуваша.

— Редко, совсем редко, — ответил тот, помещая шкурку на пяла, для просушки. — Те года охота была прибыльней. Распугали зверя, лес валят — гул идёт. Ушёл зверь из этих мест. Белый царь куницу берёт, зайца, белку ему не надо. А где куницу взять?

— Ты вот взял, — сказал Агапов.

— Э - э - э, — пренебрежительно процедил сквозь зубы чуваш. — Третья куница за зиму. А моему двору ясак нужно платить. Чем отдавать?

— Что веру православную не берёшь, тогда от ясака освободят?

Чуваш зло сверкнул на Агапова глазами.

— Освободят на пять лет, а потом дадут тягло вдвое больше ясачного. Эх!

К утру в избе стало душно и смрадно. Задохнувшись под шубой, Сёмка проснулся в испуге, ему показалось, что кто-то его душит. Наощупь, задевая спящих, он добрался до двери и вышел во двор. Хватил морозного воздуха, глянул на блёклые звезды и побрёл обратно. Дверь закрыл неплотно, оставил щель, для продуха. Завернулся в тулуп и закрыл глаза.

Только Сёмка впал в зыбкую дрему, как рядом кто-то заворочался и, спотыкаясь, полез к дверям. Возле печи звякнула кочерга, Хренов достал уголёк, раздул и запалил сальную плошку.

— Будитесь, ребята, пора!

Собрались скоро, подтянули завязки на одежде и обуви, проверили ножи на поясах.

— Меркота! — бурчливо промолвил Агапов, оглядываясь вокруг. И, действительно, было мглисто, морозный туман застилал всю округу.

— Скоро ветерком протянет, — сказал Хренов. — Идти не близко, версты с две.

Все встали на лыжи и пошли за вожатым следом.

За ночь наст крепко подмёрз и легко держал человека. Сёмка решил проверить его на прочность, подпрыгнул, что есть мочи, и обрушился на ледяную корку. Наст провалился, и Сёмка ушёл по колени в жёсткий зернистый снег.

— Не балуй! — зло одёрнул его сотник. — Звери рядом.

Они поднялись на увал, и двинулись по его гребню. В низине было мглисто, лишь иногда там угадывались верхи заиндевелых деревьев. Солнце медленно вставало над морозной землёй, и было точно слепое, немощно-тусклое. Над его сизовато-красным диском восходил, сияя, розовый столб. Прошло ещё немного времени, и на увал и в низину под ним пролился золотисто-белый свет. Откуда-то издалека потянуло сквозняковым холодом, туман стал расслаиваться на тонкие белые пласты и улетучиваться.

Вожатый остановился и предупреждающе поднял руку. Когда все собрались вокруг него, он указал на реденький лесок в низине.

— Они там.

Агапов шёпотом распорядился:

— Шубы долой! Пройдём чуток и упадём на них сверху. Еремей! Бегом на сторожу, и на санях, с напарником, идите за нами следом. С Богом, ребята!

Охотники побросали шубы на снег и осторожно двинулись дальше. Пройдя саженой сто, они остановились и, повинуясь жесту сотника, устремились вниз.

Сёмка чуток замешкался, поворачивая лыжи, приотстал от товарищей и пошел вниз с небольшой разбежки. Присыпавший наст иней шуршал под лыжами, ледок чуть потрескивал, иногда расходясь трещинами следом за лыжником. Сёмка пристально

вглядывался в лесок, где должны прятаться лоси, но ничего не видел, кроме заиндевелых осинок и кустарника. Внезапно раздался треск, а затем будто что-то рухнуло. Алатырский стрелец налетел на затаившуюся под снегом корягу, потерял лыжу и кубарем покатился вниз.

И в это мгновение Сёмка увидел, как в леске метнулись тени. Лоси резко поднялись с лёжки, но пока стояли, уясняя, откуда им грозит опасность. Сёмка вылетел на край леска, когда лоси вмах пошли прочь от ловцов, взбивая за собой клубы снежной пыли. Впереди громадными прыжками шёл огромный бык с тяжёлой кожаной серьгой — наростом на груди, за ним две коровы и двухлетки — нетели и бычки.

— Отбивай молодняк в сторону! — крикнул Агапов.

Этот возглас был верный, но бесполезный: вожак, опаматовавшийся от первого испуга, сам выбирал, куда ему идти. И он свой путь направлял к лесу, который в верстах четырёх стоял тёмной стеной, за поймой заснеженной реки.

Сёмка не в первый раз участвовал в лосиной гоньбе и знал, что бежать придётся долго, поэтому утишил всколыхнувшееся дыхание и бежал расчётливым шагом. Его товарищи тоже умерили первоначальный пыл, погоня предстояла долгая. По Сёмкиной спине прокатилась первая капля пота, затем стало солоно во рту. Он на ходу подцепил рукавицей пригоршню снега и сунул в рот.

Ближе к реке снег стал глубже, здесь были заросли камыша, тростника, низкорослого ивового кустарника, и ветер, сметая сюда снега со всей округи, выстроил на берегу труднопроходимую для лосей преграду. Вожак с разбега ударил грудью в занос, прыгнул, и чуть было не завис в снегу, не доставая ногами твёрдой опоры. Бык яростно захрапел, рванулся, что было сил, из стороны в сторону, обрёл копытами землю, снова прыгнул, опять чуть было не завис, но всё-таки прорвался через снежно-прутяную засеку.

Коровам, нетелям и бычкам повторить путь вожака было труднее. Бык уже пёр, круша сухими ногами ледяной наст, по реке, а они пробивались по его следу через опасный занос. Хотя лось своим телом умял наст, им пришлось нелегко —

рассыпчатый снег был глубок, за ноги цеплялись ивовые и камышовые прутья.

Сёмка оглянулся по сторонам, он шёл впереди всех, ненамного отставал от него сотник, другие явно не торопились. Такое на охоте случается: вызовутся гнать зверя, а потом через пару сотен саженой скиают, жила оказывается тонка для этого дела. Но Сёмку это не огорчило, помощники ему не требовались, загонять лося вдвоём сподручно, когда ловцы идут по следу с равным умением.

Выбежав на берег реки, Сёмка увидел наискосок от себя растянувшееся стадо. Наст на льду Барыша был неглубок, но стеклян и остёр, звери этого пока не чувствовали, кожа на их ногах была толстой и прочной. Сёмка протер рукавицей глаза, ему показалось, что третий с конца лось идёт как-то не так. Вгляделся пристальней, нет, почудилось, и он побежал вдогонку.

Солнце поднялось уже высоко и начало светить в свою полную огненную силу. Но светило не только солнце, отражая его потоки, ослепительно сияла покрывавшая снега ледяная корка наста. Сёмка надвинул пониже шапку на глаза и почувствовал, что ему по-настоящему становится жарко. Но это было только начало охоты, настоящая гоньба едва началась.

Какое-то время стадо бежало по реке, затем вожак неожиданно рванул к берегу и стал отчаянно пробиваться через заваленные снегом кусты. За ним эту преграду преодолеvalo всё стадо. Когда Сёмка подбежал к этому месту, то понял, что вожак недаром пошёл таким путём: недалеко от берега дымилась промоина.

Выбравшись на берег, он в первый раз внимательно осмотрел тропу, пробитую лосями в снегу. Здесь его догнал сотник.

— Что видишь? — хрипло спросил он.

Сёмка наклонился, подцепил на рукавицу комок снега и поднёс его к лицу Агапова.

— Что это?

Сотник снял рукавицу, взял щепоть чёрного снега, положил в рот.

— Кровь! — сплюнув мокроту, закричал он. — Погнали, Сёмка, дальше! Хоть один да наш!

Лосиное стадо тоже остановилось и столпилось вокруг быка. Тот, вытянув шею, настороженно глядел в сторону ловцов. Заметив, что они побежали, лось кинулся от них в пойму к далёкому лесу, который проглядывался на окаёме едва различимой мутной полосой. Стадо двинулось за ним следом.

Снег в пойме был много глубже, чем на речном льду и часто доходил даже рослому быку под самое брюхо. Наст здесь был твёрд и остро стеклян, и Сёмка слышал, как лоси, пробивая себе дорогу, с громким треском ломают копытами, ногами, а то и грудью жёсткую наледь. Теперь ловцы и стадо шли почти вровень, расстояние между ними не сокращалось, но и не возрастало.

Сёмка прибавил ходу, во рту стало сухо, в груди защемило, но он знал, что это скоро пройдёт, в прежние разы на гоньбе с ним такое бывало. Агапов отстал, он был силён, но выносливости ему не доставало, однако сдаваться не мыслил и, обливаясь потом, бежал дальше.

Лоси почувствовали, что Сёмка их настигает, усилили бег, но ненадолго, человек медленно, но упрямо их настигал. Они слышали скрип его лыж, потрескивание наста под его размашистыми шагами, иногда до них доходил чужой едкий запах преследователя.

Когда стадо и Сёмку стала разделять сотня саженей, лосей охватило осязаемое беспокойство, они стали чаще оглядываться назад, сталкиваясь друг с другом, спотыкаться. Бык оторвался от стада и шёл далеко впереди. Сёмка ждал этого часа и увидел: стадо распалось, лоси бросились врассыпную. Он подбежал к этому месту и начал обходить следы по кругу, отыскивая кровавые пятна. Скоро они нашлись, и Сёмка побежал по ним, чувствуя, что начинает ликовать от скорой и неизбежной удачи. «Долго она не выдюжит, — подумал Сёмка. — Ещё версты две — три и падёт... Хорошо, что не бык попался, а корова».

Через малое время он понял, что заблуждался — несмотря на рану, корова была ещё сильна и побегуча. Она крушила один ледяной сугроб за другим и шла, не давая себя настичь.

Остальные лоси разбежались в разные стороны, их никто не преследовал. Агапов неторопливо бежал следом за Сёмкой.

Солнце поднималось всё выше, и наст слабел. Теперь ловец, хоть и не часто, стал проваливаться то одной, то другой лыжей, но это было не опасно, снег подо льдом был плотным и человека держал прочно. Корове приходилось хуже, она при каждом шаге проваливалась гораздо глубже и, высвобождая ноги, царапала их об острый лёд. Вдруг она остановилась. Сёмка бросился к ней со всех ног, но лосиха опять рванула вперёд, ушла от преследователя сажень на сто и снова остановилась.



Этот рваный бег ловца и зверя продолжался долго.

Далёкий от реки лес стал уже ощутимо близок. Сёмка, смахнув рукой с лица струи пота, вдруг увидел вполне

различимую тёмную зелень ёлок и за ними тесный строй высоченных сосен. Лосиха стояла чуть впереди него, её ноги подрагивали частой дрожью, а дыхание было кашляющим и хриплым.

Ослабевшими от многоверстного бега ногами Сёмка сделал несколько шагов вперёд. Корова дёрнулась, пытаясь прыгнуть, и рухнула мордой на снег, который стал медленно окрашиваться в красный цвет. Сёмка вынул из-за пояса нож и, подойдя к корове, перерезал ей горло. Ноги его не держали, он упал на снег рядом с добычей, и в его глазах померк белый свет.

Сотник Агапов так и не добежал до Сёмки, выбившись из сил, он сидел в сугробе, пока к нему не подъехал на санях караульщик Хренов. Еремейка накинул на Агапова шубу и поехал дальше.

— Добрую яловицу добыли! — вскричал он, увидев корову. — Сёмка! Ты что снег нюхаешь? Истомился?

— Легко тебе, старый, на санях разъезжать! — сказал, — поднимаясь, удачливый ловец. Гордость за себя уже начинала его щекотать. — А где же мои друзья – сотоварищи?

— Сотник вон, под шубой сидит. А те двое на стороже, горячую печку обнимают, замёрзли. А тебе, я смотрю, горячо? Укройся, брат, шубой!

Сёмка надел шубу и подошёл к корове.

— Свежевать надо, — сказал он. — У тебя нож есть?

— Не забыл, не забыл, — засуетился Хренов. — Вот, вчера наострил!

На сторожу они вернулись, когда солнце начало клониться к земле.

— Я воду целый день кипячу, — сказал, встречая их, второй караульщик. — Ключом бьёт!

Он вырезал со спины туши большой кусок мяса, разрезал его на несколько частей и бросил в кипящую воду.

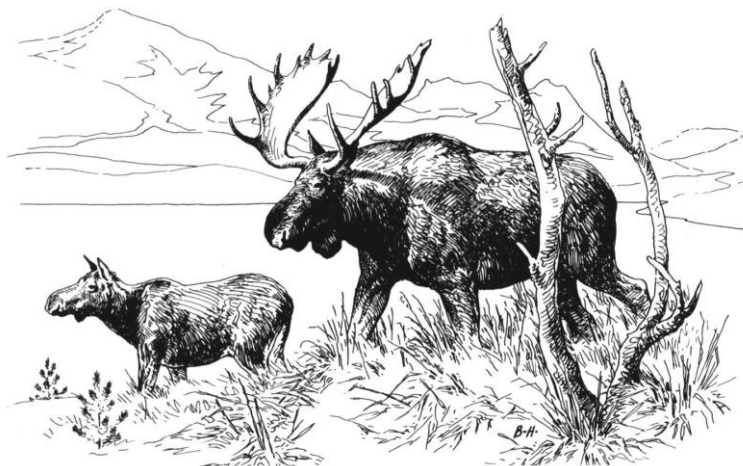
— Отрежь и кинь для меня ещё один кусок побольше, — сказал Сёмка, вспомнив о брате.

Два казака, что бросили гоньбу, оправдывались перед сотником, который им выговаривал за их слабосильность.

— Не казаки вы, а бабы! Вот ужо приедем в острог, я вас наряжу в станичный разъезд дён на десять!

— Оставь их, Касьяныч! — сказал Сёмка. — Ребята в первый раз бегали, скоро притомились. Я сперва на второй версте задыхался.

Горячее сырым не бывает, мясо ели недоваренным, каждый со своей солью. Кусок лосятины для брата Семка завернул в тряпицу и сунул под свою шубу. Никто ему этого не заметил, добытчик имел право и на большую долю.



Гказ про атамана Лома и его воровскую ватажку

На берегу Волги возле костра сидели двое мужиков и жадно поглядывали на котелок, в котором булькало жидкое варево. Федьку Ротова они заметили издали, как только он начал спускаться с береговой горы, но не беспокоились, пришелец был явно сирота беглая. Один из мужиков был сухощав и мал ростом, звали его Филька, его товарищ выделялся широким разворотом плеч и, сидя на корточках, был похож на кряжистый пень, который выкатила на песок волжская волна. Его звали Власом.

Федька с первого взгляда определил, что встретил тех, кого искал, воровских казаков. Это можно было понять по тому, что за их поясами торчали большие ножи, в песок была воткнута пика, а на их лицах гулевая жизнь отпечаталась шрамами и медным загаром.

— Челом честным людям! — сказал Федька, останавливаясь в трёх шагах от костра. — Дозвольте присесть к огоньку?

Влас мельком посмотрел на пришельца и отвернулся к кипящему котелку, а Филька вскочил на ноги и уставился на незваного гостя.

— Ты кто будешь? — спросил он и остро глянул на Ротова воспалёнными глазами.

— Казак, Федька Ротов.

— Казак, — хмыкнул Филька. — Мы все тут казаки. Чего ищешь?

— Воли.

— Не много ли захотел? — удивился Филька. — Туда ли ты явился?

— На Волгу, здесь, бают, просторно людям.

— Добро раз так, — сказал Филька. — Тогда садись к огнищу. Только жидко у нас варево, казак, два сухаря да молодая крапива. Коня-то оставь, не сбежит.

Федька присел к костру, развязал свою суму, достал мешочек с толокном и протянул Фильке.

— Это по-нашему, — впервые обратил внимание на гостя Влас. — Что твоё, то моё. Ты откель бежишь?

— Из Карсуна, может, слышал?

— Как же, — проворчал Влас. — Только что близ того Карсуна через ров перелезали. Так Филька?

Была такая беда, чуть не утопи в том рву, лесина под Власом обломилась.

Похлебали горячего толокна, съели по сухарю, попили волжской водицы.

— Вот и добро, — сказал Влас, поднимаясь на ноги. — Пошли, Филька! Нам ещё топать, да топать!

— Погодите! — испугался одиночества Федька. — А как я?

— Ты же нашёл, что искал, — хохотнул Филька. — Вот она воля вокруг тебя, бери, сколько вздумаешь!

Федька повернулся, подхватил суму и пошёл к своему коню.

— Годи, парень! — сказал Влас. — Ты казак, а мы ватажники, как нас кличут. Годно ли тебе идти с нами?

— Куда мне деваться, — с горечью сказал Федька. — Назад мне пути нет, только с вами.

— Смотри, парень! Воровское дело такое: попал коготок, всей птичке пропасть. Знай это. Хочешь, иди с нами, но себя не жалей.

По берегу Волги, с малыми остановками, они целый день шли, всё дальше углубляясь в Дикое поле. Федька не знал, куда они держат путь, но догадывался — к Жигулям, известному воровскому месту. Там ранней весной сколачивались ватаги и всё лето промышляли разбоями над торговыми судами, нещадно их грабя и убивая всех подряд, кто помедлит упасть ничком на палубу или землю.

Волга была не пуста, за день мимо них прошли несколько стругов. Их появление Филька встречал дурашливым воплем, Влас один раз обмолвился:

— Вот и для нас страда пришла. Явится Лом, и мы начнём.

Вечером они нашли укромное место и встали на ночлег. Филька разжёл костёр, Федька достал из сумы толокно и отдал Власу. После того, как поели, Филька сказал:

— Ты весь день с нами, а кто ты такой, Федька, мы не ведаем. Рассказывай!

Ротов без утайки поведал, что с ним случилось.

— А ты оказывается скор на расправу, — сказал Филька. — Я вот за жизнь и мухи не обидел. А ты взял и свернул шею товарищу, и за что? За плёвое дело!

— Он в игре на деньги сплутовал.

— А кто хоть раз в жизни не сплутовал? — сделав постную рожу, спросил Филька. — Хотя один такой человек мне ведом. Это я.

Послышались частые звуки, но их издавали не птица, не зверь. Так всей утробой расхохотался Влас.

— Не дури человека. Скажи, где ты зиму обретался.

— Годи!

Филька отвернулся и, когда Федька снова увидел его, то вздрогнул от омерзенья. Лоб, нос и кисти рук бродяги были покрыты погаными язвами, глаза лишились век и были закачены в разные стороны. Филька упал на колени и, схватив Федьку за полу одежды, завопил страшным голосом:

— Подай и зарежь меня! Подай и убей меня!

Федька в ужасе попятился, а калека поволокся за ним по земле. Влас ухал и булькал, корчась от приступа хохота.

Филька встал с земли, снял язвенные нашлапки с лица и рук, сунул их за пазуху. Затем вернул вывороченные веки на место. Он был доволен произведённым впечатлением.

— Что не подал калеке? — спросил Филька. — Я даром не скоморошничая. С первых денег отдашь полтину. Так, Влас?

— Будет с тебя алтына. На Москве, чай, больше полушки не давали.

— А вот врешь! На Пасху рубль получил.

— Будет врать, — сказал Влас. — Кто такие деньги при себе носит.

— Эх, тьма арзамасская! Царь дал, когда в Покровский собор шёл.

— Ладно, — махнул рукой Влас. — Дал так дал, может, я запомню. Ты лучше Расскажи, как мы на Москве зимовали.

— Запомню, — недовольно сказал Филька. — Ты на тот рубль ведро вина выжрал... Что ж, про Москву всегда можно вспомнить. Мы в этом году, Федька, как Волга вставать начала, разбрелись из ватаги, кто куда. Одни по своим избам в деревни, другие на богомолье по монастырям, а мы с Власом на Москву двинули, как и всякую зиму. Я нацеплю язвенную личину и на папертях обретаюсь, а Влас своим делом промышлял. Каким? Пусть сам скажет. Так и перебились. Или не так, Влас?

— А теперь что, все ватажники опять вместе сходятся? — спросил Федька.

— Все, кто жив остался, — ответил Влас. — Будет и новики, вроде тебя.

На следующий день, когда солнце стало спускаться за высокую гору, они подошли к большой приземистой избе, скрытой в зарослях ивняка недалеко от берега. Почуввав чужих людей, залаяла собака. Изба казалась нежилой, но вскоре из неё послышался хриплый голос:

— Это кого лихоманка принесла?

— Открывай, Степан, свои! — крикнул Филька.

— У меня таких своих полна изба! И кипятком ошпаривал, и вымораживал, ничто их не берёт!

Звякнуло железо, набухшая дверь, со скрипом, тяжело отворилась, в проёме встал человек. Он был заметно стар, но ещё крепок, в жилистой руке Степан сжимал кистень.

— Что, Филька, опять из Москвы клопов на себе приволок?

— Почём я знаю. Меня никто не ест. Может, Влас?

— Ступайте на берег и выбейте палкой одежку, — сказал Степан. — Что за человек?

— Свой, — сказал Филька. — С карсунской черты сбёг.

— Иди с ними выбивать клопов, — велел Степан.

Федька позже остальных зашёл в избу, поднял руку, чтобы перекреститься и замер: в правом переднем углу образов не было.

Хозяин заметил смущение Федьки и хохотнул:

— Крестись, парень! Здесь все крещёные, только по-своему. И тебя окрестим.

— Я — крещёный! — схватился рукой за нательный крест Фёдка.

— То тебя поп крестил, — жёстко сказал Степан. — Ты несмышлёным был, а сейчас в полном уме. Будет срок, сам в купель красную запрыгнешь.

Влас и Филька, потупившись, молчали. Старик явно имел над ними власть.

— Лом был, — сказал он, зажигая в железном светце лучину. — Велел сказать, чтоб сидели здесь, его поджидали, скоро он явится.

Потрескивала лучина, порой ярко вспыхивая, и озаряя закопчённое нутро избы.

— Укладывайтесь спать, ребята, — сказал Степан. — Набирайтесь сил. Атаман может в любой миг нагрянуть с ватажниками.

Впечатления от последних двух дней долго не давали заснуть Фёдке. Побег из тюрьмы, прощание с братом Сёмкой, встреча с ватажниками, прибытие на воровской стан, всё это мелькало в его мыслях, вызывая вопросы, ответа на которые Фёдка не знал. Кто такой атаман Лом? Куда он поведёт свою ватагу? Возьмёт ли новика с собой или прикажет связать и бросить в воду?

Фёдка ворочался на полу, поудобнее устраивал голову на свою суму, но сон не приходил. На уме были родной брат, мать, отец. Ведают ли они, что стряслось с их старшим сыном? Наверно, ведают, казаки из их слободы дали знать о Фёдкиной беде. Разлука с родными будет, скорее всего, вечной, с неизбывной горечью, начал понимать казак и, молча, заплакал.

Под полом избы, попискивая, завозились мыши, оседая, поскрипывал избяной сруб, потом эти звуки заглушил листвяной шум ветра, и пошёл дождь.

Влас и Филька, посапывая и посвистывая носами, давно спали, старого Степана не было слышно, наконец, и Фёдка уснул.

Ватажников поднял Степан, он тяжело бухнул дверью и возгласил:

— Разоспались, лежни! Сейчас спытаю, какие вы работнички! Филька, чисти рыбу! Влас, готовь кипяток! И ты, новик, с ними! Рыба в кошёлке на дворе!

Федька первым подхватился со своего лежбища, выскочил во двор, сбегал за угол, измочился в траве, мокрой от ночного дождя, нашёл, где лежит рыба. Её было много, полууснувшей и ещё трепыхавшейся, в сетяной кошёлке.

Федька и Филька почистили рыбу, промыли в речной воде, тем временем у Власа поспел кипяток. Получилась не уха, а полный котёл сваренной рыбы. Не успела чайка до половины Волги долететь, как возле каждого едока выросла куча рыбьих костей.

— Вижу, знатные вы работнички, — сказал Степан. — А ты что, парень, башкой крутишь?

— Гляжу, коня моего нет, — растерянно пробормотал Федька.

Цел твой конь, я его к своему отвёл. Пусть по травке погуляет. И то сказать, конь тебе сейчас ни к чему. Сядешь за весёлки дубовые, и начнёшь, вольный сокол, ими, как крыльями, помахать!

День ватажники провели без дела. Хозяин куда-то исчез. Влас и Филька завалились спать, а Федька бродил по окрестностям. Место здесь было глухое, высокий гористый берег, поросший мелколесьем, с оврагами, уходившими неведомо куда, гладкие обточенные водой большие камни, вокруг которых вскипали и пенились волны. Волга в этих местах делала крутой изгиб, называемый Самарской Лукой, и, зажатая крутыми берегами, река резко убыстряла своё течение.

Помотавшись по округе, Федька вернулся к избе. Его сотоварищи продолжали храпеть, а Степан плёл, сидя на брёвнышке, из ивовых прутьев морду для ловли рыбы.

— Тоскуешь, парень? Это зря. От этого избавляться надо, как от лихоманки. Раз пристал к ватаге, то вся прошлая жизнь напрочь отрублена. У тебя теперь на всю жизнь один товарищ — острый нож.

— Ты, дедко, давно здесь бытуешь? — спросил Федька.

— Я — то? Да всю жизнь живу на этом самом месте. И деды мои здесь жили, и прадеды.

— Значит, у тебя семья была?

— А как же, — усмехнулся Степан. — Жену вот схоронил, а два сына на Низу ватажничают. Прошлым летом от них привет получил. Хочешь знать как? Тогда слушай. Разуделось у меня плечо, думаю, дай хоть ещё раз схожу с Ломом, погуляю на Волге. Прижались мы к берегу супротив Яр-Камня и дождались струг с красной рыбой. Подошли мы к нему вплотную, а отель приказчики пищали выставили. Наш атаманушка страсть не любит, когда его воле супротивничают. Как крикнет громовым голосом: «Сарынь на кичку!», пищали те в руках приказчиков и задрожали. Одна стрелила, да мимо, а две другие не загорелись, знать зелье в них было порченным. А мы, ватажники, уже наверху. Всех приказчиков побили, а старшего пузана оставили для расспроса. Подвели его к атаману, а пузан от него харю воротит, на меня уставился и говорит: «Есть ли у тебя, старый ворище, сыны на Низу?» Есть, говорю, Фрол да Кирша. «Похожи они на тебя, как две слезинки, — сказал старший приказчик. — Только плачу ими я. Увели твои воровские наследники дочерей моих, воровскими жёнками нарекли. Так что мы с тобой сваты».

Челом, говорю ему, дорогой сватушка, проходи в красный угол, дорогим гостем будешь. Влас подхватил приказчика и подволок на огнище. Стащили с приказчика сапоги и штаны и поставили на раскалённые уголья. Вот так, Федька, я дорогого свата встретил и привет от сынов получил.

— А где он сейчас? — спросил, после некоторого молчания, Федька.

— Кто? Приказчик? Перезимовал в Волге, а где сейчас, не ведаю, — сказал Степан с такой задушевной искренностью, что Федьку пробрал ледяной озноб.

Бухнула дверь избы, Влас и Филька отлежали, до судороги, бока и встали, чтобы встряхнуться.

— Как раз вовремя, соколики, пробудились, — сказал Степан, указывая рукой на Волгу. — Кажись, атаман к нам припожаловал.

— Глазаст ты, как пёс, Степан, — сказал Филька. — Точно — парус. Это откель Лом путь держит?

— Всё-то тебе выведать надо, — усмехнулся ватажник. — Вот придёт Лом, его и спроси.

— И спрошу! — заерепенился Филька. — Волк волка не съест!

Влас так его хлопнул по спине, что тот чуть не упал.

— Молчи! — сказал он. — Перед Ломом ты мокрица, а хочешь летать, как птица.

— Оставь его, Влас! — вмешался Степан. — Гляди, наши парус скинули, на вёслах идут.

К берегу ходко шла длинная лодка. Скоро стали видны люди, сидевшие в ней и в лад взмахивающие длинными вёслами. На носу лодки стоял человек, в руке у него была пищаль.

«Вот он какой, Лом! — подумал Федька. — Сразу видно, что атаман».

Лодка, зашуршав по песку, насунулась на берег. Лом прыгнул на берег. Это был могучей детина в красном кафтане, синих штанах и жёлтых сапогах, на голове из китайской камки шапка, отороченная мехом горностаею, за пояс заткнут боевой топор — чекан и привешана сабля в серебряных, с узорочьем, ножнах.

— Челом, побратимы! — торжественно произнёс атаман. — Пора начинать нашу гулевую путину! Так!

— Так! Так! Пора! — закричали ватажники.

Лом обнялся со Степаном, затем с Власом и Филькой. Далее нашёл и ожёг взглядом Федьку.

— Это кто, новик?

Филька было сунулся ответить, но Лом отстранил его рукой.

— Отвечай, казак, тебя спрашивают, — сказал Влас.

— Пожалуй меня, ватаман, прими в свою ватагу, — произнёс Федька, стараясь смотреть в глаза Лома.

— Много просишь, — важно подбоченясь, сказал атаман. — Могу позволить остаться тебе пока живу. А дальше, как решит ватажное товарищество. Оружие у тебя есть?

— Только нож, — ответил Федька, не поняв, оставляет ли его атаман в своей ватаге или прогоняет.

— Так ты вполне ватажник, — усмехнулся Лом. — Имей нож и ложку и проживёшь понемножку. Наутро поглядим, на что ты годен.

Степан с Ломом скрылись в избе, им предстояло обсудить завтрашний выход за зипунами на Волгу. Под зипунами ярыжные люди разумели добычу, которую можно было захватить и разделить между ватажниками.

Тем временем люди разгрузили лодку. На берег были вынесены кули с сухарями и толокном, с десяток стоп выделанной кожи, бочонок с порохом и несколько пищалей. Было ли это добычей, Федька не знал, но разглядывал всё с любопытством.

Филька с появлением старых друзей повеселел и смотрелся козырем. Влас остался прежним молчуном и сидел в стороне, мрачно поглядывая вокруг. Федька подошёл к нему и сел рядом на бревно. Он хотел спросить бывалого ватажника, как ему быть дальше, но сдержался.

Из избы вышел Степан и поманил к себе Федьку.

— Ступай за мной, — сказал хозяин. — Поможешь неводишко вынести.

За избой стоял большой и приземистый амбар. Степан отворил дверь, и оттуда повеяло затхлостью. Невод висел растянутый два раза во всю длину амбара на жердях. Они стали собирать его, чихая и кашляя от пыли. Невод был нетяжёл, и Федька один донёс его до берега.

— Кто рыбу чистить не любит, пусть едет неводить, — объявил Степан.

Ехать вызвались Влас, двое ватажников, прибывших с Ломом, и Федька. Тот поехал только затем, чтобы унять мучившую его тревогу от неопределённости своего положения.

К вечеру Волга устала качаться и плескаться волнами, успокоилась и ровно несла свои воды мимо крутого берега. Ватажники знали здешние рыбные места и погребли в небольшой залив неподалёку от их становища. Лодка медленно шла по неподвижной воде, на которую падала тень от берега. Было так тихо, что сорочий стрекот, донёсшийся из березняка в подгорье, ударил по ушам Федьки оглушающе резко.

Лодка подошла к берегу. Влас взял в руку верёвочный конец невода и вылез, вслед за Федькой на песок. Федька оттолкнул лодку от берега, и сидевший на корме рыбак стал опускать невод в воду. Он был невелик, лодка сделала полукруг, и пришла пора тянуть невод. Его вытягивали не торопясь, стараясь, чтобы крылья невода шли вровень. Вскоре вода между берегом и снастью начала закипать от вспугнутой рыбы. Низ невода коснулся прибрежного дна, рыбаки за него ухватились и, держа каждое крыло вдвоём, начали их, сходясь, тянуть. Вода закипела ключом, более сильные рыбы начали перепрыгивать за верхний край невода в сторону реки.

— Своди мотню! — крикнул Влас.

Много рыбы попали в крылья невода, а его центровая часть, мотня, была полностью заполнена ею. Рыбы было так много, что мужикам пришлось поднатужиться, чтобы вытащить мотню на край берега. Федька толкнул лодку с песка и подвёл её вброд к неводу. Рыбу вытрясли из крыльев, потом подхватили вчетвером мотню и опрокинули в лодку.

— Добрая тоня, — сказал ватажник. — Ребята будут довольны.

— Как бы не так! — рассмеялся Влас. — Им же её чистить.

Для артельной ухи Степан взял из амбара самый большой котёл. На вкусный запах варева из избы вышел Лом. Ватажники уставились на него с молчаливым ожиданием.

— Ладно! — махнул рукой атаман. — Дозволяю по одной чарке вина. Не боле!

Это решение было встречено одобрительными криками. Чарки у всех, кроме Федьки, были свои и большие. После вина и еды ватажники пришли в гулевое настроение.

— Филька, песню!

И полетела, как птица, над Волгой, берущая ватажников за душу, песня.

Не для меня, молодца, тюрьма строена,
Одному-то мне, доброму молодцу, пригодилось.
Сижут-то я в ней, добрый молодец, тридцать лет
И тридцать лет и три года.
Появилась сединушка во русых кудрях,

А бородушка у молодца стала белый лён;
На резвых-то ногах железнюшки перержавели,
Все дверюшки — вереюшки развалилися.
Пошёл-то я, добрый молодец, из тюрьмы-то вон:
«Ты прости, прости, вор — злодеюшка, земляна
тюрьма,

И не ты ли меня, молодца, состарела!»

Федька такую песню ещё не слыхивал и не певал, но она с первого раза царапнула его за душу. Были взволнованы песней и ватажники, у многих по щекам покатались слёзы, что Федьку сильно поразило. Он не ведал, по молодости, того, что вор слезлив, а плут богомолен.

Всем места в избе не хватило, и Федька спал в амбаре. Ещё до света его разбудил Степан.

— Хватит дрыхнуть, парень, — сказал он, позёывая. — Поди, вымой котёл из-под ухи. Да кипяточка не жалей, ошпарь, как следует!

Волгу плотной пеленой окутал туман, и было зябко. Федька вернулся в амбар, нашёл топор, взял сухое полено и наколол растопку. Огонь мигом охватил лучины, затем, пошипев, загорелись слегка отсыревшие от росы дрова. Федька наполнил котёл водой и сел возле костра. Было тихо и сумрачно. Туман шёл с воды на берег, лез на гору. Где-то невнятно крикнула птица, и опять вокруг стало тихо.

Вода нагрелась, Федька нарвал травы и стал тереть ею нутро котла. Выплеснул грязную воду и налил чистой, из Волги. Подбросил в костёр дров и снова сел возле костра. За Волгой в тумане проявилось бледно-жёлтое пятно, вставал новый день, а что он принесёт ему, Федька не ведал. На душе было ощущение тревоги и близкой опасности. Федька вспомнил слова атамана, что сегодня начнется гулёвая путина, и у него засосало под ложечкой, будто он заглянул в пропасть, и глубина поманила его прыгнуть в бездну, а отшатнуться от края не было сил.

Вода в котле закипела, Федька отгрёб из-под него самые жаркие поленья, чтобы вода кипела не сильно. Ватажники стали просыпаться, выходить из избы, потягиваться, покряхтывать, подходить к реке и смачивать волосы сначала на лице, а потом и

на голове. Вставших на утреннюю молитву Федька не приметил, да и сам он ещё лба не перекрестил этим утром, как, впрочем, и вчера, и позавчера. Сидя в тюрьме, он молил Бога о вызволении из узилища, а получил волю и сразу все клятвы выветрились из его памяти.

К котлу подошёл Степан, насыпал в него толокна и стал помешивать палкой. Едва только успели взять в руки чашки с толокном, как со стороны береговой горы послышались шум и треск. Все поворотились в ту сторону и увидели, как из ежевичных кустов выбежал Филька, очумело глянул на ватажников и кинулся в избу.

— Торопитесь, ребята, есть, — сказал Степан, — а то не поспеете.

Из избы выскочил Филька, на бегу достал из-за пазухи ложку и принялся есть толокно из котла. Бывалые ватажники тоже поспешали насытиться. Только Федька сидел с чашкой на коленях, не зная, почему разразилась такая спешка.

Из избы вышел Лом, он был одет по-боевому: на голове — блестящий железный шлем, от плеч до бёдер — кольчатый доспех, на поясе сабля и чекан.

— Филька принёс добрую весть, — сказал атаман. — Подле Надеинога Усолья ночевал купецкий струг. По мале он будет супротив нас на Яр-Камне. Купцы тароваты, казну на струге держат богатую, на Низ идут за икрой и рыбой. Как решите, побратимы?

— Брать казну! — завопили ватажники и кинулись за оружием.

Лом подошёл к костру, возле которого остался один Федька.

— А ты что, новик, не поспешаешь? Или здесь будешь?

— Нет, я как все, атаман, — ответил Федька. — Нож при мне.

— Он тебе нынче понадобится, — сказал Лом. — Будь рядом со мной. Погляжу, на что ты годеи.

Вооружившись, ватажники собрались вокруг атамана. Почти у всех на поясах были сабли, некоторые держали в руках пищали.

— Помните, люди ярыжные, — властно сказал Лом. — Здесь я вам старший товарищ, а в бою — атаман! Зарублю любого, кто посмеет мне противиться!

Ватажники, тесня друг друга, полезли в лодку. Федька успел прежде всех, вскочил за борт одним махом и сел на дно близ атамановых ног. Сам Лом стоял на носу лодки и жадно озирает Волгу. Утренний туман рассеялся, водная гладь блистала отражённым блеском солнца. Ватажники в восемь вёсел гнали лодку к острову, который звался Яр-Камнем из-за того, что было там наиболее сильное течение, которое с шумом разбивалось об острый каменный выступ. Немало здесь погибло стругов от камней, но не меньше было захвачено, разграблено и пущено на дно лихими ватажниками.

Лодка добежала до острова, Лом спрыгнул на берег и быстро стал взбираться на утёс, чтобы ждать подхода купеческого струга. От Надеиного Усоля до Яр-Камня было недалече, и он должен был скоро появиться. Федька полез вслед за атаманом. Тот глянул на него и усмехнулся.

— Смотри в оба, — сказал Лом. — Узишь струг раньше меня, дам золотой.

На утёсе было зябко. Небольшая берёзка, чудом вросшая в трещину между камнями, пошумлиwała листвою и звенела треплющейся на ветру молодой и тонкой берестой. Федька лёг грудью на холодный камень и, до рези в глазах, вгляделся вдаль. Волга была пуста, ничего приметного на ней не шевелилось, кроме разбежливых волн и плеска крыльев орливых чаек. Лом неотступно вглядывался вдаль, он тоже хотел узреть струг первым, на то он и атаман.

Сначала Федька подумал, что ему попала в глаз соринка. Он стал промаргиваться, но соринка не уходила из глаза. И тут его будто что толкнуло.

— Струг! — завопил он. — Струг!

— Где струг? — спросил Лом. — Может поблазнилось. Я не вижу.

— Вон, супротив черной горы, — указал рукой Федька.

— Смотри, какой глазастый, — хмыкнул Лом, найдя взглядом струг. — У меня слово — к ответу.

На камень упал, тихо звякнув, золотой. Федька схватил его и сунул за щёку.

— Смотри, учён, где прятать, — усмехнулся Лом. — Пошли вниз.

Ватажники начали действовать по заведённому обычаю, прижали лодку ближе к берегу, чтобы её не обнаружить раньше времени, пищальники достали пороховницы и стали насыпать порох на полку. Влас и ещё один, не уступающий ему статью ватажник, взяли багры и встали на нос лодки. Атаман занял место кормщика, а Федька, нянча во рту полученный золотой, был подле него.

На купеческом струге люди знали, что возле Яр-Камня идти опасно, и были настороже. Приказчики оглядывались, ожидая подвоха, но, как ни сторожились, появление ватажной лодки было неожиданно. Мощными гребками всех вёсел она стрелой



подлетела к стругу. Приказчики схватились за пищали. Влас метнул багор, железный крюк зацепил борт струга, ватажники дали из четырёх пищалей залп и с ужасными криками бросились в рукопашную. Первым на струг заскочил Лом, Федька метнулся за ним следом. Атаман выхватил из-за пояса чекан и

метнул его в лицо приказчика, размахивающего саблей. Тот, обливаясь кровью, рухнул ниц. Ватажники взялись за сабли, и сопротивление защитников струга было недолгим.

— Так! — громко сказал Лом. — Значит и у тебя есть золотые!

Ватажники обыскивали убитых, снимали с них одежду и сапоги, а тела сваливали в воду.

Федька зачарованно смотрел, как нагой труп отплывает, разбросив в стороны руки, от струга. Глаза мертвеца были открыты, рыжие волосы шевелились, как на ветру, в зелёной воде.

— Где новик? — спросил Лом.

Федька оторвался от борта и встал на ноги.

— Поди сюда, — с загадочной усмешкой промолвил атаман.

— Нож есть?

Федька достал нож и посмотрел на приказчика, который по-прежнему стоял на коленях.

— Зарежь его, — лениво сказал Лом.

Федька растерянно огляделся. Вокруг него стояли ватажники, ещё не остывшие от пролитой ими крови, и в их взглядах он увидел и свою смерть. Он крепко сжал в руке нож, хотел двинуться с места, но ноги не шли, будто приросли к деревянному настилу. Тогда Влас сильно толкнул Федьку в спину, и тот упал на приказчика, на миг потеряв память. Федька пришёл в себя от криков ватажников в ответ на слова атамана:

— Берём новика в свою ватагу?

— Берём! Берём!

Федька посмотрел на свои руки, они были в крови, а в левом боку приказчика торчал нож. Над трупом склонилось двое ватажников и стали быстро его разоблакать. К ногам Федьки, зазвенев, упал нож. Он поднял его и, не обтирая от крови, засунул за пояс.

Ватажники обыскали струг, и нашли, кроме дубового бруса, который в безлесной Астрахани был в цене, два кожаных мешка с чем-то мягким. Развязали — соболя! На радостях поначалу забыли пересчитать самих себя. Огляделись, двух ватажников нет, значит, упали в воду. Но было не до мёртвых, живых ватажников переполняла радость оттого, что они живы.

Соболей и одежду перенесли в лодку. На струге оставались только Влас и Лом, в руках у них были топоры. В несколько взмахов они проломили днище струга, и в него хлынула вода. Таков был у волжских воров обычай — убить всех и утопить всё, что нельзя взять с собой, чтобы нечем и некем было доказывать совершённое преступление. В свою очередь государевы воинские люди пойманных воров не щадили: вешали и топили без всякого на них розыску.

Струг медленно погружался в воду, но деревянный груз удерживал его на плаву, и он медленно поплыл, увлекаемый течением реки. Где-нибудь струг приткнётся к берегу или попадёт на отмель, будет напоминать путешествуящим о случившийся с ним беде. А увидевшие его люди снимут шапки и перекрестятся, поминая погибших скорбной молитвой.

Лодка ватажников, отягчённая добычей, шла к берегу. Люди в ней были веселы и довольны удачным началом гулёвой путины. Филька, ворочая тяжёлым веслом, зубоскалил над Власом, остальные ватажники над этим похохатывали, понуждая забавника к продолжению веселья. Федька опаматовался от совершённого им убийства и, хотя не смеялся, но смотрел вокруг живо и весело. Жизнь обрела для него новую, доселе им не испытанную полноту и насыщенность, то есть то, что люди называют счастьем. Но из-под воровского счастья всегда сочится кровь, однако этого Федька ещё не ведал.

На берегу ватажников встречал Степан. По старому обычаю, после гулёвой работы, ватажники мылись и парились, чтобы смыть с себя грязь и кровь. Первый пар, опять же по обычаю, достался атаману, он голяком выскочил из бани и с разбега упал в воду. За ним пошли париться и полоскаться в реке другие ватажные люди. Награбленным имуществом занимался Степан, который был казначеем ватаги. Он разложил на берегу на отдельные кучи верхнюю одежду, шапки, кафтаны, зипуны, рубахи, штаны, сапоги, рядом поставил короба с солёной рыбой и вяленным мясом, кули с мукой, гречкой, горохом, луком и чесноком. Отдельно лежало оружие: пищали с пороховницами, сабли и ножи. Золотая казна была у атамана.

Помывшись, ватажники собрались вокруг награбленного добра, чтобы его раздуванить, то есть поделить между участниками набега. Дуван был высшим проявлением воровского равенства, в нём участвовали все ватажники, и каждый имел право голоса. Умело провести дуван значило для авторитета атамана не меньше, чем его отвага в бою. У ватажников были свои понятия о чести и справедливости, скроенные по воровским правилам, и переступить через них не мог никто, даже атаман. Поэтому Лом отнёсся к дувану со всей серьёзностью.

— Здесь двести золотых, — важно возгласил он, поднимая кошель с деньгами. — Нас десять душ. На каждого выходит по двадцать золотых. Подставляйте шапки!

Ватажники по очереди подходили к атаману, и он отсыпал каждому его долю золотых.

Федька, щупая языком во рту полученный ранее золотой, томился сомнениями: подходить ли ему за деньгами.

— А ты что стоишь? — разрешил его неуверенность Лом. — Подставляй шапку. И мой золотой сюда же выплони. Или проглотил?

— Цел! — радостно сказал Федька и выкатил на ладошку отмытый слюной золотой, который жарко вспыхнул на солнце. Лом встал с колоды, где сидел, как на троне и, обращаясь к своей ватаге, державно возгласил:

— Жалую Федьку правом носить золотой на шапке!

— Атаману слава! — закричал Филька, жадно поглядывая на пятиведёрный бочонок с хлебным зеленым вином, добытый на струге.

— Одежду смотрели? — спросил Лом. — Разбирайте, кому, что по праву.

Ватажники кинулись расхватывать добычу. Хватали всё, что попадётся под руку. Потом начался размен. Фильке достался левый сапог, Власу — правый. Оба сапога пошли к тому, кому они были впору — Фильке. А тот пожаловал своего друга шапкой.

Оружие не подлежало дувану, Степан отнёс его в амбар и крепко запер.

— Что, дружье, не пора ли начинать пир? — спросил Лом.

Ответом ему были радостные крики. Фёдку, ставшего полноправным членом шайки, Лом назначил виночерпием. Ватажники подходили к нему со своими чарками, и он наполнял их вином. Мясо и рыбу из коробов брал всяк сам, сколько хотел. Особо налегали на чеснок и лук, исконно русские закуски.

Первой чаркой вина ватажники поздравили атамана и друг друга за удачный и прибыльный набег на купеческий струг. Вторую чарку выпили за ватажное товарищество, забыв помянуть своих приятелей, убитых в схватке, но это было не в новость, у воров не в обычае помнить убитых. И тут, запянев, обиделся Филька, никто не вспомнил и не похвалил его за весть о струге, а ведь он, с риском для жизни, бегал в Надеино Усолёе и всё вызнал о купцах, направлявшихся в Астрахань за икрой и рыбой. Филька начал задирать ватажников, бузить, буянить, в конце концов, его скрутили верёвкой, забили в рот ветошный кляп и бросили в колючие кусты ежевики. А без Фильки не стало голосистого запевалы, и пир превратился в тоскливое попойще. Фёдка пришёл в себя от холодных капель росы, которые сыпались ему на лицо с ивового куста. Едва открыв глаза, он, первым делом, схватился за шапку. Пришитый вчера к её отвороту золотой был цел, как и другие, за пазухой. Ватажники начали шевелиться, на крыльцо избы вышел Лом.

— Все живы? — спросил он, оглядывая своё воинство. — А где Филька?

— Тут, — сказал Влас. — От тебя, атаман, хоронится, дрожит с перепугу за вчерашнее.

— Поспешайте, — сказал Лом. — Пора прогуляться по Волге, небось, купцы без нас заскучали.

Целый день ватажники простояли в засаде у Яр-Камня, но мимо прошёл всего один струг с крепкой воинской охраной, и нападать на него Лом не решился. Но день на день не приходится, и через неделю людям Лома повезло, они ограбили струг гостя Гурьева. Самого именитого купца там не было, но он не замедлил ударить челом царю. С тех пор Лома стали знать на Москве, а окольному Хитрово был дан указ, поймать Лома и вздёрнуть на рели.

**Указ про то, как окольничий Богдан Хитрово
ударил палкой назойливого дворянина и как сей
меткий удар отразился на судьбе патриарха
Никона**

Сейчас иностранные послы прибывают в Россию тишком, а во времена царя Алексея Михайловича приезд иноземных послов, тем более государей, а Теймураз был царём Кахетии, вызвал в Москве великое шумство, как среди простого люда, так и среди знати. Власти не препятствовали этому, показывая многолюдство государства. На случай приёма гостей все те, кто находились в ближайшем от царя окружении, получали дорогую одежду и драгоценные украшения. Каждому было определено его место в дипломатическом ритуале, словом, это была целая наука. Обычно никаких происшествий не случалось.

Но вот что пишет историк С. Соловьёв: «Летом 1658 года был обед во дворце по случаю приезда в Москву грузинского царевича Теймураза. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал путь царевичу; он это делал по известному обычаю, надаря палочными ударами тех, кто слишком высовывался из толпы; случилось, что попался ему под палку дворянин патриарший князь Мещерский.

— Не дерись, Богдан Матвеевич! — закричал дворянин. — Ведь я не просто сюда пришёл, а с делом.

— Ты кто такой? — спросил окольничий.

— Патриарший человек, с делом посланный, — отвечал дворянин.

— Не чванься! — закричал Хитрово, и с этими словами ударил его в другой раз по лбу».

Дворянин побежал жаловаться патриарху, и тот своею рукой написал царю, прося разыскать (расследовать) дело и наказать Хитрово. Алексей Михайлович ответил также собственноручной запиской, что велит сыскать, и сам повидается с патриархом. Но события развивались по-другому. Через несколько дней к патриарху пришёл князь Юрий

Ромадановский и от имени царя запретил ему называться «Великим государем».

И тут Никон обнаружил превеликую гордыню. Он отслужил обедню в Успенском соборе, потом, после возвышенной проповеди, произнёс:

—Лучше с сего времени не буду патриарх.

Принесли мешок с простым монашеским платьем. Пока толпа отнимала мешок, Никон пошёл в ризницу и написал письмо царю: «Отхожу ради твоего гнева...». Во дворце встревожились. Послали переговорщиком князя Алексея Трубецкого, но Никон требовал, чтобы ему пожаловали келью. Трубецкой ушёл во дворец. Никон продолжал бузить, а враги патриарха не дремали. Они хотели показать его неправды, его грехи, его недостойнство, показать, что напрасно Никон старается внушить, будто удалился вследствие гонения несправедливого. Скоро Никон увидел перед собой бездну, в которую его в одночасье столкнуло государево неблагоприятное положение. Начался сыск уже по Никонову делу: изъяли его бумаги, стали проверять траты, и много чего нашлось в обвинение.

1 апреля 1659 года Никону было объявлено, что он от патриаршества отказался и в дела церковные не имеет право вмешиваться. Собрали собор из своих архипастырей, но влез некий грамотей и доказал, что лишать Никона патриаршества вправе только другие православные патриархи. Срочно послали, снабдив деньгами, посыльных за ними, чтобы поспешали на собор.

А что наш герой, зачинщик всего этого церковного перетряса, Богдан Матвеевич Хитрово?.. О нём, если где и слышно, то только в устных и письменных речах Никона. Пишет Никон константинопольскому патриарху Паисию и обязательно начинает описывать свои беды с Хитрово, который прибил во дворце слугу патриаршего и остался без наказания. В рассуждениях Никона была своя логика: оттащали бы царя за промашку с патриаршим слугой Хитрово за бороду, и ничего бы не случилось. Не было бы указа о запрещении называться «великим государем», сысков, читки личных бумаг, соборов с

требованием отречения. В глазах Никона Хитрово был виновником всех его бед.

Но вот приехали антиохийский и александрийский патриархи. Стали читать Никоновы отписки на вопросы собора.

«...Оставил патриаршество вследствие государева гнева».

«Допросите, — прервал царь, — какой гнев и обида?»

Никон: «На Хитрово не дал обороны, в церковь ходить перестал...» Патриархи: «Хотя Богдан Матвеевич зашиб твоего человека, то тебе можно было бы потерпеть и последовать Иоанну Милостивому, как он от раба терпел...» Тут послышался голос Хитрово, ободрённого словами патриархов. «Во время стола я царский чин исполнял, — начал Богдан Матвеевич. — В это время пришёл патриархов человек и учинил мятеж, и я его зашиб, не знаячи...» Патриархи продолжали: «Когда Теймураз был у царского стола, то Никон послал человека своего, чтобы смуту учинить, а в законах написано, кто между царём учинит смуту, тот достоин смерти, а кто Никонова человека ударил, того бог простит, потому что подобает так быть». При этих словах антиохийский патриарх встал и осенил Хитрово.

Никона сослали в Ферапонтов монастырь, но и оттуда он умудрился ещё раз дотянуться до Хитрово. К исполнению своей задумки он привлёк старца Флавиона и послал письмо, смысл которого заключался в том, где некий чёрный поп показывает: «Богдан Хитрой мне друг и говорил мне, чтоб я государя очаровал, чтоб государь любил больше всех его, Богдана, и жаловал, и я, помня государеву милость к себе, ему отказал, и он мне сказал: «Нишкни же!» и я ему молвил: «Да у тебя литовка то умеет; здесь на Москве нет её сильнее». И Богдан говорил: «Это так, да лихо запросы велики, хочет, чтоб я на ней женился, и я бы взял её, да государь не велит».

Устроили сыск, дело было нешуточное в ведовстве, призвали в застенки всех этих чернокнижников и травников. Они сказали: «Вольно старцу Никону на нас клепать, он это затевать умеет...» С тем и отступились, тем более, что из Ферапонтова монастыря доходили странные слухи о поведении Никона.

В то время как Никон объявлением великого государева дела на Хитрово, хотел проложить себе дорогу к возвращению из ссылки, про него самого объявилось великое государственное дело, давшее торжество Хитрово с товарищами, и отягчившее участь заточника. Из Ферапонтова монастыря приехал архимандрит Иосиф и донёс: «Весною 1688 года были у Никона воры, донские казаки, я сам видел у него двух человек, и Никон говорил мне, что это донские казаки, и про других сказывал, что были у него в монашеском платье, говорили ему: «Нет ли у тебя какого утешения: мы тебя отсюда опростаем».

От греха подальше Никона затворили в келье, приставив крепкий караул. В церковь на службу он ходил в сопровождении стрельцов. И вообще Никон сильно внутренне изменился. Много значения стал придавать еде, жаловался царю, что его плохо содержат, хотя всего у него было в преизбытке. Царь жаловал его деньгами, осетрами, именными пирогами, посылал собольи меха. И всё для того, чтобы смягчить безвыходное положение бывшего патриарха, который после ссоры с царём недолго зажился на белом свете.



Патриарх Никон

Сказ про Богдана Матвеевича Хитрово

Как можно судить по дошедшим до нас немногим документальным известиям о Богдане Матвеевиче Хитрово, основатель града Синбирска не отличался чрезмерным честолюбием, и не оставил после себя даже портрета, но тогда «парсуны» писались очень редко. Чурались верующие люди самопрославления, да и художников подходящей подготовки в России попросту не было. Были изуаграфы, иконописцы, в подчинении Хитрово в Оружейной палате, где работал знаменитый Ушаков, но это были мастера божественного письма, и позировать такому мастеру смертному человеку вряд ли было удобно. От него осталась его усыпальница в Новодевичьем монастыре, несколько церквей, построенных его попечением. Кажется, в Оружейной палате хранится принадлежащее ему блюдо. Однако мы помним о нём и совершенно справедливо, потому что Богдан Хитрово основал по царскому указу град Синбирск, град интересной судьбы, сыгравшей в истории нашего отечества свою немаловажную роль.

Со стороны матери Богдан Хитрово происходил из древнего и знаменитого рода дворян Ртищевых, благополучно переживших годы опричнины и Смутное время. Отец — Матвей Елизарович Хитрово, погибший в Смуту, — принадлежал к роду выходцев ещё в XIV веке из Золотой Орды, некому мурзе Едугану. При крещении в отчине рязанского князя Олега ему дали имя Андрей и прозвище Хитрый. После смерти рязанского князя Олега его княжество перешло московским великим князьям, и род Хитрых переселился в Москву. Вначале они занимали небольшие должности, но со временем вознеслись. Причина возвышения новопоселенцев определённо связана с избиением Иваном Грозным боярства и всеобщим возвышением в начале XVII века дворянства как привилегированного сословия России.

Раннее детство Богдан Хитрово, скорее всего, провёл в родовом имении, селе Григорово близ Калуги под надзором

своей матери Анны Михайловны. Учился, видимо, под руководством опытного церковного наставника, преподававшего ему письмо, церковную историю и жития святых. Указание на то, что Богдан Хитрово знал латинский и польский языки, говорит о том, что одним из его учителей был пленный иностранец, скорее всего поляк. Большое значение в жизни мальчика имело ежедневное посещение церкви, изучение правил поведения в храме, значения обрядовой стороны богослужения, ибо без этих знаний молодому человеку в то время было просто невозможно сделать карьеру. Безусловно, у него был опытный наставник в обучении воинскому искусству. В те времена никого не удивляло раннее взросление юношей. Совсем юношами командовали русскими полками молодые воеводы и добивались побед. Например, Александр Невский. Молодым, совсем юнцом, занял отцовский трон царь Алексей Михайлович. В то время на обучение и нравственное возмужание молодому человеку из родовитой семьи давалось совсем мало сроку.

Видимо, по решению Ртищевых и Хитрово молодой Богдан пятнадцати лет был определён стряпчим при государе. (В XVI-XVII веках — нижний придворный чин. Наименование «С.» заимствовано от слова «стряпать» — делать...).

При царе Алексее Михайловиче вся государственная жизнь, а значит, возможность выделиться, сделать карьеру, сосредоточивалась в Кремле. В нём в постоянном коловращении ежедневно обитали сотни людей, и их значение определялось тем, насколько близко они находились от трона. По сути, все, начиная от простого стряпчего, кончая ближним боярином, были холопами царя-самодержца. «Вся эта служня обязана постоянно быть налицо при великом государе, — сообщает историк С. Соловьев. — С раннего утра собирается она ко двору, старики едут в каретах, зимой — в саних, молодые верхом». Так же с пятнадцати лет начал делать и Богдан Хитрово. В Кремль все входили пешими. «Войдём за ними во дворец, — продолжает историк, — там обнаружится различие по степеням знатности и приближения к царю. Толпа не идёт далеко, останавливается на постельном крыльце, на обширной

площади его. Здесь мы видим стольников, это дети отцов, которые знатны по чинам, а не по происхождению. Их будет человек пятьсот, главная их служба во дворце — носить кушанье к царскому столу при торжественных обедах, их же отправляли посланниками к иностранным дворам, воеводами по городам и в приказы. Стольники, стоящие здесь, назывались «площадными», в отличие от «комнатных», детей более знатных особ, более приближенных к царю отцов».

Богдан Хитрово три года проходил в стряпчих, то есть выполнял мелкие разовые поручения, и проявил столь высокие качества, что через три года стал стольником «при крюке» в царской комнате, то есть допускал к царю просителей и востребованных по какому-нибудь поводу. Теперь от стольника Богдана Хитрово зависело очень многое. Во-первых, он всегда присутствовал при обсуждении всех вопросов; во-вторых, «крюком» распоряжался он и мог одного допустить к царю, а другого попридержать, не докладывая о нём государю. Интересно, что люди «при крюке» сохранились в нашем государстве и умножились миллионнократно. У царя Алексея Михайловича был один секретарь «при крюке» — Богдан Хитрово, сейчас же секретарей «при крюках» имеют почти все чиновники.

Надо думать, что за годы своего стольничества Богдан Матвеевич Хитрово в совершенстве постиг все навыки византийского царедворца, которое культивировалось при дворе русских царей, и сделал для себя правильный вывод: не соединяться, ни с кем, не входить ни в какие кружки и союзы. Не говорить про других ни хорошего, ни плохого. В разговоре со старшими не выпячивать своё многознание. Быть истовым богомольцем.

Однако всех этих качеств явно не хватало для того, чтобы получить чин окольничего, а затем боярина. Для достижения этих высоких званий стольник должен был совершить то, что имело бы государственное значение. Возможно, при содействии видного боярина князя Андрея Вяземского Хитрово получил назначение на пост полкового воеводы в городе Темников. Это был захудалый городишко, но вся соль назначения состояла в

том, что полк выдвигался на новую Корсунско-Синбирскую черту и с приданными ему работными людьми сначала должен был обустроить линию Сурский Острог-Корсун, затем Корсун-Синбирск, со строительством города-крепости Синбирск. Это было уже большое государственное дело, успешно выполнив которое, Богдан Хитрово мог рассчитывать и на повышение своего статуса как государственного мужа.

За Корсун и строительство Засечной черты воеводе Хитрово был дан чин окольничего, 62 рубля, увеличен поместный оклад на 25 четей (около 15 гектаров пашни), пожалована вотчина у Царева Сенчурска на пятьсот дворов. В связи с получением чина окольничего Хитрово пришлось «местничиться» с Дубровским. За «нескромные наветы» на Богдана Хитрово, царь отправил Дубровского для «думанья» в тюрьму, а окольничество Хитрово «сказал» дьяк Волюшенинов.

Неизвестно, на сколько времени застрял бы Хитрово в Синбирске: работы там по сооружению кремля, посада, продолжению засечной черты на заволжской стороне только начинались и в перспективе могли продолжаться не менее пяти-семи лет. Но летом 1648 года случилось невиданное доселе царём Алексеем Михайловичем — Соляной бунт, в котором приняли участие и чернь, и посадские люди, и часть стрельцов и солдаты Шепелевского полка. Государь, знавший до этой поры о народных возмущениях понаслышке, лицом к лицу столкнулся с обезумевшими и озверевшей толпой, которая жаждала грабежа и крови.

Возможно, по молодости лет, видя народ смиренным и богобоязненным в дни церковных выходов, Алексей Михайлович считал, что его подданные не способны на кровопролитие, и смело вступил в бунтовщиками в переговоры, но ошибся в своих предположениях. В следующие дни толпа растерзала его приближённых, и царю удалось со слезами на глазах вымолить жизнь своего воспитателя князя Бориса Ивановича Морозова. Всё это не могло не потрясти до основания душу молодого царя, и хотя он не превратился в подобие Ивана Грозного, но, наверняка, понял, что кнут для увещания подданных более действенное средство, чем слова.

Затем последовал бунт в Пскове, затем Медный бунт, и, наконец, восстание под предводительством Стеньки Разина. Кстати сказать, этим восстаниям советская историография и историческая литература уделяла слишком много места, что искажало смысл царствования Алексея Михайловича.

В трудные минуты жизни человеку свойственно становится прозорливым. И оглянувшись государь Алексей Михайлович во время бунта вокруг себя и увидел очень немного людей, истинно ему верных. Многие бояре и окольные толпились, как гуси, в царских сенях, но никто из них не предложил ничего полезного, даже хорохористый тесть Илья Данилович Милославский примолк. Вполне возможно, что в это трудное время он и решил вызвать Богдана Хитрово, которого знал уже много лет и на чью верность мог вполне положиться.

После участия в Земском соборе, известного тем, что на нём было принято Уложение, ряд статей которого окончательно закрепил крепостное право в России, Хитрово испросил у государя длительный отпуск. Несколько месяцев он посвятил устройству своих вотчин, число которых постоянно росло: жаловал окольного царя, и он сам вёл куплю-продажу своих сёл и деревень, с неизменным прибытком своей казны. В июле 1649 года Богдан Матвеевич был поставлен во главе Челобитного приказа, затем в июле 1651 года ему был доверен один из важнейших приказов — Земский, ведавший делами стольного града, ещё не конца успокоенного после кровавых событий Соляного бунта.

В Земском приказе, размещавшемся возле Московского кремля в громадной избе, где рядом с крыльцом и на земляной крыше стояли по две всегда готовые к бою пушки, решались самые важные вопросы городской жизни: надзор за мерами веса и объёма товаров, продаваемых на бесчисленных московских торгах, уплата с них пошлин, запись всех домов и земельных участков, какие в Москве продаются и покупаются, сбор налогов на жильё, воротные, мостовые, крепостные деньги, надзор за общественным порядком на улицах.

С именем Хитрово связано устройство Новой Немецкой слободы. Иностранцы проживали в Москве издавна. При

Василии III они были поселены отдельно от русских в Замоскворечье, где им, в отличие от москвичей, разрешалось пить вино, поэтому это место называлось Налевки. В Смуту иностранцы расселились по всему городу.

«Московиты относятся терпимо и ведут сношения с представителями всех наций и религий, как-то: с лютеранами, кальвинистами, армянами, персиянами и турками» — отмечал Олеарий в своём «Путешествии в Московию». Добавим, что русские нетерпимо относились к иудеям и католикам. Наиболее благожелательными были отношения с лютеранами и кальвинистами, те имели в Белом городе две церкви, но в начале 1640-х годов произошло несколько событий, которые вызвали недовольство государя и патриарха.

Лютеране потеряли церковь из-за ссоры и драки женщин, споривших о первенстве. Немецкие офицеры женились на купеческих служанках, а те, став жёнами капитанов и поручиков, уже не хотели сидеть ниже своих барынь, которым уступать своим бывшим служанкам показалось постыдным. Началась ссора, переросшая в драку. На беду мимо церкви проезжал патриарх. Он приказал сломать лютеранскую кирху, и какое-то время у лютеран церкви не было. Кальвинисты начали строить свой храм, но действовали без разрешения, и его сломали тоже.

Многие иностранцы, прижившись в Москве, стали носить русскую одежду, из чего произошла неприятность. Патриарх, благословляя народ, вышел из собора. Все православные стали на колени, однако несколько человек остались стоять, поскольку они иностранцы. После этого немцам запретили носить русскую одежду.

Со временем начали поступать челобитные, что немцы, живущие в городе, купили самые лучшие и большие площади из приходских земель и лишили де попов их доходов. Царь, чтобы не обострять положения с иностранцами, издал строгий приказ: «Кто из немцев хочет перекреститься по русскому обряду, тот пусть останется жить в городе, но кто отказывается поступить так, тот обязан в течение короткого времени вместе с жилищем своим выбраться из города за Покровские ворота, в Кокуй...»



Прогулка посла по двору посольского приказа

Это место нарекли Новой Немецкой слободой. Здесь каждому по его личному состоянию выделялась земля. Ответственным за возведение новой слободы был назначен окольничий Богдан Хитрово.

Земли для иноземцев, примерно на четыреста дворов, были отведены на берегу Яузы. Участки раздавались бесплатно. Во время этой работы Богдан Хитрово близко познакомился с иностранными специалистами, которые стали жить на Кокуе: оружейниками, мастерами пушечного дела, ювелирами, врачами. Он присматривался к обустроенному быту иноземцев, к их способности сообща решать важные вопросы жизни общины.

Столкновение с патриархом Никоном не повредило служебному возвышению Хитрово, и, возможно, даже помогло этому. Руководя Земским приказом, он время от времени привлекался к выполнению важных посольских и военных поручений. Когда обострились отношения с Польшей, Хитрово участвовал в военных действиях, а затем в переговорах об условиях перемирия. В 1653 году его назначили в состав

«великого посольства» и направили в Варшаву вместе с князем Б.А. Репниным. С началом новых военных действий Хитрово стал товарищем полкового воеводы Я.К. Черкасского и принимал участие во взятии Минска, Ковно, Гродно. А в 1656 году государь доверил Хитрово один из самых важных постов — назначил руководителем Оружейной палаты, которая занималась вооружением русской армии. Богдану Матвеевичу были подчинены Ствольный приказ, Серебряная и Золотая палаты. Вскоре количество оружейников, которые тогда работали по своим домам, увеличилось в три раза, были произведены большие закупки пищалей и пистолетов у иностранных государств. Это позволило к 1680 году создать около тридцати солдатских, рейтарских и драгунских полков иноземного строя.

Своими первоначальными функциями арсенала и мастерской царского оружия палата ограничивалась очень недолго. В неё вслед за оружейниками и кузнецами со временем вошли чеканщики, златописцы, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, художники по церковной росписи и украшению книг, мастера басменного и финифтяного дела, знатные живописцы — от тех, кто занимался расписыванием знамён, стягов, «палаток», до иконописцев, наконец, строители — каменных дел мастера и плотники. Оружейная палата занималась вооружением русской армии, выполняли заказы для царской семьи, крупнейшие заказы городов и монастырей. Здесь была налажена система учёта мастеров по всему государству. Все они в своё время проходили при Оружейной палате испытания в мастерстве и в случае необходимости вызывались в Москву или другие города для выполнения ответственных работ по своей специальности.

По заказам Оружейной палаты в те годы трудились известные живописцы — С. Ушаков, И. Владимиров, С. Лопуцкий, оружейники К. Давыдов, братья Вяткины, серебряники Г. Евдокимов, Т. Греков, Ф. Фробос. Их произведения сохранились и являются гордостью наших музеев.

В руководстве дворцовыми палатами проявилась многогранность личности Хитрово: он и крупный

администратор, способный координировать деятельность оружейных заводов, и тонкий ценитель редких художественных произведений, умеющий заметить дарование, создать условия для творчества.

Хитрово принадлежал к поколению властных людей, которые своей деятельностью торили путь реформам Петра I. Они были ещё не готовы разорвать связи с прошлым и безоглядно устремиться в будущее, и к ним вполне можно отнести слова историка В.О. Ключевского: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он ещё крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занёс, было, за её черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении».

Богдану Матвеевичу эти душевные метания государя были ведомы очень хорошо, с каждым годом его отношения с Алексеем Михайловичем становились всё ближе и душевнее. Ломая сложившиеся местнические обычаи, царь назначает его ведать приказом Большого дворца, хотя прежде такого не бывало. Большим дворцом всегда заведовали представители первых боярских родов. В 1667 году Хитрово был пожалован в бояре и дворецким, а, по сути, был включён в самый близкий круг лиц, посвящённых в семейные тайны государя. Его отношения с Алексеем Михайловичем приобретают характер дружбы, основанной на внутреннем духовном родстве. На заседаниях боярской думы Богдан Матвеевич сидит на первом месте после царя — по левую его руку. А при частых выездах Алексея Михайловича на богомолье занимает место в царской колымаге. Возвысился, стал окольничим, его брат Иван, которому было доверено воспитание наследника престола Фёдора Алексеевича.

При исключительной занятости служебными делами Хитрово не забывает, и о собственных интересах. Милостью государя он стал владельцем семнадцати тысяч десятин земли и трёх тысяч крестьянских дворов в нескольких ближних к Москве уездах. Много внимания уделяет подмосковной усадьбе Братцево, строит там каменный господский дом и каменную церковь

Покрова с приделом Алексея Божьего человека, тезоименного царю Алексею Михайловичу «да в селе двор боярский и около двора задворных крепостных деловых людей русских и иноземцев 37 человек».

Царь Фёдор Алексеевич сохранил высокое положение Хитрово при дворе, и пожаловал его так называемым «дворчеством с путём», то есть возвел в дворецкие более высокого ранга, и передал ему к прежним обязанностям ведение Монастырского приказа, со всеми его несметными богатствами. При молодом царе Богдан Матвеевич занял первенствующее положение при дворе. Позже таких отмеченных фортуной людей стали называть временщиками, но кажется, Хитрово, имея необъятную власть, никогда не пользовался ей для личного обогащения и не вредил людям. Сохранились известия, что он был в общении доступен и прост и не отказывал в помощи нуждающимся людям. В одной из рукописей того времени Хитрово описывается как «... знатный боярин Московского царства именем почтеннейшего мужа, который не затыкает ушей своих от просителей, который столь великодушно и искусно поддерживает славу царского венца благотворною рукою, что почти совершенно уничтожил господствующее здесь тиранство и на его развалинах основал храм Граций». Конечно, «Храм Граций» Богдану Матвеевичу не удалось основать, да и вряд ли он ставил перед собой такую задачу, но он был во всех отношениях достойным государственным мужем, способствовавшим возвышению России.

Радость от постоянных успехов по службе и расточаемые ему царские милости, не смогли смягчить для Богдана Матвеевича огорчения и разочарования в семейной жизни. Сыновей у него не было, из двух дочерей одна умерла в младенчестве, вторая вышла замуж за князя Троекурова и скончалась при жизни родителей. В 1680 году не стало и самого Хитрово. Погребённый едва ли не с царскими почестями в московском Новодевичьем монастыре, он оставил наследницей своего громадного имущества жену Марию Ивановну.

Любопытно, что Фёдор Алексеевич это завещание утвердил, хотя в нём было неодобряемое властью распоряжение

освободить кабальных и пленных людей. Последовал царский указ: «Кабальных и пленных людей, которые за ним (Хитрово) жили в крестьянстве по судным и в родовых и в выслуженных им поместьях и в вотчинах, а которые крестьянские дети и во двор взяты из поместий и вотчины его освободить на волю, и впредь никому то за образец и на пример не ставить».

Всё наследство боярыни Хитрово после её смерти было взято в царскую казну и было впоследствии роздано другим служилым людям. Скоро стало забываться и имя Богдана Хитрово, которому не повезло быть особо отмеченным историческими писателями, но осталось, как оказалось, главное детище его жизни — град Синбирск — Симбирск.



Герб рода Хитрово

Сказ про замученного в Пустозерске синбирского протопопа Никифора

Хотя в стародавние времена Новый год люди не отмечали как праздник, для этого было Рождество Христово, но встречали его в ожидании чего-то неожиданного, скорее пугающего, чем радостного, ибо надежды на худшее исполняются гораздо чаще, чем на что-нибудь счастливое и веселое. И тут мы должны учесть главные и решающие для русского XVII века обстоятельства — жизнь людей того времени была насквозь религиозна. В больших и даже самых малых делах человек полагался на божественное провидение. В конце концов, все в жизни этого века замыкалось на Боге, на его благорасположении к человеку, в частности, и к обществу, в целом. Сейчас нам кажется нелепым такой образ жизни, но для XVII века, для того мира вещей и мыслей — это было несомненным благом, ибо человек имел целостное восприятие мира, где была чёткая иерархия: Святая Троица, царь, бояре, служилые люди и т.д., кончая юродивым, который вопил и корчился на паперти столичного или синбирского собора.

Однако это целостное восприятие мира не всегда было прочным и устойчивым. В XVII веке на Руси стала популярна Кириллова книга, где предсказывалось, что пришествие антихриста на Русь должно было произойти в 1666 году, и многие старообрядцы вначале склонны были считать таковым антихристом Никона.

«Понеже антихрист прииде ко вратам двора, — писал вернувшийся из сибирской ссылки протопоп Аввакум, — и народилось выблядков его полная небесная...»

С душевным трепетом ступил в окаянный 1666 год и синбирский протопоп Никифор, знавший о предсказаниях Кирилла и о том, что на приход антихриста указывает число 666, упомянутое в «Откровении» Иоанна Богослова.

Не так уж много лет прошло со дня счастливого 1648 года, когда он, молодой тридцатилетний священник, стал служить в соборной церкви Живоначальной Троицы строящегося града

Синбирска. Какие это были счастливые годы, наполненные смыслом ежедневного соприсутствия с Богом. Но явился Никон, затмил очи царю, встал с ним вровень, даже именовать себя потребовал титулом равным царскому «Великий Государь», и вошли в русскую православную церковь разор и смятение.

Никифор вступил в новый год своей жизни с ощущением, что этот год будет его Голгофой, потому что решил стоять до конца за древнее благочестие, за истинную веру. Единственное, что он боялся, была его физическая слабость, он не знал, как достойно вынести мучения, которым его подвергнут. Не отречётся ли от своего решения после первого удара кнута, выдержит ли голод и холод, вынесет ли хоть малую толику страдания, которые уже вынесли первые новомученики?.. Он искал опору в душе, сокрушался, что Бог не дал ему крепости в членах, а сотворил небольшим, мягкотелым, любящим покойную жизнь человеком. Но ещё он боялся, что на него крикнет какой-нибудь приезжий никонианский Пилат, и вздрогнет он от страха и онемееет от ужаса. Боялся он и за судьбу своих сыновей, которые служили с ним в церкви, приняв первый священнический сан, — Антипу и Михаила. Их ведь тоже покарает антихрист Никон: сошлёт простыми иноками в дальний монастырь, а то и запечатает в подземную тюрьму.

Матушка-протопопица, царствие ей Небесное, уже два года как скончалась, похоронена возле церкви. И хорошо, что так, что не видит она его, не увидит его близких страданий. Каждый день он проходит возле её могилки и целует деревянный крест. Часто сидит на скамеечке рядом, шепчет слова покаяния перед ней, горюет, что пережил её, голубку, дожил до лихолетья...

Старый друг Никифора, дьякон Ксенофонт, отошёл от церкви, обмирщился. Как началась раскольничья замятня, ударился Ксенофонт в питье хмельное. Года два ещё служил, но как-то дыхнул на воеводу перегарищем, и тот, добрая душа, взял Ксенофонта в приказную избу, ибо грамотеем дьякон был изрядным, и языки местные знал.

Недавно пришёл Ксенофонт к протопопу вполпьяна, но рассуждал здраво. Сначала Никона всё поносил, не зная, что патриарх ждёт собора и суда над собой. Потом задал Никифору

вопрос: почему нас называют раскольниками, мы ведь этот раскол не затевали. Греки, хохлы учёные, афонские старцы - сидни затеяли раскол, что, де, русские молятся неправильно, а нам ведь и до их открытий хорошо было.

— Какая, скажи, разница двугубую или трегубую аллилую петь? Двумя или тремя перстами креститься? Вот, дурак безграмотный перевёл вместо «смертию смерть поправ» — «смертию смерть наступив», так почто об этой глупости извещать весь крещёный мир и драку устраивать? Ну, выпороли бы толмача и вся недолга. Так нет, кому-то умствовать захотелось!..

— Эх, Ксенофонтушка! — вздыхал отец Никифор.

— А я так мыслю! — грохотал басом Ксенофонт, — что стала наша православная святая Русь поперёк дороги антихристу! Вот он и начал обходить её кругами, выбирая в какой бок вцепиться. Теперь не оставит нас Антихрист на веки вечные до второго пришествия!..

Дьякон жалобно посмотрел на отца Никифора и молвил:

— Я ведь попрощаться с тобой, отче, пришёл. Ухожу с казаками на Низ, уломали меня они. Нам, говорят, как людям православным, свой пастырь нужен. Благослови, святой отец! — И Ксенофонт опустил перед протопопом на колени.

— На что благословить-то, Ксенофонтушка?.. Твои воровские казаки людей, как курей, режут! Ты, если хочешь, сам себя благослови. Вон церковь открыта. Иди и молись. Не мне тебя учить!..

Дьякон сморщился, заплакал пьяными слезами и сказал:

— Не обессудь, отец, а я благословлюсь чаркой медовухи!..

Достал из-за пазухи склянку и выпил одним духом.

— Так-то оно лучше! Жди нас, Никифор! Придём с Дона несметной силой!..

Никифор проводил дьякона, долго смотрел ему вслед, как тот, спотыкаясь, брёл по Смоленскому спуску к Волге, где у берега стояли казацкие струги и слышались раздольные песни. Он не осуждал дьякона за крутую перемену в жизни, просто жалко было ещё одного русского человека, ввавшего в пьяное язычество.

Протопоп хоть и жил на окраине, но до него доходили важные вести. Православные, отвергшие никонианство стали объединяться, помогать друг другу, изредка приносили весточку, что случилось где-нибудь за тыщу вёрст. И ночами при мерцающем свете лампы к нему приходили качающимися призраками те, кто уже пострадал за веру.

«...Костромской протопоп Даниил, расстриженный в церкви посреди народа в Астрахани, — в земляной тюрьме заморили; протопопа Логина сослали в Муром, где он и погиб в чумной мор; Гавриле — священнику — в Нижнем голову отсекли; протопопа Аввакума сослали в Даурию, где много мучили, вернули и вновь сослали на Мезень, а ныне ревнители сжигаются огнём своей волей...»

Протопоп Никифор забывается, и ему снится, как в комнату с шумом и угрозами врывается толпа пёстрообразно одетых людей. Впереди всех два уродца в патриарших одеждах и рогатых шапках, рядом с ними стрельцы, воевода Дашков.

— Хватайте! Стригите прямо здесь!..

Отец Никифор в ужасе хватается руками за голову и просыпается. В окне светит утреннее солнце, а с улицы его кто-то зовёт.

Вернулся из дальней поездки духовный сын протопопа купец Колокольников, зашёл поделиться новостями. А известия были удивительные. Наконец-то в Москве собирается продолжить свою работу, заседавший ещё в прошлом году церковный собор, решавший судьбу Никона. Важная новость была в том, что к собору приведут самых отъявленных раскольников, чтобы низвергнуть их из лона православия и объявить анафему.

Долго утрясаясь вопрос с патриархами, которых на востоке под турками было четверо. Никакой реальной власти эти патриархи не имели, но высоко ставились в Москве, как потомки вселенского константинопольского православия. По этой причине они довольно сильно чванились перед русскими духовными пастырями и свою ученость считали непререкаемой. По случаю войны в Европе они ехали в Москву через Персию и Астрахань, поднимаясь по Волге.

11 марта 1666 года царь Алексей Михайлович писал астраханскому архиепископу Иосифу: «Как патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал из Астрахани в Москву вместе с ними и держал честь и бережение; если они начнут тебя спрашивать, для каких дел вызваны в Москву, то отвечай, что Астрахань далеко, поэтому не знаешь... Думаешь, что велено быть в Москве по поводу ухода бывшего патриарха Никона и других великих церковных дел. Своим людям накажи накрепко, чтобы они с патриаршими людьми не говорили и были осторожны...»

Конечно, патриархи Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский хорошо знали, зачем они едут в Москву и что от них требуется. Знали и другое, зачем, главным образом и ехали, что будут осыпаны золотом и соболями за поддержку позиции Алексея Михайловича в весьма скверном внутрицерковном деле.

Издержек для дорогих гостей не жалели: под патриархами и свитой было пятьсот лошадей. Но скоро царю дали знать, что патриархи везут с собой наборщика печатного двора Ивана Лаврентьева, который был сослан на Терек за латинское воровское согласие, а также захватили с собой грамотея, писавшего воровские грамотки воровским казакам, разграбившим царский насад (корабль). Царь написал, чтобы воров в Москву не возили, а отдали воеводам.

В Синбирск патриархи прибыли, когда начинался ледостав, и со стругов надо было пересаживаться в кареты на полозьях. Это вызвало недолгую задержку патриархов в городе, которая и привела к губительным для протопопа Никифора последствиям.

За день до прибытия в Синбирск патриархов к протопопу домой приехал воевода Иван Иванович Дашков. Зайдя в горницу, перекрестился на образа трехперстно, сел на стул к столу и, сипло дыша, спросил:

— Что делать думаешь, протопоп?.. Завтра твой последний день. Астраханские сыщики нашептали патриарху, что ты держишься раскола. Я тебя, Никифор, покрывал, сколько мог, и здесь на тебя доносили, и из Монастырского приказа запрашивали. Я всегда отписывал, что лучше пастыря мне на

воеводстве не надо. Завтра патриархи решили посетить службу в церкви и запросили от меня пятнадцать стрельцов, помоложе и поздоровее... Может, одумаешься. Проведи обедню по-никониански, церковь сынам оставишь, а сам на покой...

Никифор весь окаменел от напряжения, на лбу выступили капли пота. Он сжал кулаки и выдохнул: «Нет!»

Всё случилось, по словам воеводы. Едва протопоп двуперстно благословил собравшихся, как вперёд перед ним выскочили те двое в рогатых шапках, патриархи что-то заверещали, указывая на священнослужителя. На Никифора обрушились несколько стрельцов, он услышал звон металла и блеск ножиц. Затем его волоком доволокли до воеводской избы и бросили в подвал. Гонения протопопом не ограничились: остригли дьякона Девичьего монастыря, в Уренске остригли попа по челобитной его дочери духовной. Но этих под караул не взяли.

Вечером воевода Дашков принёс в подвал тёплую одежду, бросил её на попа и просипел: «Дурак!»

— Ещё неделю будешь здесь сидеть, потом в Москву на голой телеге покатишь. Ну, чего ты добился?

— Я устоял супротив антихриста!..

Дашков вытаращил на него глаза, перекрестился, сплюнул в угол и вышел, загремев железом двери.

Из Синбирска патриархов снарядили по высшему разряду. Лучшие каретных дел мастера исполняли для священных особ: для патриархов — две кареты, для Трапезундского митрополита и архиепископа Синайской горы два рыдвана больших, да переводчику старца милетского рыдванец небольшой. На обивку пошли материалы: анбургское сукно, епанча серая и чёрная, 20 аршин зелёного шёлка.

Наконец, в середине октября 1666 года патриарший обоз двинулся на Москву. Многие вышли провожать его, но не заезжих патриархов, а своего протопопа, отца Никифора. Город был немногочислен, и в нём не было ни одного человека, с кем бы священник не сталкивался в жизни: одного крестил, другого женил, третьего увещал. И это не говоря о тех, кого он проводил

в последний путь отпеванием, и те, взирая с небес на мучения, провожали его на пути уже к ним самим.

Но это случилось не так скоро. 5 ноября 1666 года началось разбирательство дела Никона, где активной обвиняющей стороной был царь Алексей Михайлович. Никона признали виновным в самовольном оставлении поста патриарха и сослали в Феропонтов монастырь, обеспечив ему безбедное существование.

Синбирский протопоп Никифор был осуждён вместе с Аввакумом, Лазарем и Епифанием к ссылке в Пустозерск, место «тундряное, льдистое и безлюдное». В Пустозерск прибыли 12 декабря 1667 года. «Меня и Никифора - протопопа, — пишет Аввакум, — не казня, сослали в Пустозерск». Сам указ о ссылке подписан 26 августа 1667 года. На следующий день Лазаря и Епифания казнили на Болоте (Замоскворечье), урезав им языки.

В четвёртой челобитной царю Алексею протопоп Аввакум пишет: «Прости же, государе, уже рыдаю и сотерзаюся страхом, а недоумением содержим есмь; помышляю мои деяния и будущего судища ужас. Брат наш синбирский протопоп Никифор, сего суетного света отоьиде; посем та чаша и меня ждет...»

Это случилось около 1668 года.

14 апреля 1682 года в Пустозерске были сожжены Аввакум, Епифаний, Лазарь и Фёдор.



двуперстие

троеперстие

Сказ про то, как раскольничий старец Кирилл пытался учинить самосожжение староверов

Сказывают знающие люди, что однажды, ещё в стародавние времена, два синбирянина рыбачили возле Ундоровского мыса и рано поутру услышали с высокого правого берега мощно раздающееся над водой церковное пение. От неожиданности и страха они попадали на дно лодки, потом осмелели, приподняли головы над бортом и увидели нечто, что заставило их, выбрав из воды сети, срочно бежать прочь, к Синбирску.

Запыхавшись, они взобрались на гору, прибежали к только что отстроенной, пахнущей свежей сосновой стружкой воеводской избе и пали князю Петру Ивановичу Хованскому в ноги.

Князь посмотрел на драные и мокрые спины рыбаков и молвил:

— Чего слюни да сопли жуёте?.. Сказывайте, что случилось, кто напугал вас на сазаньей охоте?..

Рыбаки, перебивая друг друга, поведали князю, что из горы рёв утробный послышался, и потом как бы молитвенное пение.

— Пение?.. — недоверчиво переспросил князь Хованский. — Когда вы последний раз молитву слышали? От Федьки Шелудяка, у которого в воровских поделеньниках обретались. Благодарите бога, что вины ваши хоть и прощены, но не забыты. Людишек мало, а то бы я вас давно по Волге на плоту спустил.

— Брюзга! — крикнул Хованский сотника стрельцов, известного живодёра Брюзгу, и у рыбаков враз от ужаса затряслись головы.

— Возьми этих лоботрясов и поезжай верхом горой и на струге, разгляди, что там им причудилось и волоки сюда, если сбrehали, всыпь им по сотне плетей...

Сотник Фёдор Брюзга вёл свой отряд по набитой тропе: севернее города уже поднялись кое-какие починки, деревеньки. Земля здесь богатая, поля окружены светлыми дубравами, березняком. Эта земля была уже не пуста. То там, то здесь сочно зеленели нивы, в рощах виднелись свежие порубки на домашнее

жильё. Прибывал люд из верхних уездов, плодился на месте. Первые урожаи были богатые, земля не скупилась на рожь, гречиху, репу... Завидно было Брюзге смотреть на чужой достаток. Подал и он челобитную царю на отвод ста четвертей земли. Оставалось ждать и надеяться, что зачтёт царь-батюшка боевую службу и против ляхов, и шведов, и воровских казаков. Выделит Брюзге барский кус чернозёма.

Проехали Вышки, крохотную деревеньку из трёх домов. Взрослых не было видно, все в поле, на работе. На завалинке одного из домов сидел дедок, опершись на батожок. Увидев вооруженных всадников, дед попытался юркнуть в сарай, но молодой стрелец перехватил его.

Старик замотал головой, начал плевать, грозить батожком. Брюзга удивлённо вытаращил глаза и перевёл сказанное.

— Кричит, что их мордовский бог сильнее всех богов. На днях он кидал с неба огненные стрелы, и русские на берегу закопались в норы...

— Какие русские?..

Мордвин ткнул в сторону прибрежного леса и крикнул:

— Тама они! Тама!..

— Ну вот, вроде всё стало более или менее ясно. Гайда, хлопцы, прочедем берег сверху и до воды!..

Коней привязали к крепкой старой берёзе и, обрушивая сапогами песчаный берег, стали спускаться вниз. Жёсткий кустарник, колючая трава рвали одежду, цеплялись за снаряжение.

Спустились сажень на двадцать, сбились в кружок, решили передохнуть и обмозговать, что делать дальше.

— А вдруг это гулящие люди! — подал голос молодой стрелец. — А нас всего дюжина бойцов. Оглядеться бы надо. У них может, здесь волчьи ямы нарыты, западни насторожены. Так и брюхом на кол попадешь...

Тишина вокруг насторожила Брюзгу. Если птицы молчат, значит, кто-то есть поблизости. Вдруг откуда-то сбоку и снизу раздался хруст сучьев под чьими-то ногами и сильный и строгий голос произнес:

— Стойте на месте, я сейчас к вам подойду...

— Запалить фитили? — спросил молодой стрелец.

Брюзга запрещающе мотнул головой и поправил на поясе саблю. Шум шагов слышался уже где-то рядом. Стрельцы, встав друг к другу спинами, образовали кольцо и вынули из ножен изогнутые на конце сабли. Каково же было их удивление, когда в середину их круга с нависшей с обрыва берёзы прыгнул молодой парень в посконной длинной рубахе, подпоясанной вязаным ремешком.

— Вы кого-то потеряли? — спокойно спросил он, поигрывая в руках увесистой дубинкой.

— Ты кто такой? — опомнился первым Брюзга.

— Ты что, не знаешь меня, Фёдор? — удивился парень. — Я же Звонарёв Максим. Мы с тобой против Стеньки Разина в осаде стояли. Я тебе ещё к пищали полку для пороха приладил...

Брюзга присмотрелся: точно Максим. В осаде он с наибольшими людьми ходил: с воеводой Милославским, купцом Твердышевым, командирами Выборного полка. Интересно, что он поделявает в этом бурьяне?

— А кто сегодня утром закричал? Вот рыбаки услышали и к князю. Кстати, вон тот стружок видишь?.. Это наш. Воевода приказал доставить гулящих людишек в город. Но нам и одного тебя хватит.

Брюзга крикнул своим, чтобы они садились на коней и, захватив его жеребца в поводу, ехали в город.

Хватаясь руками за ветки кустов и деревьев, спустились к кромке воды. Стружок уже был на подходе.

— Сразу не удастся отчалить, — сказал Брюзга. — Надо стрельцам роздых дать. Да и пообедать не помешает. Ребята, знать, и рыбки наловили, сейчас уху заварят...

Сильными гребками стрельцы выбросили нос струга на песок. Лениво потягиваясь, вставали с мест, весело пересмеивались, а десятник уже стоял возле сотника Брюзги и внимал его командам.

Уху завели в ведёрном казане, артельной посудине. Скоро в нём забулькала вода, поспели и вычищенные судаки, лещи, мелкая сорожка, которую наловили по пути сюда, благо, что

рыбы в Волге в те благословенные времена было очень много. После Разинской осады царь Алексей Михайлович отдал синбирянам рыбные ловли на несколько вёрст ниже и выше города. Ловили рыбу сами горожане, сдавали угодыя за хорошие деньги богатым промысловым людям. И всем хватало. А к зиме обозами подходила красная рыба с Яика, поднимались насады с икрой и рыбой с Низа, из Астрахани.

Десятник вопросительно посмотрел на Брюзгу. Тот разрешающе махнул рукой:

— Давай по одной, но не больше!..

Появился небольшой кувшин-балакирь с водкой, из мешков стрельцы достали посудинки для питья, протянули одну Максиму.

— Я человек непьющий! — отказался от чарки. Перекрестился двумя перстами и взялся за ложку.

Краем глаза успел заметить, что водку пили не все. Два степенных, в годах, стрельца тоже отказались и перекрестились двуперстно.

Всё это не вызвало у остальных стрельцов ни вопросов, ни неодобрения. Ну, живёт человек по-своему, не бессермен ведь. В Москве надурили, напутали, а простым людям делить нечего.

Наелись рыбы от пуза, запили юшкой, кто по кустам прошёлся, ежевики нащипал. Развалились на песке, шапки под головы, разморились от жаркого рыбного варева, в сон потянуло. Максим тоже задремал на солнцепеке, обдуваемый свежим ветерком с реки. Всё тело охватила истома. Вода размеренно накатывалась на берег, с шуршанием уходила, чтобы через мгновение вернуться вновь. Высокие и слоистые кучевые облака медленно плыли над рекой, меняя свои очертания и отражаясь снеговыми горами в реке, которая шла своим путём, унося за собой людские жизни и судьбы.

«Какие народы здесь жили, — думал Максим. — какие великие царства, какие богатыри жили... Всё проходит! Вон Стенька Разин два года назад гремел в этих краях, а где он?.. Даже памяти не слышать...»

Не ведал Максим, что легенды не слагаются сразу следом за событием. Нужно, чтобы время прошло, больную

кровоточащую память людей припорошило забвением. Так со временем и возникнет диво дивное — народный сказ о Стеньке Разине, только сказ этот не о нём, а о мечте, недоступной смертным...

Повернулся Максим на другой бок и слышит: один стрелец плетёт другому байку о Стеньке Разине.

— Ты, Ефимка, в Жигулях бывал?

— Нет ещё.

— А мне пришлось, когда пошли мы в угон за Стенькой Разиным. Да куда там!.. Мы на середину Волги едва выгребли, а он уже у Самары был. Но мало-помалу поплыли мы к Жигулям. По пути хватили одного, другого, третьего вора, спрашиваем, где Стенька Разин?.. По их воровским ромам видно, что знают, где прячется разбойник, но не выдают.. Двое так и померли, ничего не сказали, а третий, когда потащили его к раскалённым угольям возвопил: «Открою всю правду про атамана!..» Ополоснули мы его в воде и стали слушать. Каждый наперёд лезет, чтобы самому всё услышать: у Стеньки кладов по Волге зарыто видимо-невидимо...

— Эх! — воскликнул молодой стрелец. — Кабы найти, хоть горстку!

— Да ты слушай дале... Развязали мы доносчику руки, дали хлеба пожевать, попил он воды и говорит: «Я, братцы, вместе с раненым Стенькой бежал из Синбирска. Подошли мы к переволоке, где струги перетаскивают из Усы в Волгу, Степан Тимофеевич открыл глаза и спрашивает:

— Что это за горы?..

— Жигули! — ответили мы.

Разин попросил нас пристать к берегу. Осторожно свели мы его на твёрдую землю и под руки повели к вершине горы. Здесь Разин ранеными руками вынул из кармана золотую трубку, оглядел нас и сказал:

— Видите, побратимы, заветная эта трубка никогда не расставалась со мной, даже в самые жестокие схватки она была при мне. Сегодня я задумал расстаться с ней. Хочу подарить её Жигулям, закопаю на самой вершине. Когда меня не станет,

пусть кто-нибудь достойный найдёт её и продолжит дело, начатое нами...

Вслушав слова атамана, побратимы выкопали глубокую яму, Разин раскурил последний раз трубку, выпустил клуб дыма и бросил трубку в приготовленное ей место. Затем засыпали яму землёй, заложили пластами дёрна, сели в струги и поплыли дальше.

Когда мы отплыли довольно далеко, кто-то из нас обернулся на берег и изумленно воскликнул. И все мы закричали, поражённые видением: вершина горы курилась золотистым дымом. Это курилась золотая трубка Степана Разина.

— Зачем же он её закопал, — заволновался молодой стрелец Ефимка. — Она же золотая!

Максим не выдержал и рассмеялся.

— Что ржёшь? Он золото в землю зарыл. Я домишко не могу поставить, не знаешь ты, что такое стрелецкие деньги! Шесть рублей в год на всё про всё.

— Так чего же ты сиднем сидишь? — спросил Максим. — Вон сотник Брюзга знает, где клад. Проси его, чтоб показал место.

При имени сотника Ефимка сразу сник, тем более, что Брюзга слышал в полусне своё имя, приподнялся с земли и шальными глазами оглядел всё вокруг.

— Кончай ночевать! — прохрипел он. — Вёсла на воду!

Стрельцы постарше полезли в струг на корму, оставляя молодым право столкнуть челн в воду.

Кормчий огляделся по сторонам, почувал, как гончая, носом попутный ветер и скомандовал:

— Выгребай сажень на двести на стрежень! Там как раз сиверко поймает и до Синбирска без вёсел дойдём!

— Навались!

Шесть больших вёсел струга заработали в мощных руках стрельцов, как налаженная машина. Вода с причмоком накатывала на левый борт, вспенивалась за кормой лёгким белёсым буруном. День перевалил за половину, солнце с левого берега переместилось на правый и стояло над тем местом, где находился пока ещё не видимый за поворотом берега Синбирск.

Течение несло струг, а кормчий отвязал от мачты верхний край паруса. Перекинул верёвку через крюк на мачте и потянул её вниз. Измятый, выгоревший на солнце парус нехотя пополз вверх, набежавший порыв ветра наполнил его, сделал тугим, и струг мощно двинулся вперёд, догоняя длинные и низкие волны.

Стрельцы побросали вёсла, устроились на скамейках, кто как сумел, и задремали. Служивые люди ко сну привычные, чуть выпадет свободная минута, и проваливаются в сон, спешить им некуда. Максим, чтоб не поддаться общему позыву дремоты, попросил кормчего уступить ему место. Тот с явной охотой согласился:

— Держи вон на тот мыс, где обгорелое дерево стоит!..

Управлять стругом не простое дело: ветер-баловень то в один конец паруса упрётся, то в другой, то вовсе стихнет на несколько минут. Кормщику зевать не полагается, на то у него и руль в руках, чтобы вести струг как по нитке, ровнехонько и покойно. Течение реки тоже было неровным, то один пережат, то другой, то ямина, тёмная, глубокая. Постепенно Максим приноровился к ходу струга и уже не хватал руль, что есть силы, когда он рыскал в сторону. Легонько, ровными движениями опять направлял его в сторону горелого дерева и был доволен, что всё у него ладно получается.

Воевода выслушал доклад сотника, уселся за свой стол, крикнул, чтобы принесли медового взвару. Постучал костяшками пальцев по столу.

— Морока с этим расколом. Протопоп Аввакум вопит в пустозерской земляной тюрьме, а у нас слышно. Вы, что надумали в береге скит соорудить?.. Не позволю! Засыплю всех к едрене матери, пикнуть не успеете! Мне тут под Синбирском не нужны возмутители спокойствия. Много там сейчас народу?

— Один Кирилл. Он уже отходит.

Воевода задумался. Мысль о смерти, его, как истинно верующего человека, вовлекла в раздумья. Но это длилось недолго.

— Не пойму я никак раскольников. Добро бы изменения в богослужении выдумали неuki. А над этим все патриархи, сам

царь промышляли. Никон разослал по всем приходам «Память о поклонах, о троеперстии...» Государи решили, как Богу молиться, так нет, как тараканы из щелей повылазили всякие несогласные протопопы, начали артачиться... нет, надо эту церковную братию частым гребешком повычесать. Я об Аввакуме не говорю — страдалец, про других пустозерских сидельцев тоже. Ты там присматривай за этим Кириллом, может он не такой немощный, как ты думаешь.

— Благослови, отче, войти в твою обитель...

— Благословляю верных людей, — глухо, но отчётливо донеслось из пещеры. Большая ящерица, осыпая песчинки и камешки, бросилась в сторону.

«Опять она здесь, — невольно подумал Максим. — Сколько раз ни прихожу, а она сидит, будто сторожит его...»

Раздвинул колючие кусты и протиснулся в пещеру, довольно высокую и просторную. Подошёл к старцу приложился к его сухой, но костистой и крепкой руке.

Отшельник полулежал, откинувшись на прислоненные к стенке пещеры доски: сидеть ему было трудно, его стан был отягощен спереди и сзади пудовыми каменными плитами, связанными между собой железными в палец прутьями. Кирилл был худ, но жилист и костист, грязная борода опускалась почти до пояса. Ногти на руках и босых ногах зароговели и больше походили на звериные когти.

Старец был учеником известного на Руси отшельника и противника официальной церкви Капитона, который с юности начал проповедовать крайнее воздержание. Одно время был близок патриарху Филарету, отцу царя Михаила. От патриарха он получил разрешение на основание скита между Ярославлем и Вологдой в глухих лесах. Отсель, проводя в жарких молитвах всё время, «ему (царю) и многия откровения сокровенно возвещаше, чего ради почитаем и блажен был». Судя по возрасту, Кирилл был с Капитоном с самого начала. Вскоре Капитон основал женскую отшельническую обитель, где проживало до полутора десятка монахинь. Стремление приобрести учеников и последователей пришлось не по нраву высшим церковным властям. Капитона в 1658 году поместили

«на исправление» в Ярославский монастырь Христа Спасителя, а его ученики рассеялись, переживая трудное для их учителя время.

Позже Капитон основал скит в непроходимых Вязниковских лесах, собрал малую толику учеников, кто был в состоянии вынести введенный им в скиту устав. Капитоновцы проводили всё время в молитве, чтении псалмов и работе. Измощали тело веригами, строжайшим постом, неудобным сном. Раз ученики попросили его отметить Пасху по обычаю с крашеными яйцами, сыром, маслом. Капитон же велел подать горьких крашенных луковиц.

— Ну, как там антихристов град Синбирск?.. Как воевода, всё копаются в гари? — спросил старец.

— Крепость почти вся сгорела. Собор каменный во имя Святой Живоначальной Троицы заложили...

Кирилл прочертил в воздухе крест. Сверкнул из-под бровей глазами:

— Вот рядом с этим собором и родится через двести лет Антихрист, и понесут его туда крестить.

— О ком ты глаголишь, отче?

— Не твоего ума это дело. Воевода не грозит наш пещерный городок разломать?

— Пока нет, — ответил Максим. — Говорит, чтоб сидели тихо.

— Гарью несёт от Синбирска, не чуете? Как ветер с крымской стороны, то преотлично гарью несёт. А мы и сидим тихо, так тихо, что я слышу, как сюда идут те, кто ищет спасения, ибо я знаю, как спастись.

Отшельник начал метаться из стороны в сторону, каменные вериги глухо стучали друг о друга. Растрескавшиеся до крови губы старца растворились, и он начал бормотать нечто, похожее на молитву или песню:

Антихрист бо он испадшая десница,
Зовомый диавол,
Тёмный и помраченный языческий бог,
Творец и зиждитель всяческой злобы
Всякому благу противник.

Попущением светлого Бога
Первое его ангельское сиянье
Ещё имя на небесах, достанется ему
Богам ся наречёт
И возглаголет гордыня на Вышнего
И Святых вышнего оскорбит
И смирит смиренных
И вознесёт гордыя
И изблюет свою презлейшую и мучительную горечь...

* * *

Солнце следующего дня будто медлило вставать за Волгой. Спрятавшись в кустах подальше от пещеры отшельника, Максим настороженно смотрел на восход, который менял краски. Небо то окрашивалось в чёрный цвет ливневых и грозowych туч, то тучи исчезали, и небо цвело нежно-лазоревым цветом, затем все краски сменил багрово-красный иступленный цвет коснувшегося окоёма светила.

Одновременно с восходом солнца раздались вопли, плач и просто неистовый рёв находившихся на кромке вершины берега людей.

— Спаситель! Спаситель! Отче, Кирилл, мы идём к тебе! Мы уже рядом!

Из пещеры отшельника показался он сам, в веригах, короткой выше колен рубахе, с посохом в правой руке. Не выбирая пути, люди обрушились с берега вниз, на середину горы, их было много, человек до ста, старики, жёнки с ребятнёй. Кто подпрыгивал на костылях, кто полз, цепляясь изодранными в кровь руками в ветки кустов и острую сухую траву. И все вопили, толкались, спеша вперёд всех к праведнику.

Максим выбрал в кустах место, чтобы его не было видно, и стал наблюдать за происходящим. Люди окружили старца Кирилла, многие старались коснуться его рукой, несколько кликуш забились в истерике. В толпе оказалось и эпилептики, они забились в корчах, пуская пену изо рта у ног отшельника. И

удивительно, Кирилл коснулся их своей клюкой, и они успокоились. Точно также он уgomонил и кликуш. Было ясно, что он подготовлял толпу к проповеди, наставлению, как приступить к гари. Улучив подходящий момент, он запел духовный стих самосожженцев.

И все окружающие подхватили его с воем и плачем. Они, видимо, в келейках и схронах разучили его заранее, и сейчас, когда близок час гари, пением поддерживали свои силы, что идут торным путём в Царство Божие, что до них этим путём уже прошли тысячи их собратьев и на Керженце, и в Поморье, и на Соловках, и в Сибири.

Но отшельник Кирилл спешил. Мановением руки он остановил песнопения и подозвал к себе человек десять мужиков, которые, выслушав его, достали топоры и пошли крушить берёзовый и сосновый сухостой по всему берегу. Добытое топливо стаскивали в ложбину. Саму землю выстлали полусаженным слоем сухой травы, затем стали класть поленницами дрова, оставляя между ними промежутки, куда мог бы поместиться человек.

Несколько избранных носили траву и дрова в пещеру Кирилла. Старец, тоже, видимо, решил сгореть вместе со всеми, но пещера помещала всего человек десять - пятнадцать, поэтому остальные должны были гореть на берегу. Поленницы выросли уже в полторы сажени, и их начали покрывать целыми деревьями, чтобы низ, подгорев, обрушился, и верх придавил тех, кто попытается выкарабкаться на волю.

Хотя народ не шабашил, но времени прошло много, солнце уже начало приближаться к правому берегу Волги, и тогда отшельник воскликнул:

— Вознесёмся!..

Кирилл полез в свою пещеру, избранные им последовали за отшельником, остальные стали залазить под поленницы, в тесные промежутки между завалами леса.

Наступала решительная минута. Из Кирилловой пещеры, как почудилось Максиму, за клубилась синеватая струйка дыма. Нужно что-то делать, чтобы спасти этих несчастных. Максим

выскочил из своего укрытия на откос, нависающий над пещерой Кирилла, и, что есть силы, заорал:

— Люди! Христиане! Опомнитесь! Не вами жизнь ваша дана, не вами и взята будет! Опомнитесь, не жгите себя!..

Раскольники повернулись в сторону Максима. Сколько в них было злобы и ненависти, отчаянья, горя, словом, в них были все чувства кроме благодарности! Толпа взвыла, и наиболее проворные начали карабкаться вверх, прихватив топоры.

— Антихрист! — вопили они.

— Стойте! — на площадку перед своей пещерой выскочил Кирилл. — Возвращайтесь в гарь. Никто не помешает нам вознестись в царство Божье!..

Рядом с Кириллом вспыхнул огромный костёр из приготовленного сушняка. Старец одну за другой начал хватать горящие ветки и швырял их вниз, на сухую траву и поленницу, где затаились люди. Травы вспыхнула, пламя поднялось высоким крутящимся столбом. Несколько горящих веток Кирилл захватил в пещеру, откуда тотчас раздался нечеловеческий вой. Гарь началась, и остановить её могло только чудо. И оно свершилось.

Вроде и небо было чистым и безоблачным, и солнце светило, но в эту решительную минуту тугим, тяжёлым и холодным потоком на землю пролился дождь, и три раза подряд недовольными октавами пророкотал гром. И чудо свершилось. Гарь не открыла самосожженным дорожку в царство Божье. Мокрые от дождя, грязные от золы, они повылазили из-под полениц и попадали в бесчувствии на мокрую землю.

Но оставалась пещера отшельников. Максим побежал к ней, заглянул в её закопчённое нутро и понял, что опоздал. На полу корчились до десятка обгорелых людей, но Кирилла среди них не было.

Максим вытащил людей из пещеры отшельника, но некоторые из них были мертвы, задохнулись от дыма.

К вечеру одетый в броню, явился во главе большого конного отряда воевода Хованский. Раскольники были собраны в кучу и жались под кустами, оборванные и грязные.

Воевода поднял своего раскормленного жеребца на дыбы,

забрыцал оружнем и заорал на Максима:

— Нада тебе было эту рвань спасать! Это же все беглые! С какого уезда?

— Нижегородского, — откликнулись из толпы.

— Ишь, умники! Им там заставами дороги на Керженец перекрыли, так они гореть здесь наладились! Взять с каждого сказку, откуда, кто хозяин? А пока в работу запрячь!..

Подозвал к себе Максима.

— А ты молодец, что не дал им учинить гарь. Мне эту рвань не жалко, но потом столько отписок в Москву писать. А я, страх, не люблю бумажную работу. С другой стороны, хорошо, что гарь не получилась, и ливень сыпанул. Эти бараньи головы теперь разнесут весть, что на Синбирской земле Господь гарей не хочет. Нам от этого только спокойней... Не раздумал в посадские писаться?

— Нет, князь.

— Брюзга!.. Собирай эту христову скотинку и гони в Синбирск. Я пойду с казаками передом. Нада Казанский приказ известить обо всём, а то какая-нибудь тайная шишига настрочит в Москву раньше меня.

Раскольники, не ведомо куда, тоже двинулись в путь. Поначалу они шли молча, затем жалостливый голос завёл песню, которую даже очерствевший Брюзга слушал с замиранием сердца:

Деревян гроб сосновый,
Ради меня строен.
В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят.
Из гробов возбудят,
Я, хотя и грешен,
Пойду к Богу на суд.
К судье две дороги,
Широкие, долги:
Одна дорога — в царство небесно,
Другая дорога — в тьму кромешну.

Сказ про клады синбирские

-I-

Над Волгой в Шиловской горе
Есть древний клад: в глухой норе,
Нечистой силою заклятый,
Людские кости, мёртвый прах.
И на серебряных цепях
Висит, распятый на столбах,
Большой бочонок, полный злата.
И серебра двенадцать нош,
Вокруг рассыпанные, тож.
Клад запечатан.
Кровь пролита
На вход из чёртова копыта,
И космы ведьмы сожжены...
Из меловой глухой стены
Медведь выходит и ревёт,
Лихих людей на клочья рвёт.

Но ты возьми травы разрывной,
Смочи слюною голубиной
Заветный папоротника цвет.
На камень кинь.
И брызнет свет.
Иди за ним вослед без дрожи.
Коль чист душой, то Бог поможет.

-II-

Чтоб клад открылся,
Добровольно
Три года перед тем постись,
Усердно Господу молись,
Пребудь смиренным и довольным.

Потом на Ундоровский мыс
Взойди и крикни: «Расступись,
Земля сырая!»
Камень треснет.
Иди, зажмурясь. В тайном месте
Лежит казацкая казна:
Златые цепи, изумруды,
Пуды серебряной посуды
Набиты жемчугом чрез край...
Бери — и нищим треть раздай.
И треть пожертвуй церкви Божьей.
Лишь треть — себе. И не таи —
Не то ослепнешь, обезножишь,
И горьки будут дни твои.

-III-

В избушке ветхой на Часовне
Живёт старик, седой ведун.
Он колдунам мордовским ровня
По знанью тайных знаков лун.
Следи за ним! Крадись сторонкой,
Когда он с чёрною иконкой
Пойдёт по травам в лунный лес,
Скользя, как уж, вертясь, как бес...

И в месте том, где он исчезнет,
Воткни с молитвой гвоздь железный.
И если кровь проступит в нём,
Мешок наполни серебром.
Но ведуну оставь полтину.
И гвоздь возьми — забей в осину!

Сказ про купца Гостиной сотни Надею Светешникова

В тёмном тюремном подвале Земского приказа было смрадно и душно. Лампада под образами в углу едва светилась задыхающимся от спёртого воздуха дрожащим пламенем. Осуждённые, сплошь тати с одним ухом, другое было отрезано по приговору, прошедшие через кнутабойство, а также должники, выставленные на правеж, лежали на полу, покрытом грязной соломой. Многие во сне стонали, скрипели зубами, вскрикивали. Иногда кто-нибудь вставал и, пошатываясь, шёл к бочке с холодной водой, зачерпнув, пил из обглоданного деревянного ковша и опять валился на пол. Многие уже не могли ходить и спать: саднили непрерывной болью избитые в кровь батогами на правеже ноги, — такие к бочке с водой или к другой бочке, чтобы справить нужду, ползли на коленях. Но как бы беспомощны они не были, завтра их снова поставят под батоги: приказное правосудие снисхождения не ведало.

Одноухие тати, кто не умер под кнутом (а под тяжёлым, с трехвостью из высушенной лосиной кожи, страшным орудием пытки и казни многие гибли), на первый раз получали годовую отсидку в подвале. Их больше не трогали, и они коротали время за игрой в зернь на щелчки, примостив на полено свечной огарок. При царе Алексее Михайловиче казенное пропитание осужденным не полагалась, заключённые жили подаванием добрых и богобоязненных людей. И простолюдины, и люди высших классов посылали тюрьме пропитание, памятуя, что в любой момент могут оказаться в этом страшном месте. «От суммы и от тюрьмы не зарекайся». Эта пословица была уже известна всем подданным Алексея Тишайшего. И случались на тюрьме ежедневные посылки: хлеб во всяких видах — калачи, баранки, шаньги, рыба. Сейчас начало декабря, на Москве рыбный привоз из дальних городов и областей солёной рыбы: сомов, судаков, лещей, линей, налимов, окуней. Частенько с боярского или купеческого двора к подвалу подъезжал воз да не

один, с продуктами. Приставы и недельщики-надсмотрщики брали себе лучшее, но хватало на всех, так и жили.

Началась зима, и ожил Разбойный приказ — нужно было казнить всех преступников, осуждённых осенью, зимой и весной прошлого года. Летом на Москве обычно не казнили. Выпал снег, замёрзла Москва-река, и каты, засучив рукава, принялись за работу. Двух-трёх отъявленных воров четвертовали на Болоте, посадили на кол святотатца, менее важных лихих людей, разбойников-душегубов топили в реке, вешали, убивали ударом в голову.

Одноухие тати были воровской мелкотой, их судил приказной судья, а эти преступники, чьим наказанием могла быть только смерть, где бы ни совершали преступления, хоть в Тобольске, судились только Москвой. Местный воевода, изловив вора, учинял допрос, состоящий в использовании дыбы, раскалённого железа, огня и кнута. Полученные под пытками показания обвиняемого посылались в Москву. Там дело обследовали, и решение о мере наказания посылали воеводе. Если обвиняемого надлежало казнить, то его со свечёй в связанных руках везли к месту казни. Штатных палачей у воеводы, как правило, не было, но всегда имелся в наличии человек, готовый за известную плату казнить преступника. Обыкновенно находились такие среди стрельцов, которые стояли в городе. Из воеводской казны ему выплачивали несколько алтын, и он совершал казнь. Сейчас, три с половиной века спустя, всё это прячется от глаз публики, а тогда все казни проводились прилюдно. Семнадцатый век был жестокосерд, но наш прошлый, двадцатый, превзошёл по бесчеловечности и жестокости все русские века. Но мы говорим не о нём, а о прошлом, в той его части, которая нам достоверно известна.

...В один из декабрьских дней 1645 года по снежной уже наезженной обозами дороге ехал из родного Ярославля в Москву важный человек, гость Гостиной сотни Надея Андреевич Светешников. Ехал небольшим обозом с доверенным приказчиком Авдеем, четырьмя добрыми молодцами, вооружёнными до зубов и несколькими санями с товарами, купленными у голландцев на Архангельском торге.

Дорога по первопутку была покойной и мягкой. Снег ещё не сбил в ледяные горбы и глыбы, а пушился за санями, покрытыми медвежьей шкурой, а сверху — сукном с нашивками из бархата. Со спинки саней свешивался край дорогого ковра. Одет Надея был в шубу из чёрно-бурых лисиц, покрытую тёмно-бордовым сукном, обут в сапоги на меху, за пазухой у него грелась серебряная фляжка с иноземной водкой. Яркое сияло зимнее солнце, снег скрипел под полозьями саней, погода веселила, но на душе у гостя было сумрачно и тревожно.

Большие дела произошли в этом году в Москве: почил в бозе царь Михаил, и Надея, узнав про это, сразу понял, что кончилось и его время. С царём Михаилом и его ближайшим окружением Надею связывали денежные и торговые дела, а за четверть века они так запутались, переплелись, что сейчас судьба Светешникова оказалась в руках и в прихоти нового царя Алексея, вернее, его наставника и учителя боярина Бориса Ивановича Морозова. Вот и пришлось ехать в Москву, к новой власти, начинать путь наверх опять почти с самого низа, а Надея был горд, и общение с патриархом Филаретом и его сыном царём Михаилом только больше его укрепило в своей гордыне.

По тогдашним понятиям о возрасте Светешников был стариком. Да и действительно, сколько лет ему могло быть в 1645 году, если его подпись есть среди других подписей видных ярославцев под посланием князя Пожарского, которое рассылалось по русским городам с призывом к борьбе с поляками?.. Больше тридцати трёх лет прошло с той поры, много чего кануло в прорву лет, но многое и легло зарубками на сердце.

Русь была истерзана лихолетьем: в Смоленске сидели поляки, в Новгороде и Пскове — шведы. Казалось, рухнули все державные крепости, казалось, что отечество распалось. Но единство страны восстановили православная вера и отвага немногочисленной рати из посадских людей. Мысль о Земском соборе, чтобы выбрать царя, была спасительной. Грызлись на соборе между собой остатки старого, недобитого Иваном Грозным, боярства. Посадские люди, дворянство, казаки

метались от одного стана к другому. Наконец, выбрали Михаила из рода Романовых, свойственников Иоанна IV.

Расчистили Кремль, закопали убитых, заглянули в казну, а она оказалась пустой. На том же соборе порешили взять с каждого двора пятую деньгу, а пока её соберут, обратились за займом к Строгановым, к монастырям. Всего с 1614 по 1619 год взяли, кроме обычных налогов, шесть раз пятинные деньги: то есть пятую часть денег из имеющихся с каждого двора. В те времена именитые гости В. Шорин, Г. Никитников, Я. Патокин, О. Филатов, братья Гурьевы, Шустовы, Кошкины были нужнейшими для государства людьми и беспрепятственно допускались к царю по своим торговым делам. Но, пожалуй, более других был вхож в царский дворец Надея Светешников, особенно по возвращению из польского плена отца царя Михаила — патриарха Филарета. Смышлёный, пробивной гость Надея понравился патриарху, и он становится торговым агентом великих государей. Светешников занимался скупкой соболей в местах их промыслов в Мангазее, Эвенкии, Якутске. Туземные охотники не знали им цену, и Надеины приказчики выменивали «мягкое золото» за товары. За топор давали связку соболей, чтобы она только пролезала в отверстие для топорища. Ходатайства влиятельного гостя разрешалось в приказах с исключительно быстротой. Воеводам указывалось: «Надеиных прикащиков и людей не ведати, ни в чём и не судите и к себе не призывати».

Сани мягко несли Надею по накатанной дороге. Думы, одна тревожней другой, накатывали на душу, тяготили её предчувствием беды, неотвратимой и скорой. Знал именитый гость характер истинного сейчас хозяина земли русской — Бориса Ивановича Морозова, который воссел сейчас на приказе Большой казны и других немаловажных приказах вместе со своими присными Плещеевым, Траханиотовым, Чистым. У Морозова всего 200 крестьянских дворов, совсем маломощный хозяин, и сейчас у него волчий аппетит на чужое добро. В приказе Большой казны, Дворцовом ведомстве сейчас пыль столбом, дьяки поднимают все документы за предыдущее правление, недоимщиков ищут, чтобы учинить розыск и спрос.

Надея знает, что неладные у него отношения с казной. Где-то до поры пылятся записи, что были взяты именитым гостем у казны соболя на продажу, а деньги не возвращены, сгорели соболя во время пожара. Кинулся тогда Надея к патриарху Филарету, тот приказал списать долг. Но списан ли он?...

Вот о чём сейчас думалось купцу.

Последние два года плохо шли дела у Светешникова. Учуг с икрой воровские казаки разграбили близ Астрахани. Тобольский приказчик Михаил Леонов скоропостижно помер, и пропало кобал и записей на 700 рублей. Стар стал Надея Андреевич, потерял прежнюю хватку, молодые стали обходить его, а в торговом деле пощады не жди. Да и сам он разве не был таким молодым хватом?..

В 1630-годах его партии приказчиков были впереди многих по закупке соболя, лис, куниц в Сибири. В 1631-1632 годах пошли в Сибирь с его людьми две партии товаров для обмена на пушнину на 4009 рублей, в 1637 году — на 4016 рублей (на 38 возах). Не ограничивался наш гость скупкой за Уралом «мягкой рухляди», на вырученные от продажи товаров деньги Светешников организовывал ловлю соболя, нанимая через своих агентов ватаги добытчиков и снабжая их необходимым снаряжением и продовольствием. В 1634 году его человек Иван Лом отправился во главе 30 промысловиков, расходы на эту экспедицию оценивались в 4088 рублей, громадные деньги. Но при удаче, особенно, если удавалось ограбить коренных жителей, доходы были велики. В 1634 году его приказчик явил на Вологде 11 сороков и 10 соболей (450 штук). Цена соболя в те времена доходила до 100 рублей, в среднем колебалась в пределах 50 рублей. Всю сибирскую «мягкую рухлядь» Надея отправлял на ярмарку в Архангельск, для обмена на «немецкие» товары, которые с большой выгодой продавал по русским городам.

Англичане и голландцы привозили самые разные товары: пряные коренья, сахар, шафран, солёную селёдку, вина, различные ткани, голландские сукна и полотна, зеркала, ножи, шпаги, ружья, пистолеты, мушкеты, медь, свинец, олово, серебро, золото, атлас, бархат, парчу, алмазы, большое

количество серебряной монеты. Казна скупала австрийские рейхсталеры и чеканила так называемые ефимки для внутреннего денежного обращения с 30-ти процентной для себя прибылью. Многие на Архангельской ярмарке Надея покупал для великих государей Михаила и Филарета, чем им так угождал, что они его за свой стол усаживали и разговоры вели государственной важности. Кто из купцов мог похвалиться таким почётом?.. Разве что Строгановы.

Ворочал делами Надея и не чаял, что над ним гром грянет. Ещё в прошлом 1644 году его состояние оценивалось в 35 тысяч рублей, то есть около полумиллиона золотых рублей в ценах начала XX века. В Ярославле богомольный Надея построил каменную пятиглавую церковь Николы Надеина. Не прогневили он Бога, устроив под сводом церкви тайники для ценностей, а нижний этаж сделал как склад для товаров?..

Перед отъездом в Москву Надея Светешников прошёлся по схоронкам и подсчитал, что имеет, и понял, что, если на Москве ему вчинят иск, рассчитывать будет нечем. В наличии имелось 3 тысячи рублей. Имелись поместья, подворья, лавки, полные товаров, Волжское Усолё. Всё это стоило десятки тысяч рублей, но обратить недвижимость в наличные было трудно: узнав о затруднительном положении купца, ему бы стали предлагать за те поместья цену, в десятки раз меньшую, чем они стоят на самом деле. На доброту и займ рассчитывать не приходилось. Падение Надеи грело сердца его завистников. Да и многим Светешников сам насолил, ибо гордец он был жестоковыйный. Такой уж уродился, что никому спуску не давал по долгам. Не одного заемщика на правеж выставил, а сейчас, похоже, самого ждёт что-то страшное и неотвратимое.

Но человеку свойственно надеяться на лучшее. И порой Светешников хорохорился сам перед собой, что не посмеют его, именитого гостя, выставить на правеж, дадут отсрочку или изымут недвижимость, но какой будет расклад в Москве, какая пружинка щёлкнет в похожем на золотую шкатулку Кремле, купец не ведал, поэтому весь изболелся душой с той поры как его известили, что ждут его власти в приказе Большой казны. Месяц тянул Надея, не ехал, отписываясь хворьями и плохой

дорогой, но после вторичного напоминания засобирався в дорогу.

Но странно как-то собирався и в какую дорогу?.. Составил духовную грамоту, завещание, где всё поделил между сыном и дочерью. Сходил на исповедь, выйдя из церкви, встретил богатого купца, сотоварища по Гостиной сотне, Василия Григорьевича Шорина. Кивнул ему, прошёл несколько шагов, остановился и окликнул:

— Василий Григорьевич! Задержись! Дело у меня до тебя.

Шорин, молодежавый для своих лет, одетый, как и Надея, в шубу на чернобурках, остановился. Светешников подошёл к нему, пристально посмотрел в льдистые глазки Шорина и, потупясь, сказал:

— На Москву я еду завтра, Григорий... Не знаю, свидимся ли. Прости меня за всё дурное, что я тебе сделал.

— Бог с тобой, Надея Андреевич! — воскликнул Шорин. — Я завсегда к тебе с полным уважением. А если что и было, так разве я не понимаю, в нашем деле без твёрдости нельзя...

— Плохи мои дела, Григорий!... Чую, до Рождества не доживу: нутро болит, грудь как обручами сдавлена... Просьба к тебе одна: будь моему сыну Семёну советчиком на первых порах. Обереги от соблазнов, лихих людей...

Шорин истово перекрестился.

— Всё сделаю, Надея Андреевич!.. Но, может, пронесёт беду?

— Не пронесёт... — тихо сказал Светешников и пошёл к своему дому.

Перед отъездом он долго разговаривал с сыном. Достал записи, указал приходы, расходы, верных людей. Открылся и в том, что может быть с ним на Москве. Семён заплакал, обвинил отца руками.

— Тятя, тятя! Неужели выхода нет?

— Нет, сынок! Ты всю торговлю сверни, оставь только суконную лавку возле Кремля и Московское подворье. Возьми в руки моё Усолёе на Волге. А лучше поезжай туда жить, от злорадных взглядов в сторону. Будь крепким хозяином. Долг

казне вернёшь с прибылей от соли. Я мыслю так, что скоро поднимут пошлину на соль.

Провёл сына по церкви, показал тайники, отдал ему все деньги, с собой взял всего двести рублей. Поднялся к себе и долго молился. Утром он уже был на Московской дороге.

...В Москву Надея въехал до наступления ночной стражи, когда улицы города замыкались на рогатки, и всех праздношатающихся караульные хватали и волокли к допросу: кто таков? куда шёл в поздний час? Вообще, при Тишайшем царе улицы Москвы были опасны. Прохожих грабили лихие люди, а ещё чаще дворня какого-нибудь боярина, который держал на подворье сотню, а то и больше остолопов, не знавших никогда деревенской работы. Днём дворня отсыпалась по сеновалам, повалушам, сараям, каретникам, запечьям, а ночью шла на разбойный промысел. Громили лавки, а то и дома достаточных горожан.

Надеин обоз подъехал к своему подворью, что находилось за белыми стенами Китай-города. Ездовой соскочил с лошади и постучал рукояткой плети в ворота. Во дворе залаял громадный пёс, дверь жилья отворилась, и на пороге появился старший приказчик суконной лавки Фёдор Кошелев, ровесник хозяина, седой, но ещё крепкий ширококостный старик.

— Свои! — крикнул ездовой. — Хозяин приехал...

Кошелев скинул крючки и отодвинул запоры, унял собаку и, светя фонарём, повёл приезжих к дому.

— Распрягай коней! — распорядился Надея. — На ночь у воездов сторожу поставить!...

— Сделаем, всё сделаем! — засуетился Кошелев. — Проходи, Надея Андреевич, в свои покои. Ждал я тебя, хозяин, печи протоплены, всё убрано.

Надея что-то буркнул в ответ, прошёл коридором на господскую половину, сбросил с плеч шубу, приложил озябшие руки к печи, выложенной керамическими изразцами с затейливыми рисунками. Затем прошёл в передний угол покоя, отдёрнул в сторону занавеску, открыл образа. Перекрестился три раза, сел на лавку, застеленную шкурой белого медведя, и задумался. Его занимал один вопрос: решена ли его судьба

царём Алексеем или правду говорят, что всё решает Морозов? Если это так, то надеяться на снисхождение ему нечего. Боярин Морозов хоть и высокороден, но пока не богат. Сейчас у него в самом разгаре волчий аппетит на наживу. Впрочем, про себя Надея уже всё решил. Правеж на Руси — не позор, обычное житейское дело, а умирать надо, хватит, пожил на белом свете. Думал об этом отрешённо, как не о себе самом, а о чужом человеке. Перебирал в памяти, всё ли сделано. Вроде, всё.

В горницу вошёл приказчик с подносом, поставил на стол хлеб, мясо, капусту, огурцы, штоф с рейнским вином.

— Не уходи, Фёдор, — промолвил Надея. — Разговор есть. Садись за стол.

Кошелев присел на край лавки, выжидательно посмотрел на хозяина и поразился изменениям в лице Светешникова. Перед приказчиком сидел не тот величавый и грозный для подвластных ему людей именитый гость, а старик, уязвлённый неизлечимым недугом.

— Что смотришь, не узнать Надею?... Да, брат, пожил своё Надея, пора честь знать. В груди тяжело... Ну, что говорят обо мне на Москве?..

— Да откуда мне знать! Я с темна до темна в лавке, некогда мне слушать досужий трёп. А на подворье приходили два дня назад два пристава. Велели передать, чтобы, как приедешь, не медля, явился в Земский приказ по иску...

— Ну, вот и конец всему! — горько вздохнул Надея. — Я думал государю челом ударить, объяснить, как случился долг, который ещё патриарх Филарет списал. Да, видно, боярин Морозов уже всё обтяпал. Окрепло царство после разорения Смуты, не нужны стали ему именитые гости, а сейчас нами помыкают...

— Неужто тебя, именитого гостя, на правёж поставят!.. — поразился Кошелёв. — Век такого не бывало...

— Сошлось, видимо, всё в одно, — сказал Надея. — Мой спорный долг казне, а, главное, очень хочется Морозову показать всем именитым гостям свою силу. Царь ещё подросток, несмышлён. А я действительно болен, долго не протяну. Ты

лавку мою суконную береги, Я всё Семёну оставляю. Служи ему, как мне служил. Вот, держи на прощание.

Надея снял со среднего пальца дорогой рубиновый перстень и протянул Фёдору.

— Бери, Фёдор, за службу твою. Служи моему сыну. Оберегай от дурных людей. И чтоб дружбы с царём да боярами не водил, как я, дурак...

При царе Алексее Михайловиче сыск беглых людишек был поставлен, пожалуй, лучше, чем в России XXI века. Хоть паспортов и не было, прописки, электронных средств наблюдения тоже, людей отыскивали стремительно. На то существовали Сыскные приказы, которые, то учреждались, то упразднялись, в зависимости от обстоятельств. Но костяк сыска — ярыжки, десятские по улицам существовали всегда. Поэтому десятский уличного порядка, где находилось Надеино подворье, сразу узнал о приезде искомого Надеи Светешникова, и едва с улицы сняли сторожевые рогатки, потопал в Земский приказ, где, жарко дыша от задыха, шепнул дежурному приставу, что Надея прибыл.

Десятский растаял в предутренней морозной дымке, а пристав прошёл в караулку, где взял за шиворот и встряхнул своего помощника, растолкал трёх стрельцов, велел им идти оружно, без шума, и группа захвата двинулась в путь.

Надее всю ночь не спалось, болела голова, немела левая рука, бок. Иногда он впадал в забытие, ему мерещилось то одно, то другое, всё больше какие-то кривляющиеся уродцы, а под утро привиделся монах, старый, в рваной одежонке с батоном, который грозил ему:

— Не будет тебе спасения, купец! Сколько народу из-за тебя сгнуло в Сибири, бегая за соболями! А ты мошну набивал, а о Боге не думал. Церковь построил, да разве это церковь! По сводам тайники с казной, под полом немецкие товары. Гореть тебе, Надея, в аду веки вечные!..

Надея открыл глаза, сплюнул, перекрестился и подумал: «Если бы не было самоубийство страшным грехом, пальнул бы в себя из пищали. Да и семье позор...»

Со двора слышался хриплый лай пса, лязг железа. В горницу, пятясь задом, влетел Фёдор, за ним, топая сапога, ввалились приставы. Надея поднялся и сел на лавку. Вот оно, как приходит беда!

Старший из приставов гаркнул на стрельцов:

— Взять его!

— Дайте одеться человеку! — всхлипнул Фёдор. — Не в исподнем же по улице повезёте. Это же именитый гость, а не холоп.

— Ладно. Одевайся, именитый гость! Да пожалуй нас чем-нибудь за беспокойство...

— Фёдор! Дай им вина, романеи...

Пока служивые пили вино, Надея обвололся в шубу, отдал Фёдору кошелёк с деньгами.

— Ну, я готов, господа приказные...

— Сейчас пойдём...

И пошли, повели именитого гостя, не связав ему рук, по улицам просыпающейся Москвы. Подвели к подвалу приказа, отперли дверь и толкнули Надею в вонь и духоту. Надея с последней ступеньки упал на колени и начал шарить в темноте руками. Схватил кого-то за бороду. Мужик заворчал:

— Не балуй! Ложись рядом и спи, если сможешь...

Светешников запахнул плотнее шубу и вытянулся рядом с мужиком.

— Ты, видать, барин, — сказал мужик. Скусно от тебя пахнет...

Надея вдохнул воздух тюрьмы и поперхнулся, это была адская смесь гнили и человеческих испражнений.

— Ничего, — сказал мужик. — Скоро и ты завоняешь...

Долго Светешников потел под шубой, пока не стала всё чаще распахиваться входная дверь и подсобники приставов, так называемые, недельщики, выкликали тюремных сидельцев, кого к судье, кого и к исполнению наказания. Наконец, выкликнули и Светешникова. В подвале зашумели: многим имя было знакомое.

— Ты, гляди, какого купчину заарканили! — крикнул кто-то из одноухих татей.

На него сразу обрушилась с угрозами вся тюрьма. Чужой беде здесь не радовались. Надея тяжело поднялся, кое-как отряхнул солому с шубы и, качаясь, поднялся по ступенькам. Недельщик подхватил его под руку и повёл по коридору в большую комнату, где разом трудились трое судей. В окно сияло зимнее солнце и отражалось на голом черепе приказного судьи. Перед ним на столе лежала бумага, которую он внимательно читал.

— Что решил, Надея Андреевич? — спросил судья. За тобой недоимка числится по приказу Большой казны. Для тебя заплатить такие деньги — плёвое дело...

— Сколько насчитано?..

— Это мы скажем... Так... Брал оный Надея из казны для продажи на Архангельской ярмарке, а так же соболиные пупки... всего на 6570 рублей...

— Покойный великий государь патриарх Филарет ещё двадцать лет назад списал мне этот долг...

— А ты внимай, что боярин Морозов, хозяин Большой казны пишет:...долг этот по нерадению бывших управителей приказа Большой казны князя Черкасского и боярина Шереметьева не востребован. Словом, плати, или пожалуй на правёж. И стоять тебе на правеже за каждые 100 рублей месяц, а всего выходит стоять четыре с половиной года. Плати, ведь забьют тебя, старика!

Надея вскинул голову, тяжело глянул на судью и твёрдо промолвил:

— Ежели государи своего слова не держат, то я сдержу. Ставь на правёж!...

«Вот и конец, — подумал Надея. Дай Бог, чтобы сегодня всё кончилось!»

Светешниковым завладел недельщик, повлёк его к кузнецу, который наложил на руки и ноги Надеи кандалы. Затем его вывели на улицу, на ослепительно яркий молодой снег и поставили рядом с другими кандальниками. В ноги к Надеи бросился со слезами Фёдор.

— Ведь ты сам решил умереть, Надея! Не делай этого! Заплати окаянникам!

Недельщик ударом ноги отбросил приказчика в сугроб и потянулся губами к уху Надеи:

— Железо за голенища будешь ставить? Цена полрубля...

Надея отрицательно мотнул головой, недельщик злобно ощерился, взмахнул батоном и из всех сил ударил Светешникова по икрам. Боль опалила огнём, и он крепко сжал зубы, сдерживая рвущийся из глотки вопль.

Недельщик обошёл всех, выставленных на правёж полтора десятка должников, и вновь возник перед Светешниковым.

— Держись, ужо! — прошипел он сквозь зубы. — Скряга!

На этот раз Надея не почувствовал боли. Он умер за мгновение до удара и упал навзничь в сугроб у крыльца приказа. Подбежал пристав, наклонился над упавшим, затем снял шапку и перекрестился.

— Всё!.. Душа не выдержала...

К крыльцу подлетел на вороной кобыле извозчик:

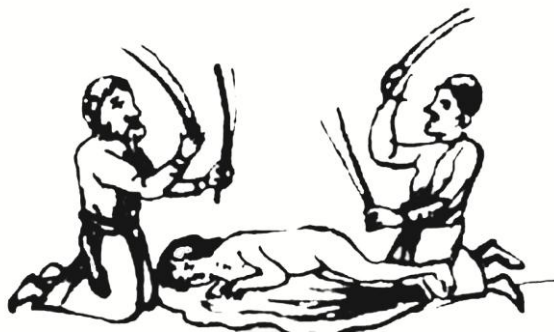
— За рупь доставлю в лучшем виде!..

Из приказа вышел лысый судья. Посмотрел, перекрестился. К нему кинулся недельщик:

— Шуба моя?

— Ты что, кат, сволочь? Изыди с глаз моих!..

Фёдор с извозчиком погрузили Надею на сани и повезли на подворье. Запрягли в свои сани двух лошадей цугом, уложили Надею на полость, закрыли с головой и повезли на родину, в Ярославль.



**Сказ про то, как Богдан Хитрово привёз сыну
Надеи Светешникова милостивое слово царя
Алексея Михайловича**

Ощущение конца пути добавило гребцам силы, струг быстро пересёк широкий плес и вошёл в устье невеликой речки Усолки, где находилась пристань. Она была не пуста, возле спущенного на воду бревенчатого настила стоял купеческий струг, и работные люди из большого амбара носили в него тяжёлые кули с солью. Синбиряне причалили невдалеке от него, чуть потеснив рыбацкие лодки, и к ним из амбара поспешил человек с саблей на поясе, что обличало в нём местного начальника.

— Отзовитесь, что за люди! — закричал он на бегу.

Воевода на этот вопль и не подумал отвечать, а Сёмка, когда человек крикнул ещё несколько раз, спросил:

— А ты кто будешь?

— Десятник над боевыми людьми Артемий Курдюк.

— Беги, десятник, и доложи хозяину, что к нему явился синбирский воевода Богдан Матвеевич Хитрово с казаками и стрельцами.

Курдюк был человеком бывалым, на слово казаку не поверил и стал обшаривать очами струг. Наткнулся взглядом на воеводу и пал наземь в рабьем поклоне.

— Очнись, десятник! — окликнул его Сёмка. — Беги за хозяином.

Курдюк вскочил и опрометью кинулся к коновязи. Вскочил на коня и помчался вдоль берега к видневшимся невдалеке строениям.

Казаки и стрельцы с жадностью поглядывали на берег, но приказа на высадку не было. Богдан Матвеевич призвал к себе Ротова и Конева и велел им разбить стан в стороне от соляного амбара и других построек, чтобы ненароком не повредить или не сжечь их, а также строго следить за своими людьми и не ходить в Усолье. Сам Хитрово решил дожидаться хозяина на пристани и не сходить со струга, пока тот к нему не явится с поклоном.

В усадьбе Семёна Светешникова весть о прибытии синбирского воеводы вызвала большое смятение. Хозяин от неожиданности будто окаменел на лавке, сидел и даже не мог вымолвить слова ждущим от него приказаний десятнику Курдюку и ключнику Савельеву. А без хозяйского повеления они не знали, что делать. К счастью, известие о высоком госте скоро достигло женской половины дома, и оттуда явилась Антонина Андреевна, сестра покойного Надеи Светешникова, державшая в руках всё, что осталось от богатства купца Гостиной сотни. Она недовольно глянула на нерасторопного племянника и приказала ему немедленно облачаться в самые лучшие одежды, управителю было велено немедленно идти в поварню и заняться приготовлением праздничного обеда. Курдюка она отправила срочно готовить коней под воеводу, его приближённых и хозяина, на что взять лучшую сбрую, а синбирским казакам и стрельцам отправить из ледника воз свежей рыбы.

Антонина Андреевна выглянула в окошко, чтобы проследить, поспешает ли Курдюк выполнять её повеление, и всплеснула руками:

— Грязи-то, грязи во дворе! Да и в горнице не чисто!

Немедленно в хозяйские покои доставили жёнок с тряпками и скребками, полы в горнице были вымыты, крыльцо и деревянный настил до ворот выскоблен, а на въезде в усадьбу поставлен в чистом кафтане караульщик с алебардой и саблей за поясом.

Семён Светешников оделся, как и велела властная тётка, во всё лучшее. И кафтан, и штаны и сапоги на нём были самого лучшего качества, правда, всё изрядно помято от долгого лежания в сундуках, но смотрелось богато и ярко. Особо ценным был пояс, сплошь золотые пластины с вделанными в них крупными рубинами. За этот пояс Надея Светешников немало соболей отвалил английским купцам, которые привезли его из Лондона по купеческому заказу.

Семён Надеевич вышел из своей комнаты вовремя: у крыльца стояли осёдланные кони, а тётка уже начинала злиться и

недовольно ворчать, но, увидев племянника, она растаяла — вылитый Надея стоял перед ней, хозяин Усолья.

— Ты уж не осрамись перед воеводой, — сказала Антонина Андреевна. — Поклонись земно, согни спину, с нас, худородных, не убудет. Проси Богдана Матвеевича хлеба-соли откушать. Окольный, слышно, близок к царю. Угодишь ему, угодишь государю. Ну, ступай, с богом!

Светешников знал, что надо делать, слез с коня, не заезжая на пристань, снял шапку и, потупясь, пошёл к стругу. Приблизившись к воеводе, он встал на колени и коснулся лбом брёвен пристани.

Богдан Матвеевич с интересом посмотрел на отпрыска знаменитого Надеи и промолвил:

— Так вот ты каков, Семён Надеевич!

Семён оторвал голову от брёвен пристани и искательно произнёс:

— Бью челом твоей милости. Прошу не побрезговать мной, захудалым, и пожаловать в мой дом отведать хлеба-соли.

Богдан Матвеевич помедлил, испытывая смиренность Светешникова, не притворно ли оно, затем произнёс:

— Поднимись, Семён, я к тебе не от нечего делать прибыл, а по слову государя, Алексея Михайловича, кое объявлю позже. Твоё приглашение на хлеб-соль принимаю.

Светешников со сдержанными поклонами проводил воеводу к коновязи.

— Прими, Богдан Матвеевич, от чистого сердца!

И десятник подвёл к Хитрово статного кракового жеребца. Конь покосился на воеводу горячим лиловым глазом, фыркнул, и у Богдана Матвеевича дрогнуло сердце.

— Хорош, всем взял! — произнёс он, касаясь рукой морды коня. — Сёмка! А ну, пройдишь на нём по берегу.

Полусотник выхватил у Курдюка поводья, запрыгнул в седло, промчался несколько раз между пристанью и амбаром вокруг начальных людей, и осадил жеребца перед воеводой.

— Справный конь, — сказал Сёмка. — В нашей сотне лучше не отыщется.

Путь к усадьбе Светешникова шёл через бобылью слободку, где жили мужики, не платившие поземельной подати и работавшие на соляном промысле. Поселение состояло из трёх десятков изб, и не у каждой из них имелся огород и постройки для содержания скота. Народ здесь жил сбродный, со всех краев Руси. Люди приходили сюда, жили, работали, затем уходили, но не все, некоторые оставались в Усолье навсегда, и население его понемногу прирастало.

— Это что у тебя? — спросил Хитрово, указывая на высокое строение в конце слободки.

— Боевая башня, — ответил Светешников. — Сейчас она пуста, но там всё к бою готово.

Караульщик открыл им дверь башни, и они вошли на первый этаж.

— Открой оружейню! — приказал хозяин.

В помещении хранилось много копий, сабель, пищалей, пороха, свинец для пуль и картечи.

— На втором ярусе устроены две большие пищали, — сказал Светешников.

Богдану Матвеевичу всё, увиденное им, понравилось.

— Хвалю! — сказал он. — Ты, Семён Надеевич, оказывается, не только промышленник, но и воин.

— А вот моя усадьба! — сказал Светешников, показывая на возвышенность, где за двухсаженной бревенчатой стеной возвышался громадный дом на каменных подклетьях. Вокруг него были расположены службы: поварня, баня, два амбара, конюшня, ледник, две избы для проживания боевых людей, которые кормились за счёт хозяина и получали за свою службу по пятнадцать рублей в год. В проездных воротах и по углам стен были устроены башни, в которых находились шестнадцать медных и железных пищалей с запасами пороха, свинца и каменного дроба.

— Это же настоящая крепость! — поразился Богдан Матвеевич. — О твоём усердии по охране границы, Семён Надеевич, я обязательно скажу великому государю.

— Два года назад, — сказал Светешников, — налетели ногайцы, угнали табун коней, на полях и на хлебе поймали

жёнок и детей. Всех в полон увели. В прошлом году опять пришли, но мои люди их ждали в засадах. С большим для них уроном отбили ногайцев. В этом лете ещё не приходили, ведают, что великий государь ставит крепость Синбирск, а в Арбугинских полях на их приход имеется посланная твоей милостью сотня.

— Мои казаки у тебя были? — живо спросил Хитрово.

— Приходили. Я их свёл со своими караульщиками, что поставлены вдоль речки Сызранки, они вместе и промышляют степняков.

У ворот усадьбы гостя встретила Антонина Светешникова, разнаряженная не хуже московской боярыни. Она была одета в летник из синего атласа, сотканного по полям с золотыми нитями, с вошвами по подолу из чёрного бархата, расшитыми канителью. На шее хозяйки сияло жемчужное ожерелье, на голове была шапка с возвышением, так называемая кика, украшенная золотом и драгоценными камнями, с кики спадали, по четыре с каждой стороны, жемчужные нити, доходившие до плеч.

Управитель взял коня под уздцы, и Богдан Матвеевич сошёл на землю. Светешникова поясным поклоном приветствовала воеводу и окольничего.

— Милости просим, господине Богдан Матвеевич, — нараспев произнесла Антонина Андреевна.

По высокобленному добела настилу Хитрово прошёл по двору, поднялся на крыльцо и ступил в нарядно убранную горницу. Здесь уже был накрыт стол с большим числом блюд из самой лучшей волжской рыбы, и питья — хмельное, сладкое и кислое. В горнице Хитрово и Светешников остались одни, если не считать прислуживающего им человека.

Богдан Матвеевич с дороги был голоден и отведал всего, что ему предлагалось, особо похвалил уху из раков, необычайно крупных и вкусных. Не любитель хмельного, он попробовал разные квасы, и все их одобрил.

После обеда Богдан Матвеевич приступил к тому, из-за чего он заехал в Усолье.

— Великая честь тебе выпала, Семён Надеевич! Великий государь велел мне спросить тебя, что ты желаешь получить за судейскую промашку с твоим отцом Надеей Андреевичем?

Слова, вымолвленные окольным, до глубины души поразили молодого Светешникова своей неожиданностью. Гость объявил ему неслыханную царскую милость, о которой редко помышляют простые смертные, но одновременно эти слова всколыхнули в сыне Надеи Андреевича ещё не до конца пережитую боль. Семён долго молчал и, наконец, проговорил:

— Милость великого государя, объявленная тобой, окольным, так неожиданна, что я, худородный, пребываю в смятении и не нахожу слов, что ответить.

— Не велика трудность, — сказал Хитрово. — Ударь челом государю, проси дворянство. Вотчиной ты владеешь, не у всякого боярина такая сыщется.

— Не по Сёмке шапка, Богдан Матвеевич! Я ведь не воин, а купец и промышленник. Обык делом торговым заниматься, а не саблей махать. Да и моё ли это дело? Я и со своими боевыми людьми еле управляюсь.

Светешников поднялся с лавки, подошёл к шкафу и взял из него книгу.

— Вот был в том году на Москве, приобрёл, «Хитрости ратного дела» называется. Мудрёная книга, не для моего слабого умишки. А вот эта книга, — хозяин достал её из шкафа, — как раз по мне и в моём деле большая помощь — «Книга сия глаголемая по-эллиински и гречески арифметика, а по-русски цифирная счётная мудрость».

— Не хочешь быть дворянином, тогда проси почёта купца Гостиной сотни. Стань тем же, кем был твой отец, — сказал Хитрово, удивляясь простоте Семёна Светешникова. Другой на его месте взял бы от государя всё, что тому по силам дать.

— В гости мне никак нельзя, — вздохнул хозяин. — Достаток не тот. Усолёе у меня недавно, двух лет нет, да и то спасибо Василию Григорьевичу Шорину, что за меня поручился.

— Так ничего и не желаешь получить от великого государя? — спросил Хитрово.

— А что мне желать? — погрузнел Светешников. — Здоровья? Так в том государь не мочен. Слаб я грудью, Богдан Матвеевич. Одно слово, не жилец. Скажи великому государю, что всем де Светешников доволен и молит Бога, чтобы продлились дни его царствования во славу единого Бога и Спасителя рода человеческого.

— Добро, — промолвил Хитрово. — Так и скажу великому государю и знаю, это его порадует, что есть такой честный и прямодушный человек, как ты.

— Прости меня, недостойного, если что сказал не так.

— Пустое. Ты мне пришёлся по сердцу. И помни, что через меня ты можешь в любой час обратиться к великому государю.

— Спасибо на добром слове, — сказал Светешников. — Изволишь, Богдан Матвеевич, пройти в опочивальню, отдохнуть после обеда?

— На границе я отвык жить по-московски, — усмехнулся Хитрово. — Хотя смолоду спешил после обеда залечь на перину, а другой сверху накрыться. Посему удовлетвори моё любопытство, покажи соляные промыслы и то, как они устроены.

Светешников кликнул ключника Савельева и приказал ему готовить коней для поездки на промыслы. В комнате было душно, и они вышли на крыльцо, с которого открывался богатый вид на волжский плес. От усольской пристани уходил купеческий струг с солью, а на его место встала громадная, нагруженная лесом, лодка.

— Варницы, страх как прожорливы, — сказал Светешников. — Вблизи дровяного леса почти нет, возим из Заволжья.

Десятник Курдюк подвёл к крыльцу заседланных коней. Светешников и Хитрово выехали со двора и наезженной дорогой направились к Усолке. Вечерело, но было тихо, сентябрьское солнце не палило, а овевало землю приятным теплом. Осины кое-где вспыхнули радужным цветом листьев, рябины пожелтели, и красные гроздья ягод стали заметнее взгляду, пахло сыростью палой листвы.

Но вскоре вид леса стал меняться: стало больше попадаться неживых безлистных деревьев, запахло, сначала чуть ощутимо,

но затем всё сильнее прогорклым дымом. Семён Светешников закашлялся и виновато посмотрел на Богдана Матвеевича.

— На варницах всегда смрадно, — сказал он. — Может, не пойдём туда?

— Невелика помеха — дым, — возразил Хитрово. — Синбирская гора всё лето горела. Я к дыму привычен.

Соляной промысел открылся весь сразу за поворотом высокого берега. На пустом ровном месте недалеке друг от друга стояли четыре большие и высокие рубленые избы, из каждой через отверстие вверху стен в пять-шесть ручьёв валил дым, который растекался по округе густой сизой пеленой.

— Да у тебя тут, Семён Надеевич, чисто преисподняя, — сказал Хитрово. — Видно, недаром соль солона.

— Вот эта варница называется «Гостеня», далее «Любим» и «Хорошава», — указал Светешников. — А новый сруб назван по имени батюшки «Надея».

Возле каждой варницы стояли громадные поленицы дров, а под дощатыми навесами лежали, сложенные друг на друга рядами, рогожные кули с солью.

— Показывай всё, от начала и до конца, — сказал Хитрово.

Приезд хозяина с важным гостем был замечен, к ним поспешил человек в грязной рубахе до колен, его голые ноги были всунуты в короткие валенки.

— Самый важнейший на промысле человек, — сказал Светешников. — Трубный мастер Васька Осётр.

— А почему сей знаменитый муж ходит без штанов? — удивился Богдан Матвеевич.

— Отвечай, Васька, куда штаны дел? — строго спросил хозяин. — Ещё вчера они на тебе были.

— Сгорели, Семён Надеевич, возле варницы. Стрельнуло полено, и штаны вспыхнули, сам еле жив остался.

— Знаю, где они сгорели, — сказал Светешников. — Веди к трубе и показывай. А за штаны и вчерашний запой спиной ответишь!

Осётр сник и побрёл к соляной трубе.

О том, что река Усолка солона, люди знали с давних пор. В её пойме вырывались родники, которые были тоже солонь.

Однако из поверхностных вод добычу соли организовать было невозможно, требовалось делать скважины, чтобы добраться до насыщенных солью растворов, а они залегали всегда достаточно глубоко, и их добыча была непростым делом.

Со временем пытливый ум русских умельцев разрешил задачу устройства буровых сооружений совершенно независимо от границы. Система древнего русского способа бурения напоминала способ извлечения воды из колодца при помощи журавля. Высота журавля достигала восьми сажений. Бурение начинали с устройства колодца, который укреплялся срубом, далее скважину начинали бурить и в неё осаживать деревянные трубы. Эта работа продолжалась до тех пор, пока из земли не начинал поступать насыщенный соляной раствор.

Богдан Матвеевич заглянул в трубу и увидел лишь темноту.

— Глубоко дыра? — спросил он трубного мастера.

— Сорок сажений, меньше никак нельзя, рассол не тот. Вот, попробуй, боярин, — сказал Васька и пододвинул к Хитрово бадью.

Богдан Матвеевич окунул в раствор указательный палец, лизнул и сморщил лицо, язык обожгло горечью, сквозь которую стал проступать острый, как пламя, вкус соли.

— Крепка водица! — крикнул Хитрово. — Запить бы надо.

Васька уже держал наготове ковш с водой. Богдан Матвеевич несколько раз обильно прополоскал рот и сказал Осётру:

— Вот где крепость настоящая. А ты, дурак, вино хлещешь, деньгами соришь!

— Я ведь ему двадцать рублей в год плачу, на всём готовом, — сказал Светешников. — Такое жалованье не всякий воевода имеет, а он штаны заложил за чарку. Тьфу!..

— Пойдём, Богдан Матвеевич, похвалюсь тебе «Надеей», новой варницей.

Васька Осётр, выскочивший навстречу именитым людям в надежде получить на опохмелку, остался возле соляной трубы в унылом разочаровании.

Варница встретила Хитрово и Светешникова сильным и частым звоном, её потолка не было видно из-за дыма от очагов,

на которых стояли црены (железные корыта), с кипящим солевым раствором.

Светешников неожиданно сильным и звучным голосом приказал прекратить шум, и мужики отложили в сторону молотки, которыми сбивали накипь с пустых цренов. Затем хозяин позвал к себе варщика соли. Тот вынул из црена мешалку, которой перемешивал раствор, отдал её помощнику-подварку и приблизился к хозяину и его гостю.

— Вот, Богдан Матвеевич, мой лучший варщик Ворошилко Власьев. Его мой батюшка, когда взял на себя Усолье, вывез из Костромы.

Ворошилко был измождён и бел, то ли от прожитых лет, то ли от соли, которая была здесь всюду. Холщёвая, пропитанная насквозь солью, рубаха на варщике не сгибалась и висела колоколом.

— Давно на соли, дедушка? — с жалостливым участием спросил Хитрово.

— Никакой я не дедушка, боярин, — неожиданно весело блеснув глазами, сказал варщик, — мне пока тридцать три года, а мой сын ещё мал, чтобы жениться.

Богдан Матвеевич слегка смутился, но вида не подал. Однако в варнице ему вдруг стало тесно и неудобно.

— Пойдём отсель, Семён, — сказал он. — Достаточно того, что я видел.

Они вышли из варницы, Богдан Матвеевич вдохнул несколько раз полной грудью свежего воздуха и почувствовал, что его нутро освободилось от соляного смрада.

— Воистину, не варница, а преисподняя, — сказал Хитрово. — И огонь, и дым, и смрадный дух.

— Что поделать, — ответил Светешников. — Таков соляной промысел. Но они вольные люди, похотят — уйдут. Да не уходят — хорошо плачу. У варщика жалованье тридцать рублей в год, у подварка вполовину меньше. Едят и пьют задаром.

День уже вплотную подошёл к вечеру, Хитрово глянул на солнце и промолвил:

— Я сюда не только по твоему делу приехал. Великий государь повелел мне известить воров на Переволоке. Гость

Гурьев и другие челом бьют, что на Самарской Луке не стало проходу от воров. Что скажешь?

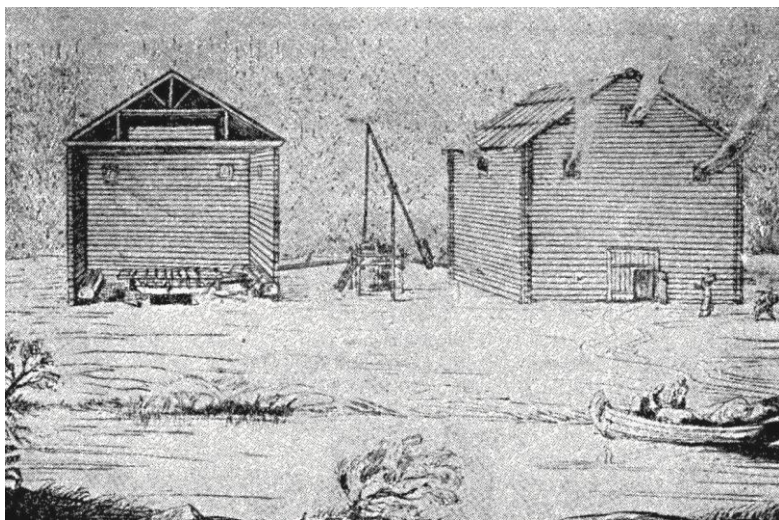
— Эх, Богдан Матвеевич, — сказал Светешников. — Не с теми силами ты явился. Сюда надо приходить с пятью десятками стругов с воинскими людьми, да и то мало будет.

— Не твоего ума дело, как воевать! — осерчал Хитрово. — Ты мне скажи, такого вора, как Лом, знаешь?

— Как же, слышал.

— Вот он мне и надобен. В первую очередь по челобитной гостя Гурьева велено Лома изловить и лишить жизни! Буде попадутся иные, то с ними поступать также.

— Пойдём, Богдан Матвеевич, в усадьбу, а по дороге я подумаю, чем тебе помочь.



Соляные варницы

Сказ про Пещаное море и остров Счастья

Слушайте, синбиряне большие и малые, молодые и старые про дела небывалые, про то, как во славном и похвальном граде Синбирске, заспорили лет этак триста назад два игумена о том, какой он — рай. Один уверяет, что рай — это понятие мысленное, откроется человеку только в другой жизни. Другой твердит, что правда твоя, но есть и на земле рай, только даётся он не каждому.

Спорили, спорили и порешили найти сметливого человека, снабдить его на дорогу одежей, припасами, дать ему денег полтину, а потом тычок в спину, и отправить его искать заповедную страну, где нет зла, а правит добро, где все сыты, довольны, у каждого христианина земли вволю, и урожай сам-сто, и бояр с приставами нет, да и царя тоже, потому что в раю правят не государевы, а Божьи законы. Звали удалого молодца, как водится, Иваном.

Очень не хотел Иван шастать по чужим краям, у него свадьба ладилась с одной красавицей, что отпаивала парным молоком телят для архиерейского стола, но прознали про эту телятницу шпыни, шепнули монастырскому келарю, и запечатал он Матрёну в самую потайную келью до Иванова возвращения. И пошёл Иван первой попавшейся под ноги дорогой через леса дремучие. Не пошло и дня, как ему явился старец и объявил, что не дойдёт он до Пещаного моря, где Остров Счастья, коли не будет он знать странноприимцев, которые указывают путь-дорогу и оберегают от опасностей.

— Так укажи, куда обратиться? — сказал Иван.

— Укажу, а ты пообещай мне за это принести ягоду-финик, — потребовал старец.

— Изволь, принесу! Только зачем тебе эта ягода?

— Это не ягода, Иван, а яйцо, которое растёт на деревьях. Я подложу его под курицу-наседку, и выклюнется птица Феникс, которая живёт вечно, и если даже сгорит, то из пепла восстанет живой и невредимой.

— Добро, принесу тебе это яйцо-ягоду.

— Ступай до Змиевой горы, что под городом Саратовом, там дед-молчун в дупле живет. Дашь ему три сухаря, он тебе тридцать золотых корабельников отсыплет и дорогу укажет.

И побежал Иван. Бежит день, бежит два, бежит десять ден. Уже леса и дебри кончились, степь пошла ковыльная, полынная, репейная. Погнались за ним, было, калмыки, заарканить хотели и кобыльим молоком опоить, да не догнали: скор наш Иван на ходьбу. Дошёл-таки до Змиевой горы, нашёл дуб, в нём дупло, а в дупле старец, который, увидев Ивана, заплакал как малое дитя.

— О чём горюнишься, отче? — спросил Иван.

— Мочи моей нет, Иван, от таких мук. Кормят меня здесь винными ягодами, арбузами, дынями круглый год, чтобы я поливал этот дуб, а то высохнет он, а под ним пещера с золотыми бочонками, полными лалов, рубинов и яхонтов. Нет ли у тебя сухариков, Ванюша?

— Как не быть, есть. На Руси жить, да без сухаря есть-пить? Бери, дедушка!

Подав ему три сухаря, а старец отсыпал посыльщику в полу армяка тридцать золотых корабельников.

— Беги теперь, Иван, на Терек-реку. Там казаки живут, с бессерменами сабельками помахивают. Дашь ихнему ватаману два корабельника. За один корабельник даст тебе ватаман доброго коня, за другой — всю казацкую справу.

И опять побежал Иван. Бежит день, бежит два... Степь кончилась, пошли пески зыбучие, жара окающая, безводье. Но одолел всё-таки, вышел к реке, вода в ней чисто лёд, холодная. Достал из-за пазухи сухарь, размочил в воде, съел, стал оглядываться - осматриваться.

Видит — едет берегом реки казак, папаха на нём белая, чекмень малиновый, сапожки козловые, сабля серебряная, копьё ясеновое.

— Будь здоров, казак! Мне бы ватамана увидеть надобно.

— Может, мне своё дело обскажешь?

Упёрся Иван, ни в какую не хочет говорить ни с кем, кроме ватамана.

Засмеялся казак и говорит:

— Я и есть ватаман. И мне ведомо, зачем ты явился. Поедем ко мне в приёмный дворец.

И как свистнет. Сразу из камышей конь выбежал и к Ивану ластиться.

— Хватит играть. Поехали!

И помчались они вдоль берега бурливой реки, где вода с камня на камень прыгает, ревёт и рвёт берега. Скоро примчались на место. Видит Иван — между двух дубов жерди берёзовые привязаны, а на жердях камыш наложен в несколько рядов. И на земле тоже камыш, а поверх него настелены ковры драгоценные персиянские, и стоит посредине огромная бочка с чихирём-вином, и казаки черпают вино, кто ковшом, кто ведром и пьют так, что усы и бороды у всех взмокли.

Ватаман отправил казаков, кого границу стеречь, кого отсыпаться на печи, сел в камышовое кресло и говорит:

— Коня ты получил, а где плата?

Иван достал золотой корабельник и подаёт ему. Затем второй отдаёт.

Ватаман открыл камышовый сундук и выдал Ивану и кафтан, и острую сабельку, и папаху белую. Потом спрашивает:

— Не раздумал, Иван, ехать к Пешаному морю?

— Нет, не раздумал. Чую, верное дело. Ноги так самого и несут.

— Тут тебе ноги не подмога. Страшенные горы впереди. Народы живут дикие, обычаев человеческих и божьи не чтут. Как раз тебя у первой скалы сцапают и уволокут в горы. Но ничего, я помогу, надо тебе до Кахетии пробиться, там грузины живут, православный народ.

— Как же мне быть? — загоревал Иван.

— Не кручинься! — хлопнул его по плечу ватаман. — Казачки наши засиделись возле баб. Винище хлыщут, да порох зазря на кабанов да фазанов жгут. Завтра возьмём сотню бывалых казаков, да сопроводим тебя через перевал до Кахетии. Там сам думай, голова должна быть своя на плечах, раз за такое дело взялся.

Наутро, ещё туман стоял густой, как сметана, выехали. Казаки копыта коней обмотали войлоком, чтоб не греметь

подковами по камням. Вскорости и дымком пахнуло, аул, значит, близко. С десятков казаков исчезли в тумане, вскоре послышался шум, раздался пищальный выстрел. Казаки вернулись не одни: приволокли на арканах двух парней и деву. Девка плачет, а парни злые, зубами верёвки грызут. Ватаман подъехал к ним, вытянул одного, другого плетью поперёк спины. Умолкли, соколики, они силу дюже уважают. А тут со стороны аула три старика прискакали на конях.

— Вот и договорились, — довольно сказал ватаман, подъехав к Ивану, — до самого перевала путь свободен. Они будут нас сторожить, чтобы никто случайно из кустов не стрельнул. А эти будут в аманатах-заложниках.

И пустились в путь. А дорога, братцы, скальная, то осыпь, то тропа, где и двоим трудно разъехаться. Долго ехали. К утру выехали на перевал, откуда открылся благодатный вид на долину. Сёла, города — всё, как на ладони.

Тут и сторожа грузинская приспела. Ватаман им всё обсказал про Ивана, попрощался с ним и пустился в обратный путь.

А грузины не дают Ивану выспаться, везут в стольный город к своему царю, потому что тот был рад всякому православному. Иван заснул в седле, но его бережно сняли с седла, умыли ключевой водой, дали выпить рог белого вина, и усталость как рукой сняло.

Царь грузинский спрашивает Ивана:

— Как изволит царствовать и здравствовать мой дорогой старший брат, его православное и царское величество великий государь Алексей Михайлович? Скоро ли прибудет его посольство с крепким войском, чтобы защитить веру православную от перса и турка, которые мордуют народ грузинский? Куда путь держишь, добрый молодец?

Без утайки всё рассказал Иван грузинскому царю, только про корабельники умолчал, ибо видел в царском дворце бедность страшную: всё потаскали турки да персы, да их помощники с волчьим знаменем.

— Эх, Иван! — вздохнул царь. — Слышал я про тот чудостров за Пещаным морем. Уехал бы с тобой, остался бы в раю. Но кто будет сохранять мой народ?

Повелел он кормить, поить Ивана безденежно и отправить с купеческим караваном в Багдад.

Дорогу до Багдада Иван не запомнил: засунули его в корзину, повесили её сбоку верблюда, и он все двадцать дней проспал, чем удивил караванщиков крепостью русской породы. Правда, левую щеку отлежал, да ногу, но ничего — растёрся, расходился, распрыгался. Вспомнил он про своего казацкого коня, да не нашёл. Продали его караванщики, азиаты коварные, а деньги продували. Пошупал одежду — целы корабельники. Порадовался Иван этой удаче и пошёл туда, куда пёр весь народ с узлами, коромыслами, бурдюками — к реке великой, известной ещё со времени потопа, Ефрат. Идёт, а сам думает, как он с корабельщиком договариваться будет. Так расстроился, что ругнулся по-русски, что есть силы. Народ от него шарахнулся, а один человек от радости Ивану на шею бросился, обнимает и говорит:

— Давно я русской мовы не чув! Ай! Ай! Какой пан и так далеко от Москвы! Может, помощи треба?

— А ты что за человек?

— Я? Да меня в Кракове знают, в Астрахани знают, в Москве самому великому государю часы с боем преподнёс. Я честный человек и зовут меня Марк. Говори, что у тебя за беда?

— Мне к Пешаному морю, там, сказывают, недалече от берега есть Остров Счастья.

— Был я там, — сказал Марк, — да не пожилось: на острове нет денег, ни золотых, ни серебряных, ни железных. А теперь скажи, Иван, что мне делать там, где нет денег?

— У меня другая печаль: не знаю, как добратся до Пешаного моря.

— Денег, стало быть, у тебя нет, — оживился Марк. — А вот кунтуш добрый, дам я тебе за него пять динаров.

Устроил Марк нашего Ивана на корабль честь честью. Дали ему место на палубе под тростниковым навесом, кормили сарацинским пшеном, поили крепким пахучим напитком, кофе называется, он у арабов потребляется навроде нашего сбитня. Ехал Иван до Пешаного моря долго: пять раз на день

корабельщики бросали паруса и вёсла, расстилали молитвенные коврики и совершали намаз своему Аллаху.

Иван, глядя на них, благочестивым стал, молился Пресвятой Троице и с умилением трепетным взирал вокруг. Ведь в этих местах некогда Господь устроил для Адама и Евы райский сад, и жили они там, пока не прогневали творца, и изверг он их оттуда. Но всё равно многое осталось от райского сада на берегах Ефрата. Вдоль реки стояли чудные деревья, усыпанные плодами, воды были покрыты цветами, от коих, особенно по вечерам, разливался благовонный аромат, в волнах то и дело плескались рыбы с радужным оперением, из тростниковых зарослей тучами подымались оранжевые длинноклювые птицы.

Добрался Иван до Пешаного моря и пошёл берегом, высматривая в просторе морском Остров Счастья, но солнце так слепило ему глаза, что ничего не было видно. Сел он под раскидистое дерево и скоро задремал. И вдруг, будто кто-то его толкнул, открыл глаза и видит: стоит перед ним, покачиваясь с пяток на носки и ухватившись большими пальцами рук за отвороты своего короткого кафтана, невысокий лобастый человек с большой лысиной, рыжеватыми усами и бородкой и смотрит на него с таким добрым прищуром, что Иван сразу почувствовал к нему неодолимую сердечную тягу.

— Пришлось разбудить тебя, Иван, — сказал незнакомец. — Ещё час назад на Остров Счастья идти было рано, через час будет поздно, а сейчас в самый раз.

— Как же я до него доберусь? — усомнился Иван. — Я по воде не ходок.

— Разве ты дороги на Остров Счастья не видишь? — незнакомец повернулся лицом к бескрайнему морю и, оставив левую руку на отвороте кафтана, правую вскинул в указующем жесте. — Иди по лунному следу и не страшись, что утонешь! Главное для тебя, Иван, не отклоняться от правильной линии ни влево, ни вправо, иначе своей цели ты не достигнешь.

— Авось, и останусь жив! — решил Иван и ступил на воду, где неведомая сила его подхватила и повлекла прочь от берега.

Не успел Иван моргнуть три раза, как оказался на острове перед воротами города. И ночи как не бывало. Удивился Иван

— солнце из моря встаёт, птицы с длинными хвостами поют, стража на пряслах бьёт в тулумбасы и громко дует в трубы.

«Не меня ли так пышно встречают?» — подумал Иван.

Только он успел едва оглядеться по сторонам, как подбежал к нему местный житель.

— Челом Иван! С успешным прибытием на Остров Счастья!

— Почему ты ведаешь, что меня кличут Иваном?

— Не велика загадка! — улыбнулся встречальщик. — По твоему облику сразу видно, что ты русак, стало быть, Иван. А теперь говори, зачем к нам припожаловал: насовсем или в гости? Мы в любом разе тебе рады, давно из русской земли к нам никто не являлся, хотя нам доподлинно ведомо, что всякий мужик там мечтает о счастье и воле.

— Послали меня православные проверить, есть ли на вашем дивном острове такое, что можно почесть за рай на земле, — сказал Иван. — Посему остаться здесь я не могу, мне надо вернуться и вызволить свою любушку Матрёну, которую монахи запечатали до моего возвращения в тайную келью.

— Раз так, гостюй — сколько похочешь, ступай за мной, я определю тебе избу, где ты сможешь отдохнуть, пока я доложу старцам твоё дело.

Провёл встречальщик Ивана через ворота, и ступили они на улицу, вымощенную изразцовыми плитками, а вокруг стояли рубленые избы с широкими стеклянными окнами, в каждом дворе бил упругой струей из земли водомёт и наполнял воздух приятной свежестью.

— А что, — сказал Иван, — у вас мылен нет, и вы на дворе моетесь?

— Как нет, — улыбнулся его простоте встречальщик. — Вот тебе и мыленка, мы её всегда держим горячей, на случай приезда гостей. Ступай в неё, а я пока отойду по твоему делу.

Зашёл Иван в мыленку, разделся и прыг на полоч, и начал обихаживать себя веником, сначала берёзовым, потом дубовым, а напоследок пальмовым, с того самого дерева, на коем ягода-финик родится. Так проняло жаром-пылом, что он выбежал из мыленки и бросился под водомёт охладиться. Только успел одеться, как услышал, что его поторапливает встречальщик.

— Поспеши, Иван, старцы сошлись и готовы тебя выслушать!

На площади подле собора стояли вкруговую скамьи, и на них восседали одетые в белые одежды, старцы. Поведал им Иван про спор игуменов и о своём пути на Пещаное море, и один старец за всех ему отвечает:

— Скажи, добрый молодец, высокочтимым отцам русской православной церкви, что ни о мысленном, ни земном рае мы не ведаем. Мы живём по Божеским законам, как их нам Бог на душу положил. И у нас здесь решено, что все люди равны от своего рождения, и поэтому ни царя, ни патриарха, ни бояр ихних, ни другого дьяческого и подьяческого семени не держим. На нашем острове один господин — равенство во всём. Вот гляди: все жители у нас одинакового роста, примерно равной силы, стати, красоты и приятности, только одни чернявые, другие белявые. Грамоты мы не знаем, книг не читаем, потому что это — зловредное занятие, ведущее к гордыне и умопотрясению. Вместо книг у нас предания об отцах, дедах, прадедах, их славе и разуме. Чудный остров, дарованный нам промыслом Божиим, природу имеет, тоже склонную к равенству. У каждого хозяина всего рождается вровень: пшеницы, огородных плодов. Овцы приносят по два ягнёнка, кобылы — по одному жеребёнку, коровы — по одному телёнку. От такого Божьего расположения нет у нас бедных и богатых. Потому нет зависти, корысти, гордыни, преступлений, свар, нехороших слов в обращении. Для житья и работы у каждого есть своего в достатке, поэтому мы не одалживаемся друг у друга, не ходим друг к другу в гости. А все праздники встречаем вместе на этой площади за общими столами, после того как помолимся в храме. На праздниках и дома хмельного не употребляем, но все веселы и довольны. Хотя и не болеем, но, приходит срок, и все умираем. А рая у нас, как видишь, нет.

— Ваш остров невелик и весь Синбирск не поместится, — сказал Иван. — Но как на великой Руси порядки завести вроде здешних?

— На этот вопрос ответа дать сразу не можем, — сказали старцы. — Ходи по городу, смотри, разглядывай, а мы держать совет будем.

Поклонился Иван старцам и пошёл по городу. В первом же доме его накормили щами с мясом, только вместо капусты в хлёбове плавали маслины. Полюбовался он работой мастериц, что вышивали золотом по шёлку. Девушки узнали про зазнобу Матрёну-телятницу, что томится в монастырской келье, и подарили ей дивный шёлковый плат с золотыми павлинами. Вышел из крепости — мужики огромный корабль сталкивают в море по брёвнам. Помог им, поднапёрся плечом. Затем возвратился Иван в город.

Старцы, видно, весь день с мест не вставали, потные сидят, а для прохлады молоко пьют кокосовое.

— Слушай, Иван, наш приговор! — промолвил маститый старец, видимо, главный между прочими. — Передай своим игуменам, что ответа от нас им не будет. Они свой спор почерпнули из книг, а мы люди неграмотные, поэтому спросу с нас нет. Скажи ещё, что равенство на Руси быть не может, ибо русские люди изначала не сумели жить мирным общежитием, а поставили над собой царя, бояр, дворян, воевод, дьяков, приставов, старост, которые ими управляют или по праву рождения, или по силе наглости. И Русь с самого начала не освобождается от грехов и неправд, а копит их всё больше и больше. Всё на Руси повязано насилием и неправдами, и порвать эти цепи сможет только народный бунт. Когда-нибудь явится на свет атаман всея гулевой Руси, вздыбит мужиков на бояр и начнётся резня и великое пролитие крови. А теперь, Иван, ступай на корабль, он идёт в Царьград, затем крымскую Кафу, а там и до Руси рукой подать.

— Премного вам кланяюсь за гостеприимство, дорогие хозяева! — Иван низко поклонился. — Не обессудьте за просьбишку: старец, что помог мне добратся до вас, просил принести ему финик-ягоду.

— Этого добра у нас премного, — сказал старец. — Возьми и себе, хоть мешок, хоть два.

Сел утром Иван на корабль и через два месяца был в Синбирске, завезя по пути старцу мешок фиников-ягод. Выслушали игумены Ивана, затопали ногами, забрызгали слюной и приказали отцу-эконому бить батогами Ивана на конюшне. Выдали Ивану сто батогов и бросили в горячий коровий навоз, чтобы отлежался. Там нашла его телятница Матрёна и уволокла к себе в избёнку. Омыла его настоем чистотела и спрашивает:

— Где же ты, Ванюша, пил-гулял? Меня, болезную, забыл, а я глазоньки выплакала, тебя поджидаячи.

— Не плачь, Матрёна. Разверни-ка мой кушак и достань подарок с Пещаного моря.

Развернула Матрена кушак, достала плат, накинула на плечи, и в избёнке стало светлым-светло.

Через несколько дён ушли они убёгом на Терек, к вольным казакам. На оставшиеся корабельники купил Иван коня и всю казацкую справу, построил камышовую хатку и стал казаковать. А Матрёна, что ни год, то казаков да казачек ему рожала. Так и живёт он на Тереке до сих пор, пьёт чихирь, казакам об Острове Счастья в Пещаном море рассказывает.



Русские крестьяне, по А. Олеарию

Указ про колдовскую силу Степана Разина и его решение идти на Москву

Часто бывает так, что на небе ни облачка, но в самом воздухе уже чувствуется приближение грозовой бури. Так и Степана Тимофеевича Разина ещё и близко не было, но его мятежное имя уже витало над Волгой, настраивая думы всех людей, и начальных, и подневольных, на тревожный лад. Все ждали, что вот-вот на волжской окраине случится доселе небывалое и ужасное, что бывало во время Смуты, ведь оставались ещё живы старики, помнившие времена державного лихолетия. Но были ещё более близкие примеры — Соляной и Медный бунты, когда народное возмущение обнажилось в кровавом неистовстве почуявшего своё право на насилие простого люда. От Стеньки Разина ждали гораздо большего, и гулящие люди и инородцы Поволжья с нетерпением выглядывали, когда явится атаман, чтобы пополнить в несметном числе ряды его бунташного войска.

И эти народные чаянья были не напрасны. Очень скоро многим в России стало известно о казачьем атамане, который занял Яицкий городок, затем счастливо пограбил персидское побережье Каспия, явился в Астрахань с несметной добычей, получил от царя милостивую грамоту и до весны удалился в Паншин городок на Дону.

Подвиги Разина воспринимались как деяния сказочного богатыря, превращались в былины, которыми заслушивался народ, всегда мечтавший о появлении мстителя за свои унижения и муки от сильных и богатых людей.

Над Волгой уже сияла звёздами летняя ночь, но не все на струге спали. И приказчик Максим, направленный по торговому делу в Астрахань, сквозь щели в досках, на которых он лежал, слышал разговоры стрельцов полковника Лопатина, что находились на нижней палубе струга

— Знать, правду говорят, что атамана ни пули, ни стрелы не берут? — спросил молодой голос.

— А как они его возьмут, если у него заговор от них самим Горинычем на него наложенный, — послышалось в ответ. — Немецкий капитан в него с трёх шагов из своего мушкета стрелял, пуля на Стенькиной груди только царапину оставила, как на камне, а сама — всмятку.

— Слушай, Нефёд, а кто такой Гориныч?

— Это, брат, царь водяной. У него со Стенькой договор: атамана ни пуля, ни сабля не берёт, а тот ему за это подарки посылает, золото в воду сыплет, шелка да бархаты, но больше всего по нраву Горинычу, когда Стенька его человечиною потчует. Часто слышно про него, что он то и дело своих супротивников в воду сажает. А Гориныч-то тем доволен и своим благоволением атамана жалует.

— Слышно, он жёнку в воду бросил, так ли это? — спросил ещё чей-то голос.

— Не жёнку, а персианскую княжну. А до того он Горинычу свою жену невенчанную подарил близ Яицкого городка. Одел её в лучшие одежды и бросил в Яик со словами: «Прими, благодетель мой Горинович, самое лучшее и дорогое, что я имею!» От этой жёнки у него сын имеется, Стенька отослал его к астраханскому митрополиту с тысячью рублей в придачу, чтобы тот его воспитал в православной вере. А персианку он уже опосля в Волгу кинул, когда из набега на Каспий возвратился...

Рядом с Максимом смачно, с присвистом, захрапел стрелец. Максим толкнул его и снова приник к доске ухом.

— ... а на подходе к Астрахани встретил Разина товарищ воеводы князь Львов с милостивой царской грамотой. В крепости пальба учинилась, когда казацкие струги встали у берега, сам воевода князь Прозоровский, митрополит и лучшие люди вышли встречать Стеньку, как же, сам великий государь его милостью пожаловал. Однако воевода своровал от атамана милостивое царское слово, стал ему казацкие вины выговаривать, что-де в Яицком городке двести стрельцов жизни лишил, государевы струги топил, торговлю с персианами порушил, много чего воевода выговаривал. Поначалу Разин слушал его терпеливо, только ножкой в сафьяновом сапоге

притопывал, а потом возговорил громким голосом: «Ты, князь, на воеводстве сидючи, совсем обомшел, как пенёк гнилой. Вот велю я своим побратимам сбросить тебя с раската крепостной башни, не возрадуешься!» Задрожал Прозоровский от страха, за митрополита прячется. А Разин усмехнулся и говорит: «Хоть ты, князь, государево милостивое мне слово своровал, я тебя сам пожалуй частью казацкого дувана как своего есаула». И положили казаки к ногам воеводы золото, жемчуга и лалы, и платья парчёвые, бархатные и камчатые. От жадности возглись глаза у князя, он Стеньку винить перестал и молвил: «Гуляйте, ребята, только Астрахань не сожгите...»

Последние слова привели слушавших Нефёда стрельцов в восторг, и число слушателей увеличилось, поскольку до Максима явственно донёлся строгий голос: «Не сбивайтесь в кучу, а лежите по своим местам. Говори, Нефёд!»

— А как раздували казаки персианский дуван, то гулять начали, любо-дорого посмотреть! Расхаживают по граду Астрахани в шёлковых да бархатных кафтанах, на шапках нити жемчуга, дорогие каменья. Торг открыли невиданный, отдавали шёлк нипочём, фунт за десять копеек. А уж, сколько дорогих заморских вин было выпито, сколько пролито! Воевода глядит на казацкий разгул, злобится, да поделать ничего не может. Посадские люди и астраханские стрельцы за Стеньку горой. А Разин что ещё удумал: как-то вынесли ему кресло из дома, где он гулял, да поставили посреди улицы, а казаки на весь город загорланили: «Подходите, сироты астраханские, Степан Тимофеевич всех жаловать будет!» Сел Разин в кресло, а у его ног большой кожаный куль с золотом положили, тяжёлый, четверо дюжих казаков еле донесли. Поначалу астраханские люди побаивались подступиться к грозному атаману, однако нашёлся один смельчак, подбежал и бухнулся перед Разиным на колени. «Говори твои нужды, — сказал Стенька». «Выпить хочу за твоё здоровье, Степан Тимофеевич, да карманы дырявые, были две полушки — и тех нет!» Улыбнулся Разин, сунул руку в куль и достал горсть золотых: «Гуляй, детинушка, без просыху!» Тут весь народ к нему и прислонился...

Стрелец, спавший рядом с Максимом, опять захрапел с затейливым присвистом. Парень ткнул его кулаком в бок. Тот сел, подвигал полоумными очами и опять упал навзничь. Максим прислушался.

— Про соловецкие дела Разина я не ведаю, — сказал Нефёд.
— Кондрат там бывал, может, что и слышал.

Послышались уговоры какого-то Кондрата поведать о знаменитом атамане.

— Я могу сказать, — послышался голос. — Только вы, ребята, обещайте, что не будете меня тузить, коли слова мои вам не придется по нраву. Ведомо вам, что соловецкие старцы не приняли никонианства и объявили великому государю войну. Царь посовестился наслать на знаменитый монастырь большую воинскую силу и поначалу отправил туда стряпчего Игнатия Волохова с сотней стрельцов с тем, чтобы привести обитель к покорности. Я шёл в той сотне десятником, что случилось, видел наяву. Старцы ворота нам не открыли, а самим не зайти: в монастыре по громадным стенам сотня пушек, монахи камни и огонь мечут. Игнатий Волохов покричал, погрозил старцам и велел нашему сотнику готовиться к уходу. Мы, знамо, возрадовались, а стряпчий в ярости готов камни грызть. И тут, ему на радость, в последнюю ночь поймали сторожевые стрельцы монаха у самых монастырских стен. Кликнул сотник меня и ещё одного десятника и велел идти к стряпчему. Пришли, а Волохов над монахом лютует, всего искровянил. Увидел нас и кричит: «Ставьте его на огонь!..»

— А дальше что? — спросил кто-то замолчавшего Кондрата.

— Долго терпел монах муку, а потом проклинать начал, страшно вспомнить, самого великого государя, патриарха Никона, ближних бояр блядинами детьми называл и вопиял, что скоро явится на всех них кара, могутной вор, что спалит Москву, и всех вероотступников и лучших людей будет казнить лютой смертью. Тут Волохов оттолкнул нас и сам взялся за раскалённые щипцы и начал терзать монаха, выведывая имя вора, и откуда он явится. И монах всё поведал, перед тем, как испустить дух.

— Стало быть, о Разине государевым людям загодя стало известно? — сказал Нефёд. — Как и то, что его направили на воровской путь соловецкие старцы?

— Стенька явился в Соловки богомольцем и открыл на исповеди такую адскую бездну своей души, что исповедник был в ужасе. Проведав о том, начальные старцы заинтересовались Разиным, приблизили к себе, распознали в нём мстителя за поруганную никонианами христианскую веру и благословили его учинить великое возмущение простого люда против бояр, которые замыслили извести государя и насадить на русской земле окаянное латинство. Через соловецких старцев Разин получил силу отводить от себя пули и стрелы и отпущение от всех будущих грехов...

— Вон как! Значит, он не сам по себе замыслил поднять Русь против бояр, а по наущению соловецких старцев! — воскликнул шёпотом кто-то из стрельцов.

— А ну уймись! — раздался начальственный голос. — Не то те верёвки, что для воров припасены, как раз вам достанутся!

Угроза казалась нешуточной, и внизу все замолчали. Максим поднял голову и осмотрелся. Вокруг было темно, стрельцы спали, упругий ветерок и течение несли струг бесшумно и плавно. И видя вокруг покой и безмятежность, Максиму трудно было представить, что где-то внизу на Волге, возможно, уже начал полыхать мятеж, уничтожая вокруг всё живое и человеческое.

* * *

С весны 1670 года градом Царицыным правила казачья вольница. Ворота крепости днём и ночью были всегда распахнуты настежь, в самом граде и окрест него шаталось без дела множество вооружённых людей. Более семи тысяч вольного народа привёл Разин за собой из Риги, казачьей крепости сплошь окружённой водой, где его войско в землянках, крытых камышом, пробедовало всю зиму. Атаман, как мог, поддерживал своих сподвижников: давал им деньги,

кормил и, в расчёте на летнюю добычу, сам займы брал порох и свинец у воронежских посадских людей, рассылал прелестные грамотки донским станицам и в Запорожскую Сечь, подбивая охочих людей на вольное казакование.

Поначалу Разин был щедр, но за зиму порастряс воровскую казну, и к началу весны запустил руку в свою последнюю захоронку с остатками персианской добычи. Выручить его мог только новый набег, поэтому, когда он проведал, что домовитые казаки низовых станиц на Дону приняли государева посыльщика — жильца Герасима Евдокимова — с милостивой царской грамотой, то кинулся в Черкасск, застрашал мирных казаков, а посыльщика до полусмерти избил и велел его кинуть в Дон. Совершив прилюдное убийство и распалившись им, Разин вернулся в Ригу, поднял своих людей и всей громадой двинулся к Царицыну.

Он уже побывал там, возвращаясь на Дон из Астрахани прошлой осенью, разбил кабак и оттащал за бороду воеводу Унковского. Весной же граду была уготована кровавая потеха. Новый воевода Царицына стольник Тургенев не открыл ворота и засел в осаду. Стенька велел Ваське Усу осаждать крепость, а сам с тысячью самых отпетых казаков набросился на кочевья едисанских татар, разорил их дочиста и пригнал к Царицыну пленных людей, громадные табуны лошадей, гурты скота и отары овец.

Голодное войско при виде добычи возликовало и в семь тысяч глоток восславило своего атамана, но тот велел ничего из взятого не трогать, а немедля идти на приступ града, из которого уже переметнулось к казакам много стрельцов и посадских людей. Видя измену, воевода Тургенев с кучкой московских стрельцов запёрся в башне, но был взят и в тот же день приведён на верёвке к Волге, проколот копьём и утоплен.

Несколько дней вольница гуляла, но вино скоро было выпито, пошла чередá трезвых дней и раздумий воровской головки бунта, куда же идти дальше. Об этом Разин часто совещался со своими старшинами и есаулами.

— Идти надо на Москву! — убеждал атамана его ближний подручный Васька Ус. — Я ходил, четыре года тому назад за

Тулу ушёл, но тогда я не имел и четверти той силы, которая есть у нас сейчас.

— Без Волги нам нельзя, — возражал Усу разинский брат Фрол. — Летом к ней гуляющие люди теснятся, на них мы обопрёмся, а на мужиков надежды нет. Они привычны ковырять пашню, а нож в руки берут, когда хлеб режут.

— Брось, Фрол, — гнул своё Ус. — Мужiku только дай почуять волю и правду, и он кому хошь шею свернёт. Надо идти на Москву, а вперёд выслать посыльчиков с прелестными грамотками. Тогда вся коренная Русь на дыбы встанет и опрокинется на бояр.

— Спеша да не торопись, — говорил бывалый есаул Корень. — На Москву мы всегда поспеем, не худо бы на Астрахань оборотиться. Пока не отомщены обиды воеводе Прозоровскому. Помнишь, Степан Тимофеевич, как этот старый мозгляк на тебя ножонками топал, стрельцов на казаков насылал, моего побратима старого казака Ванюшку Носатого на рели вздёрнул?

Разин не отвечал, но его глаза возжигались пламенным блеском, и на скулах начинали ходуном ходить желваки.

— Дело молвит Корень! — вскакивал с места черкас из Запороги Остап Очерет. — Были мы в Астрахани, да не растрясли её как следует. Пока до Москвы дойдём, половина казаков разбежится, без дувана казак не воин. Надо, Степан Тимофеевич, поначалу Астрахань раздуванить, а там можно и на Москву идти, но не посуху, а Волгой.

Разин слушал своих соратников, но последнего слова не говорил, его одолевали раздумья, в какую сторону ему повернуться: на Астрахань или на Москву. Атаман в опасности, которая угрожала его жизни, всегда был находчив, но когда требовалось принять какое-нибудь решение в мирной обстановке, то его начинали одолевать сомнения и неуверенность, он тогда ждал, как он иногда говорил, знака оттуда, что выше всякого человеческого разумения. В ожидании этого знака Стенька со временем начинал чувствовать, как над ним и в нём самом сгущается невидимая мгла, которая с каждым часом начинает теснить душу всё сильнее и сильнее, пока из неё не полыхнёт молнией внезапное озарение, и ему

станет дышать так вольно, будто у него вдруг появились крылья.

От своих соратников, споривших, куда двинуть казацкую громаду, Разин уходил за город на волжский откос и подолгу стоял там, подставив разгорячённую томлениями грудь вольному ветру, вглядываясь в бескрайнюю степную даль, над которой белокипенные кучевые облака казались ему кремлями и соборами неведомых градов. Бывало, по какому-то порыву, он падал на землю и его чуткий, как у зверя, нюх, начинал щекотать, дурманя голову, сладковатый запах богородской травы — чабреца и, надышавшись ею, он забывался в недолгом беспмятном сне. Однако настал миг, когда чаемое Стенькой много дней свершилось: ему во сне явился Гориныч и молвил вещице слова:

— Жалую я тебя, казак, своей силой, гуляй — веселись по всей Волге, от Низа до Верха, да не забывай и меня, старого, своими дарами...

Проснулся Стенька и почувствовал себя таким могучим, будто в живой воде искупался. Вскочил на ноги, распростёр руки и так вскрикнул, что все люди в граде Царицыне это услышали, а те, кто знал своего атамана, возрадовались: пришла пора веселиться всем гулящим людям, началась воровская путина, и у каждого на всякий день будет сытная пища, а порой и море разливанное зелена-вина.

Пыля красными сапогами по сухой глине, Стенька сбежал с бугра и уже из ворот увидел, что возле крыльца атаманской избы толпились лучшие казаки. Его ждали.

— Чую вести недобрые дошли до Царицына? — спросил Разин, оглядывая своих ближних острым взглядом.

— Только что явился казак из дозорного разъезда, — ответил Фрол. — А какие вести, добрые или злые, ты сам рассуди.

— Где дозорщик?

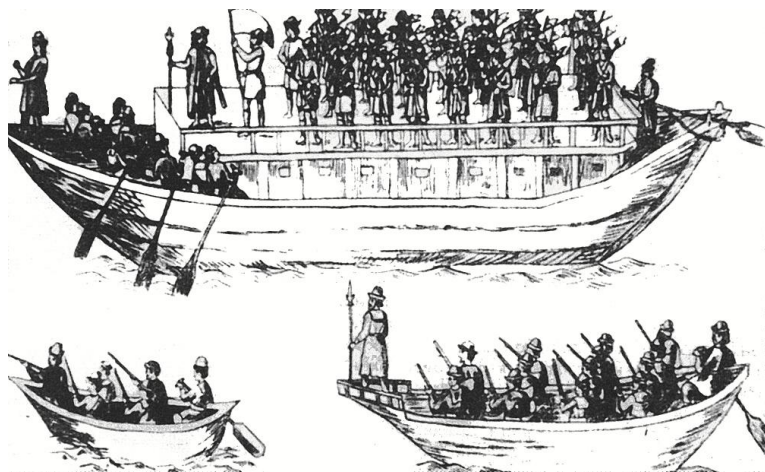
— Да вот он, — Ус указал на молодого казака, который тотчас выступил вперёд.

— Говори! — велел Разин.

— Идут, атаман, по ближней к нагорной стороне протоке шесть стругов с воинскими людьми, — сказал казак.

— И где они?

— К вечеру будут у Денежного острова.



Стрельцы на стругах идут в Царицын

— Добро, — сказал Разин. — А что за ратные люди, стрельцы или солдаты?

— Стрельцы московские, в красных кафтанах.

Стенька вздрогнул, ему послышалось, как чей-то голос явственно произнёс: «Как раз тебе, атаман, будет, чем отдарить Гориныча...» Он зажмурился и, как конь, потряс головой, прогоняя наваждение. Муть в очах исчезла, и сразу пришло решение, как поступить.

— Бейте сполох! — велел Разин и обратился к ближним людям. — Давайте, казаки, думу думать, как стрельцов повоевать.

— Годи, Степан Тимофеевич, — сказал черкас Очерет и указал рукой на крепостные ворота, через которые на взмыленном от долгой скачки коне промчался всадник и резко остановился перед крыльцом атаманской избы.

— Скликай громаду, атаман! — прохрипел запыленный с ног до головы казак. — Товарищ астраханского воеводы князь Львов с двумя с половиной тысяч стрельцов подошёл к Чёрному Яру и стоит там уже два дня.

— Не беда, что пришёл, — усмехнувшись, сказал Разин. — Князь — мой друг, прошлой осенью пировали с ним оба два, он нам лиха не сотворит.

— Сверху идёт тысяча ратников, с низу — две с половиной, — осторожно заметил есаул Корень. — Как бы они нам не повредили. Особенно московские стрельцы.

— С этими крепко воевать надо, — согласился атаман. — Что до астраханских стрельцов, то князь Львов привёл прибавление к нашему войску. Астраханцы переметнутся к нам и своих начальных людей приведут на верёвках.

Колокол на башне ударил тревожно и часто. Услышав набат, казаки и прибывшие к ним со всех сторон бунташные люди, расположившиеся станами подле Царицына, всполошились, похватили в руки оружие и устремились к крепости. Ещё не ведая, зачем их кличет атаман, они были радостно возбуждены, догадываясь, что началась, наконец, гулевая путина.

Вскоре всё пространство против атаманской избы и вокруг неё было заполнено вооружёнными людьми. В крепости все не поместились, многие стояли за воротами и ждали, когда до них донесутся повторяемые многими людьми слова атамана. И Разин знал, что жаждут услышать от него люди.

— ... Бояре изводят семью царя, царевича Алексея Алексеевича они пытались извести ядом, но тот спасся и скрылся под нашу защиту! Как, казаки, не выдадим боярам царевича?

— Не выдадим! Не выдадим!

Ближние Стенькины люди были поражены — до сей поры они не слышали от атамана таких слов. Ус глянул на Корня и встретил недоумевающий взгляд есаула, для которого весть о царевиче, скрывающемся у казаков, была тоже новостью. Смешливый Васька Ус потупился, чтобы не хохотнуть. Черкаса Очерета интересовали не московские дела, а добыча, Фрол Разин внимал Степану с обычной для него пустотой во взгляде, он верил брату всегда и во всём.

— ... Наши люди опростали из монастырского заточения, куда его бросили бояре, патриарха Никона! — продолжал

витийствовать Разин. — И скоро святейший патриарх явится в наше войско.

На этот раз люди восприняли неслыханное известие с меньшим шумом, многие из них уже давно жили вне церкви и вспоминали о Боге, когда их ужалил какая-нибудь беда.

— Бояре своими неправдами затуманили очи царю и наслали на нас стрельцов. Они сейчас вблизи Царицына! — повысил голос Стенька. — Потому разбирайтесь каждый по своим есаулам и сотникам, седлайте коней и готовьтесь попотчевать незваных гостей саблями и пулями. Я буду с вами!

Толпа возвопила так оглушающе сильно, что своим криком погасила лампаду перед надвратной иконой Святителя Николая. Люди, толкая друг друга, кинулись по своим станам готовиться к боевому выходу. Площадь перед атаманской избой стремительно пустела.

— Как же так, Степан Тимофеевич, — сказал Корень, — мы, твои ближние люди, про царевича Алексея и патриарха Никона до сего часа не ведали?

— Много чего вам неведомо, — снисходительно молвил Разин. — Царевич уже здесь.

— Как — уже здесь! — поразился Ус. — Меж нами, атаман, не было уговору, что-нибудь друг от друга утаивать!

— Я и не таю, — улыбнулся Разин. — А ну, други, садись на коней!

Есаулы, молча, ехали по берегу Волги следом за атаманом, гадая, чем надумал удивить их предводитель. Версты через две атаман повернул к берегу, и все встали у обрыва. Перед ними в сажнях пятидесяти на воде стояли два небольших струга. Один был покрыт по верху синим бархатом, другой — красным. Людей на стругах не было, а по берегу в разных местах прохаживалось несколько сторожей с пищалями на плечах. Их есаулы узнали сразу: одностаничники Разина, которых он держал близ себя.

— Фролка! — велел Разин брату. — Сбегай на струг и ударь челом царевичу Алексею, чтобы он нам явился.

Фрол сошёл с коня, сбежал с берега и скрылся под красным бархатом на струге. Потом выпятился оттуда задом на карачках,

а за ним появился невысокий рыжеволосый юноша в лазоревой чуге и повернулся к берегу. Завидев это, Разин одним махом прыгнул с коня и упал на колени, преклонив голову к земле. Вслед за ним попадали с коней и его есаулы, даже Васька Ус не замешкался и преклонился ниц. Когда они подняли головы, царевича на струге уже не было видно.

— Царевича Алексея являть всему народу рано, — сказал Разин. — Людям достаточно знать, что он есть.

— Но ведь когда-то он должен выйти из своей захоронки, — задумчиво молвил Корень.

— Царевич явится на Москве, — важно сказал атаман. — Явится всему народу царём Алексеем Вторым...

— А где патриарх Никон? — спросил Васька Ус.

— Будет тебе и Никон! — вскричал Разин и ударил каблуками сапог под рёбра своего коня. — Гойда! Пора идти на московских стрельцов!

Гказ про разгром разинского войска под Гинбирском

Воевода государева войска князь окольничий Юрий Барятинский, верный своей солдатской привычке, проснулся в утренних сумерках, откинул от себя баранью шубу, под которой лежал на голой лавке, и, шлёпая босыми ступнями по холодному брёвновому полу, подошёл к оконцу. Утро вставало сырым и мгlistым, сквозь белёсую пелену тумана неясно проступали очертания соседних изб, амбаров и заборов посада, и доносились понятные окольничему звуки многолюдного воинского стана — ржание коней, говор людей, бряцанье железа, удары топора по дереву.

Он высунулся в оконце, потянул ноздрями влажный воздух и сразу почуял горьковатый запах дыма от костров, на их огне уже в котлах начинала закипать вода, и повара, распоров рогожные кули, готовились засыпать в неё дроблёный овёс для приготовления толоконницы, привычной воинским людям утренней сыти, которой они так плотно набивали своё брюхо, что не чувствовали голода до вечера.

Скоро запах овсяного варева послышался и близ князя: денщик принёс ему котелок толоконницы и положил рядом большой ломоть хлеба и кусок варёного мяса, оставшийся от вчерашнего пирова. Барятинский привычно умял овсянку с ржаниной и запил еду квасом. К мясу он не прикоснулся, и не потому, что была постная пятница, его не смущало скоромное и в Великий пост. К пище он был равнодушен и ел всегда ровно столько, чтобы сохранить силы и не утратить интерес к жизни. Всегда молчаливый денщик помог воеводе застегнуть нагрудник и подал шлем, на котором был вычеканен двуглавый орёл. Окольничий, бряцая шпорами, вышел на крыльцо и остановился, оглядывая всё вокруг.

К этому времени на стане стало многолюднее и шумнее, как раз нестройной толпой явились из Тетюшей дворяне, все в ратной сбруе, на конях и с оружием. Ими тотчас завладели полковник Зыков и капитан Зверев, сочли по списку и

удостоверились, что пришли все, бывшие здесь вчера, а с ними и с десятков новиков, прибежавших ночью из ближайшего леса, когда прослышали о стоянии Барятинского в Тетюшах, от коих было не так уж далеко до Казани. Начальные люди разделили обрётённых воинов на равные части, и вышло две роты, пока ещё неполного состава. Много начальных людей было убито под Синбирском, и вместо капитанов на роты назначили подпоручиков, а на полуроты поставили четырёх сержантов. Начальники сразу с ором и битьём накинулись на новиков и построили их по полсотни человек в несколько рядов. Полковник Зыков объехал строй и направился к Барятинскому, который уже сидел на своём жеребце и хмуρο взиpал на тетюшское воинство.

— Даю тебе, полковник, две недели, чтобы ты из этого людского хлама сделал боевых рейтар, — заявил окольный. — Больше времени у меня нет. Придёт Чубаров, и мы сразу двинемся на Синбирск.

— Нам не впервой, князь, из сбpода сотворять витязей! — весело сказал Зыков. — Эти за неделю будут готовы идти в огонь и воду!

Он ведал, про что говорил. За столь малое время подготовить из трусоватых дворянишек безоглядно идущих на верную смерть отчаянных рубак стало бы непосильной задачей для любого иноземного маршала, но только не для русского полковника. И особой хитрости в этом не было. И Зыков, и ротные начальники намеревались учить новиков воинскому делу с такой беспощадностью, что те непременно, после десятка дней непрерывного битья и недосыпа, должны были взмолиться, чтобы их немедленно послали в бой. Ибо каждый тогда поймёт, что в бою он ещё сможет выжить, а в учении его ждёт неминуемая смерть.

— Держи новиков в поле, — велел окольный. — Разбей там стан и не уходи из него без моего слова. Через неделю я наеду и посмотрю, чему ты их научил.

Новые рейтары, спутав ряды, стали выходить из посада в чистое поле. Замыкал их движение воз с палками для битья, на которых сидел заросший до бровей чёрной бородой сержант,

исполнявший в свободное от войны время обязанности полкового палача.

Через неделю, как он и обещал, окольный приехал в сопровождении Зыкова к новобранцам. Было ветрено, и над полем, вытоптанном рейтарскими конями, белыми шмелями проносились хлопья снега. Барятинского ждали: едва он ступил на границу стана, как тревожно заухали тулумбасы, рейтары выбежали из шалашей, обгоняя друг друга, кинулись к своим коням и встретили окольного в боевом строю.

Полковой воевода медленно ехал вдоль линии рейтар и вглядывался в их лица. Он видел перед собой совсем других людей, чем неделю назад, это было заметно по их отрешённо тупым взглядам, которыми они глядели на окольного, и тот удовлетворённо отметил, что беспощадное учение пошло воинским людям впрок, и они стали готовы к выполнению любого его приказа.

Часть поля была изрыта рвами, за которыми поставили столбы с прибитыми к ним деревянными щитами. Зыков велел подпоручикам приготовиться повести свои роты на препятствия в боевом строю, и отъехал с Барятинским в сторону на небольшое возвышение, откуда всё поле было хорошо видно.

— Сколько сейчас в каждой роте людей? — спросил окольный.

— Без малого, по двести пятьдесят, — ответил полковник. — Я всех прибежавших к нам дворян немедленно отправляю сюда. Разреши, князь, начинать?

— Начинай!

Зыков вынул из седельной кобуры пистолет и выстрелил вверх. Тотчас первая рота пошла крупной рысью на препятствия, но вскоре понеслась галопом, с разгона преодолела первый ров, затем второй, рейтары выхватили из седельных кобур пистолеты и на скаку выстрелили по деревянным щитам, которые от ударов тяжёлых пуль начали покрываться дырами и рассыпаться на щепки.

Зыков вопрошающе глянул на окольного, и тот недовольно пробурчал:

— Строй сломали, некоторые олухи и пистолетов не успели вынуть, как промчались мимо столбов. Худо, полковник, худо!

Вторая рота прошла через рвы и отстрелялась лучше первой, но Барятинский и тут остался недовольным.

— Не умеют идти на приступ в плотном строю. Учи их, Зыков, времени у тебя на это меньше недели!

В этот же день пришло известие от Чубарова: к Тетюшам подошли три больших струга. На одном были воинские припасы, а на двух других прибыла пехота, стрелецкий приказ полного состава.

Барятинский поспешил на пристань, где его встретил стрелецкий голова Юдин, который передал ему отписку Чубарова.

— Как там, на Казани, мой Чубаров? — спросил окольный.

— Он у князя Урусова в большом уважении, — ответил стрелецкий голова. — Живёт в воеводской избе, ест и пьёт с кравчим за одним столом.

— Оставь, Юдин, сотню стрельцов на разгрузку струга, а остальных веди к полковнику Зыкову, он укажет тебе место, где ты разобьёшь свой стан.

Скоро пришёл капитан Зверев с полусотней телег, которые он собирал у обывателей города. Стрельцы снимали с себя оружие и стали выносить со струга воинские припасы: рогожные кули с порохом, небольшие, удобные для перевозки, свинцовые чушки, лубяные короба с гранатами, железные ядра для полевых пушек россыпью, несколько сот копий для копейной пехоты и большой деревянный ящик, который полагалось открыть только полковому воеводе. Барятинский велел сорвать с него крышку, в ящике оказались три сотни седельных пистолетов шведской работы, смазанные рыбьим жиром и присыпанные мелкой стружкой.

После воинских припасов с грузового струга вынесли много рогожных кулей с толокном и сухарями, коробов с рыбой и выкатили пять больших бочек зелена-вина для укрепления здоровья и воинского духа рейтар и пехоты.

Полковник Чубаров явился в Тетюши 18 сентября 1670 года посуху и привёл с собой полносоставный стрелецкий приказ и

полтысячи рейтар из ближних к Казани нижегородских волостей, которые попрятались от воровских людей близ князя Урусова.

Окольныйчий, построив своих рейтар, встретил Чубарова на воинском стане. Полковник подъехал к князю на дорогом тонконогом жеребце, сияя золочёным с белыми перьями шлемом.

— Вижу, возлюбил тебя князь Пётр Семёнович, раз пожаловал туркменским конём, — усмехнулся Барятинский. — Тебя, Чубаров, нужно отдать в Посольский приказ и отправлять на посылки к иноземцам. Что за слова ты нашёл, чтобы улестить спесивого казанского воеводу?

— Не я, великий государь нашёл такие слова, — сказал полковник. — Он устроил Урусову за его сидение в Казани вдали от вора грозную выволочку и посулил отправить воеводой в Даурию. Но вслед за своей немилостью дал кравчему солдатский полк Трифонова, потому он так легко расстался с двумя стрелецкими приказами, у него их есть ещё два, да ещё несколько тысяч конных татар, которые пребывают к вору Разину в великой ненависти за его бесчинства над Едисанской ордой и бусурманами на Каспии.

— Стало быть, Урусов теперь готов идти на Синбирск? — спросил Барятинский.

— Поспешного выхода чаять не стоит, — сказал Чубаров. — Князь мешкает до крайней возможности и будет в Синбирске через день после того, как ты сокрушишь вора. А посыльщиков к великому государю с известием о победе постарается отправить раньше тебя.

— Что ж, это в его повадках, загребать жар чужими руками, — согласился с полковником окольныйчий. — Объяви начальным людям, что всем полкам, приказам и прочей пехоте быть готовыми к строевому смотру. А сегодня разбери, вместе с Зыковым, всех прибывших рейтар по своим полкам.

Через день войско Барятинского вышло из Тетюшей и отправилось в сторону Синбирска. Окольныйчий имел в строю два полка рейтар и до двух тысяч пехоты. За войском, охраняемый ротой рейтар, двигался обоз и полевые пушки. Сам

полковой воевода находился во главе передового полка рейтар Чубарова, из которого две сотни всадников были отправлены вперёд для проводывания местности. Им было велено хватать всех, кто им попадётся, и решать, как с ними поступать: явным ворам, после жёстких расспросов, рубить головы на месте, а более важных пленных и всех дворян посылать на суд окольничего.

Отойдя тридцать вёрст от Тетюшей, войско, после ночлега, вышло к Свияге, и близ села Куланги к Барятинскому прибежал рейтар из передового охранения и донёс, что на них насила бунтарская ватага крестьян, вооружённых косами, вилами и дубьём, числом тысячи в три душ, которые норовят прижать рейтар к глубокому и крутому оврагу.

Чубаров был рядом, и окольничий велел ему вести полк на воров, и рубить, и стрелять их без всякой жалости. Полковник привстал на стременах, вырвал саблю из ножен и, издав нечленораздельный пронзительный вопль, пустил коня крупной рысью. За ним, на ходу перестраиваясь в боевые ряды, растекаясь в ширину, пошёл рейтарский полк, более тысячи всадников, и подмёрзшая за ночь земля загудела под тысячами конских копыт. Вспугнутая этим гулом с голых вершин берёзового леса снялась громадная стая ворон, и с оглушительным гомоном полетела, как чёрная туча, в сторону Свияги, заслоняя собой тусклое предзимнее солнце. Рейтары Чубарова, бежавшие от Синбирска, и новые, из нижегородцев, были дворянами, и шли вперёд, пылая лютой ненавистью к рабам, которых они считали за говорящий скот, внезапно охваченный бешенством бунта и кинувшийся бодать и топтать своих владельцев.

Ослеплённые яростью крестьяне напёрли на прижатых к краю оврага рейтар передовой роты, и проглядели смерть, которая накатила на них сзади. Рейтары Чубарова выстрелили из пистолетов, взялись за сабли, и началась резня. Мужиков охватил ужас, они кинулись бежать во все стороны, их гнали, рубили и топтали конями. Скоро всё поле возле Куланги было усеяно убитыми, а спасшихся от немедленной смерти ожидала мучительная казнь.

К ним подъехал Барятинский и велел всех казнить расчленением. Полковые палачи опростали из мешковины свои особые широкощёкие топоры и принялись на колодах лишать людей ног, рук и голов. Так казнили шестьдесят семь человек, остальных окольных велел бить до полусмерти палками, чтобы им неповадно было бунтовать в другой раз.

Барятинский убедился, что скоро дойти до Синбирска ему не удастся: на речке Карле на него навалилась тысячная толпа мужиков, и на то, чтобы с ней расправиться, ушёл целый день. Из-за боя случилась большая задержка возле села Кырсадаки. Затем рейтарам пришлось разгонять и казнить бунтовщиков у села Старые Маклауши.

Точных известий о судьбе Синбирска у Барятинского не было. Пойманные воры рассказывали небылицы и всякий раз другие, и окольных не мог понять, что там происходит на самом деле, пока близ Тагая, уже на засечной черте, к нему не привели человека, объявившего себя поручиком Надёжой Кезоминым. Барятинский недоверчиво на него посмотрел, но прищелец выпростал из холопской одёжки свиток грамоты и подал её полковому воеводе.

— Ты когда ушёл из Синбирска? — спросил, прочитав письмо Милославского, окольных.

— Позапрошлой ночью, — ответил Кезомин. — Воевода сам меня отправлял и велел передать тебе, князь, чтобы ты поспешал на выручку града.

— Стало быть, припёк вор князя Ивана! — сказал окольных. — Говорил я ему, чтобы дал мне солдатский полк, и тогда бы не было осадного сидения, а вора давно бы схватили и отправили в Москву... Как Синбирск?

— Худо. Воры взгромодили на Казанской стороне вровень с пряслом земляной вал, мечут с него беспрестанно огонь, по несколько раз в день идут на приступ. Синбиряне изнемогли от постоянных боёв, многие убиты, втрое больше пораненных, а Стенька своих людей не считает, мужики к нему валом валят и конца их приходу не видно.

— Сколько же сейчас у вора людей? — спросил окольных.

— Как бы не обнести тебя, князь, неправдой, — подумав, сказал Кезомин. — Скажу, тысяч с двадцать, а сегодня вдруг к вору привалит толпа в пять тысяч мужиков, а может и поболе.

— Добро, пусть будет так, — окольный позвал своего денщика. — Дай поручику коня и оружие. Сегодня войско заночует в Тагае, а завтра я поведу его на Синбирск.

Острог Тагай на черте встретил государево войско молчанием. Рейтары обшарили избы и выгнали из них несколько жёнок и два десятка малых ребят.

— Где ваши мужья? — спросил Барятинский испуганных жёнок, но те лишь беспрестанно кланялись и закрывали собой ребятишек.

— Известно где, — сказал, наезжая на жёнок, капитан Зверев. — Все поголовно ушли к вору. Отвечайте, или я вас попотчую плетью!

Жёнки, обливаясь слезами, завывали, окольный развернул коня и поехал к избе, приготовленной ему для ночлега.

Ранним утром войско отправилось по засечной черте к Синбирску и близко к вечеру достигло берега Свияги, за которой круто поднималась Синбирская гора. Самой крепости от Свияги не было видно, но небо над вершиной горы было задымлено пожарищами. Неожданное появление рейтар Барятинского смело воровских людей с левого берега реки, и Конная слобода была пуста.

Рейтарские полковники и стрелецкие головы собрались вокруг окольного и ждали его распоряжений. Они знали, что не позднее, чем завтра им предстоит сразиться со злодеем не на жизнь, а на смерть, и победа в этой схватке во многом зависела не только от храбрости и боевого опыта рейтар и стрельцов, но и от того, как будет ими распоряжаться полковой воевода. Начальные люди верили в своего окольного, но не догадывались, что того томила неуверенность в исходе сражения, князь ещё не изжил в себе унижающее его чувство позора, которое он испытал, спасаясь бегством от вора. Но вместе с тем Стенька научил Барятинского осторожности, и она склонила его принять разумное решение.

— Будем ждать вора здесь. Ему уже ведомо, что мы пришли, это его распалит, и завтра с утра он кинется на нас всей своей мощью. Тебе, Чубаров, я поручаю сохранность обоза. Отведи его на полторы версты от берега и не спускай с него глаз. Голова Юдин, видишь те ракитовые кусты? Схоронишься в них с одним приказом и пушечным нарядом. Остальные стрельцы и другая пехота встанут в полуверсте от берега. Когда воры перелезут через Свиягу и кинутся на них, пехота, держа строй, наведёт их на пушки. Добивать воровских людишек будут рейтары.

С правого берега Свияги за Барятинским наблюдал черкас Очерет. Появление государева войска его огорчило: завтра, по уговору с Разиным, он намеревался отойти от Синбирска и следовать с оставшимися у него казаками в милые его сердцу Запороги. «Не отпустит меня, Стенька, — сокрушался Очерет. — А уйти от него убёгом будет не по-товарищески».

К нему подошёл мужицкий атаман, чья ватага с дубьём и вилами в руках сторожила правый берег Свияги.

— Велишь разломать мосты, есаул? По ним рейтары могут перелезть на нашу сторону, и мы их не удержим. Мои ребята вмиг порушат мостовые плети.

— Не позволяю! — строго промолвил Очерет. — Мосты ни в коем разе не ломай и крепко их сторожи. Даст Бог, в башку Юшки Барятинского затмение найдет, и он кинется к пряслам. Там-то мы его и встретим. А бить его нам не впервой.

Черкас развернул коня и поехал в гору. Мимо шли казаки, которых Разин послал присматривать за Барятинским, и Очерет им тоже крепко наказал беречь мосты, которые мужики, по дурости, могли порушить. От крепости доносилась пушечная и пищальная пальба, Крымское прясло и вал были окутаны дымом, сквозь который прорывались всполохи огня. Приход Барятинского расшевелил Разина, и он повёл казаков и мужиков на очередной приступ, смутно надеясь, что в этот раз ему удастся сломать ослабевающее с каждым днём сопротивление синбирян. Мужики с топорами и копьями дуром пёрли на пищальные пули и пушечный дроб, и десятками валились с мостов замертво. Их вела на верную гибель не осмысленная

отвага бывалых воинов, а озлобленная обречённость людей, загнанных бунтом в тупик, из которого не было выхода, кроме смерти.

Когда Очерет подъехал к крепости, приступ уже был отбит, и Разин стоял возле своего шатра, оттирая мокрой тряпкой лицо и руки от чужой крови.

— Что, видел Юшку? — спросил атаман, опалив черкаса ещё неостывшим от боя огненным взглядом. — Много ли он рейтар за собой привёл?

— Рейтар много больше, чем в прошлый раз, но у него теперь есть и стрелецкая пехота.

— Вот и добро, что все вместе явились, — усмехнулся Разин. — Не надо будет за ними гоняться. Поутру всех сразу и побьём. Или ты в смущении?

— Бой покажет, — сказал Очерет. — А ведь завтра день Покрова...

— Ну и что с того? Или Пресвятая Богородица теперь Юшкина заступница? Я, Остап, крепко помню, что в этот день ты обещал меня покинуть. Что ж, иди в свои Запороги, хоть сейчас, я тебя не держу.

— За что ты, Степан, меня укорил? — сердито произнес Очерет. — Я товарищей не бросаю. Схожу завтра с тобой на рейтар и уйду своим путём.

— А я знал, что ты меня не покинешь, — заметно обрадовался Разин. — Могло бы как раз твоих казаков и не хватить для завтрашнего боя. Сейчас сойдутся есаулы и старые казаки, надо размыслить, как взять Юшку за горло.

* * *

В утро Покрова Пресвятой Богородицы разинское войско зашевелилось и зашумело много раньше, чем в прежние дни. Сторожа на городских пряслах с тревогой смотрели, как вокруг крепости, разгоняя потёмки, запылало множество костров, заржали и зафыркали кони, задвигались толпы воровских людей, из острога, освещённого многими огнями, выехали

полевые пушки, и большая часть казаков и мужиков стала по нескольким дорогам стекаться в Свяжское подгорье.

Старший в эту ночь над сторожами капитан Мигунов, почесав в раздумье и смущении затылок, всё же решил разбудить своего полковника и донести ему об уходе воровских людей от стен града. Зотов, позёвывая, выслушал капитана, выругался и встряхнулся.

— Не умыслил ли вор какой каверзы? — сказал он. — Иди, Мигунов, на прясла и зри за всем, что делается вокруг. А я извещу воеводу.

Скоро облачившись в кафтан, полковник вышел из своей комнаты и крикнул: дух солдатской избы был так крепок и жгуч, что у него запершило в горле. В большой горнице спало больше сотни солдат, и в ней было не только душно, но и жарко. Зотов издали трижды перекрестился на помаргивающий перед образом Спасителя свет лампы и, стараясь не потревожить спящих людей, вышел наружу. Было ещё темно, но дорогу до воеводской избы полковник нашёл бы и с закрытыми глазами. Проходя возле соборной церкви, он увидел, что возле неё уже стоят люди, скоро должна была начаться утренняя.

Князь Милославский уже опростался от жарких объятий своей девки-душегрейки и прохлаждался на крыльце в накинута на плечи шубе.

— Что явился ни свет, ни заря? — спросил он. — Если с праздником поздравить, то рано. Приходи за полдень на уху и пироги с молитвой.

— Стенька задумал явно недоброе, — донёс Зотов. — С большой частью своих людей он ушёл к Свяге. Как думаешь, Иван Богданович, к чему бы это?

— Вот это вести! — встрепенулся князь и быстро засунул руки в рукава шубы. — Поспешим на свяжское прясло!

— А что мы с него увидим? — охладил воеводу полковник. — Ещё темно.

— Не скажи, — князь поднял голову. — Уже засветлело. А с прясла мы, может, и ничего не увидим, но услышим. По лёгкому морозцу далеко слышать.

Небо за Волгой, и вправду, начало светлеть, звёзды притушилились, но над Свягой было ещё непроглядно темно. Зотов и Милославский стояли на верхнем мосту прясла и, обратившись в слух, ждали, что из Свяжского подгорья донесётся до них хоть какой-нибудь звук. И дождались. Издалека до них докатились глухие, едва слышные удары полковых тулумбасов: «Бум! Бум! Бум!»

— Это Барятинский! — воскликнул Милославский. — Пришёл-таки окольный на выручку Синбирска! Молись, Глеб Иванович, чтобы Бог был на его стороне, и вор нашёл свою погибель!

Полковник лучше Милославского понимал, какое тяжёлое испытание предстоит вынести войску окольного.

— Князь строит полки, — промолвил он. — Но пока ни он, ни Стенька друг друга не видят.

Полковник угадал: разинское войско по трём наплавным мостам переходило через Свягу, совсем не видя государевых воинских людей. Из туманных сумерек до них лишь доносились гулкие удары тулумбасов. Сберегая казаков, Разин пустил вперёд мужиков и они, притопив мосты своей тяжестью, бесстрашно шли на левый берег, черпая лаптями студёную воду и крепко сжимая в руках оружие. Мосты устояли на плаву, и по ним пошли казаки, которые вели своих коней в поводу, а рейтарские тулумбасы продолжали сотрясать воздух, призывая к битве.

Одно войско стояло против другого, и все ждали, пока развиднеется. Но вот тьма начала понемногу рассеиваться, и Разин, сопровождаемый Бумбой, выехал вперёд мужицких толп, которые чёрными роями клубились вокруг своих атаманов. Почти ни у кого из этих людей Степан Тимофеевич не знал имени. За месяц осады перед ним прошли десятки крестьянских вожakov, и он не мог их всех упомянуть, но все они боготворили Разина. И сейчас, медленно проезжая перед ними, он вызывал в людях такое неудержимое ликование, что никто не мог удержаться, чтобы не завопить во всё горло, приветствуя великого атамана всея гулевой Руси.

Объехав мужицкие ватаги и взбодлив их своим появлением, Разин вернулся к есаулам, которые стояли впереди казаков. Все притихли, и атаман понял, что от него ждут слова.

— Сегодня наш день, побратимы! — вскричал, обращаясь ко всему казачьему войску, Степан Тимофеевич. — Побьём Юшку Барятинского, и Синбирск будет наш, и Нижний Новгород! На рейтар идите, когда они растратят пули на пехоту, а в сабельном сражении рейтар казаку не соперник. Встретим рейтар пищальным боем и сразу навалимся на них со всех сторон. Знайте, что я буду с вами с начала и до конца сечи!

Когда Разин закончил речь и вложил свою дамаской выделки саблю в ножны, Фрол недовольно произнёс:

— Не атаманское это дело, Степан, рубиться наравне с простыми казаками. Не дай Бог, случится с тобой худо, и войско останется без головы.

— Не накаркивай беду, Фролка! — отмахнулся от предостережения брата Степан Тимофеевич. — Дай и мне повеселиться боем, всем нутром чую, что сегодня мой день.

Разин сказал правду, он и на самом деле предчувствовал, что сегодня с ним случится такое, что бесповоротно переломит его судьбу. Устав томиться неизвестностью своего будущего, бесповоротно покинутый своим покровителем Гориным, атаман решил поставить на кон сражения собственную жизнь.

— Если со мной в бою случится лихо, то вашим атаманом пусть будет Корень.

И дивно, что есаулы не возразили своему предводителю, а лишь потупились и завздохали. Им показалось, что он сказал это не зря. Многие из них уже замечали, что Разин стал чудить больше обычного и задумываться, а это по воровскому и казачьему поверью не сулило ему добра.

Внезапно удары боевых барабанов смолкли. Государево войско построилось в ряды, и князь Барятинский в мгlistых утренних сумерках стал объезжать пехоту. Приказ стрельцов и с полтысячи безлошадных дворян стояли в пятнадцать рядов в версте от Свяги. Вооружённая бердышами и пищальями, пехота выглядела грозной силой, но опытный воевода знал, что люди

не выпались и замёрзли. Ещё он сомневался, что они выполняют задуманный им отход к пушечной засаде.

— Все ли стрельцы и дворяне знают, что им надлежит делать? — спросил Барятинский стрелецкого голову.

— Твоё повеление, князь, доведено до каждого полуголовы, сотника, полусотника и десятника, — ответил Юдин. — Но есть нужда в том, чтобы было кому их опаматовать, если у стрельцов и дворян от страха помутится разум.

— Дельно мыслишь, — сказал Барятинский и оборотился к сопровождавшему его полковнику Зыкову. — Поставь роту рейтар, чтобы они охолодили пехоту, коли она побежит. Но не саблями, а плетями!

Когда окольный подъехал к полку Чубарова, уже развиднелось. Рейтары сидели на боевых конях, все в ратной сбруе, железные нагрудники и шапки поблёскивали от осевшей на них туманной мороси. Рейтары выглядели свежее пехоты: они выпались рядом со своими конями, где им было тепло и покойно, и теперь, каждый со своей думой, ждали начала сечи.

— На мужиков, Андрей, не лезь, — сказал князь своему любимцу Чубарову, — зря растратишь на них пули, а вор только этого и поджидает. Враз навалится на тебя казачьим войском.

— Я уже учён Стенькой и его повадки ведаю.

— Зыков, ты пойдёшь вслед за Чубаровым, — распорядился Барятинский. — И глядите в оба за воров, у него привычка лезть в сечу. Будет такая удача, возьмите его живым, достанете только голову, бранить не стану.

От полка Чубарова окольный отъехал на невысокий взгорок, где два знаменщика держали полковые знамёна, стояли тулумбасы и находились с десятков рейтар, которых князь мог использовать на посылки в полки и приказы. Солнце ещё не вылезло из-за Синбирской горы, но было уже светло, и Барятинскому стали хорошо видны великие мужицкие толпы, затопившие берег Свияги. Они его ничуть не уstraшили, он высматривал казаков и, наконец, увидел их за большими осокорями у самого края воды, сбившихся в плотные ряды, на своих неказистых, но крепких конях.

Разин не спешил начинать битву, и князь решил его поторопить: велел недолго пробить в тулумбасы. Боевые барабаны пробудили Стеньку, он увидел своего кровного врага, сидящего на коне под сенью полковых знамён, и возжёлся яростью. По мановению атамана мужицкие ватаги ошетились косами и копьями и медленно стали двигаться на государеву пехоту. Врагов отделяли друг от друга сначала с полверсты, потом счёт пошёл на сотни сажений. Стрельцы и дворяне спешно готовились к пищальному бою: первый ряд встал на одно колено, второй целился стоя, пехота из третьего ряда заполнила промежутки между строями и тоже была готова открыть прицельный огонь.

Мужики ещё не знали силы кучного пищального боя и пёрли на пехоту с удалью, как будто спешили сразиться с ней на кулачках. Загремели выстрелы, извергая из пищалей клубы дыма. Передние ряды мужицких ватаг были выбиты, но живые не дрогнули и, переступая через павших, вонзили свои косы и копья в передние ряды пехоты. Теперь солоно пришлось стрельцам и дворянам, мужики их резали и кололи, но больше сваливали на землю и затапывали насмерть. Рёв обезумевших от ярости людей, вопли ужаса поверженных и стоны раненых от поля сражения докатились до прясел осаждённого града, и Милославский приказал бить во все колокола, чтобы дать знать Барятинскому, что синбиряне живы и ждут от него скорого к ним прихода.

Когда мужики истребили первые ряды пехоты, стрельцы и дворяне стали отходить, но их враги в них так крепко вцепились, что, отступая, они вынуждены были биться изо всех сил. Пушечная засада была уже близка. И капитану рейтар показалось, что пехота вот-вот побежит, он собрался напустить на неё рейтар, но стрельцы и дворяне устояли. Сражаясь, они продолжали медленно отступать, и бледный от волнения стрелецкий голова Юдин с трудом сдерживался, чтобы не начать до времени пушечную пальбу.

Кроме пушек у Юдина была сотня стрельцов с мушкетами, и все они, установив своё оружие на сошки, ждали своего часа, как и приказ стрельцов, нацеливших пищали на уже близкое

мужицкое войско, за которым, привстав на стременах, наблюдал весьма довольный ходом сражения князь Барятинский.

Степану Тимофеевичу свалка пехоты с мужиками была нелюбопытна, и в сторону боя он не смотрел. Он знал, что исход сражения решится в сечи рейтар и казаков, и для того, чтобы он оказался в его пользу, из перешедших по мостам новых мужицких ватаг строил перед казачьим войском заслон, который должен был ослабить первый, самый опасный натиск рейтар. Мужицкие атаманы, радостные, что над ними начальствует сам Степан Тимофеевич, ставили своих людей живым щитом перед казаками.



Осада Синбирска

Неожиданно для разинцев раздались пушечные, мушкетные и пищальные залпы из засады, которые сразу выбили сотни мужиков, а на оставшихся в живых ударили стрельцы Юдина и воспрянувшая духом пехота. Но и после многих потерь ватаги были ещё многочисленными, они отходили к реке, но ожесточённо сопротивлялись и не утратили воли к победе.

Князь Барятинский, довольный удачным исполнением своей засадной хитрости, решил, что пришло время двинуть вперёд рейтар и, приблизившись к полкам, громко возвестил:

— Пожалую сто рублей тому, кто доставит мне вора живым или мёртвым!

Сто рублей были великим богатством, и рейтары встретили слова окольного радостным и оглушительным воплем. Многие из них возмечтали встретиться и сойтись в рукопашной с самим Разиным. Часто и громко начали бить тулумбасы, и тысяча облачённых в железо рейтар чубаровского полка пошли на казачье войско неторопливой и мерной рысью. За ними, чуть забирая вправо, двинулись рейтары полковника Зыкова. Половина его полка были новики, из дворян, найденных в Тетюшах, которые особо горячо жаждали крови воровских казаков.

Разина грозный вид устремившегося на него государева войска не смутил, и он скорым шагом двинул им навстречу мужиков, а казаки пошли за ним следом, первыми своими двумя рядами растекаясь в ширину, чтобы все они разом смогли, не мешая друг другу, встретить рейтар выстрелами из длинноствольных пищалей. Мужичий заслон на какое-то время сумел сберечь казаков от удара рейтар, которым пришлось пробиваться к ним через косы и копы ватажников, расчищая себе дорогу пулями и саблями, и лобового столкновения не случилось. Но скоро казаки и рейтары перемешались друг с другом, и бой стал множеством поединков без правил, в которых побеждал не сильнейший, а тот, кого берегли судьба и слёзные молитвы родных и близких.

Отчаянный Очерет со своими черкасами врубился в полк Зыкова с такой силой, что сумел оторвать от него сотни четыре рейтар, которые смешали ряды, но устояли и, выхватив из седельных кобур пистолеты, смогли выстрелить в казаков и многих побили, но павшие будто оставили силу живым, и в сабельных схватках запорожцы чаще брали верх над рейтарами, и скоро Зыков стал оглядываться на окольного, ожидая от него подмоги.

Под началом есаула Корня была тысяча казаков, они сшиблись с полком Чубарова, и оба войска увязли друг в друге. Люди не только рубились на саблях, но часто сходились так близко, что могли грызть друг друга зубами. Бой шёл по всему

полю, всадники топтали пехоту, но пешие воины и мужики также наносили им немало вреда, и уже много коней, потеряв своих хозяев, метались по полю ещё невиданной на Руси битвы между голытьбой и дворянами.

Государево войско полным своим составом вступило в сражение, и князь Бярятинский с невысокого взгорка взирал на кровавую сечу, тоскуя, что у него не осталось в запасе воинских людей, которыми он смог бы усилить свои полки. Исход сражения был далеко не ясен, сошлись сила на силу, и победить должен был тот, чей воинский дух и воля к победе будут решительнее и твёрже.

Среди рейтар было немало бесшабашных удальцов, возжаждавших завладеть сторублёвой головой атамана, и Разину не приходилось искать себе поединщиков. Не успевал он снести саблей голову или разрубить на части одного рейтара, как тут же перед ним вздыбливал своего коня другой, но и этот, как и следующий, не становился помехой на победном пути атамана. Рядом с ним рубились свирепый Бумба, брат Фрол и верные казаки-одностаничники.

Степан Тимофеевич уже побил многих рейтар, когда на него пошёл могучий алатырский дворянин Семён Степанов. Он сумел сохранить заряженным один пистолет и выстрелил в атамана, не дойдя до него несколько шагов. Тяжёлая пуля ударила Разина в грудь и сшибла его с коня. Степанов, спеша завладеть богатой добычей, упал на него сверху и стал вязать ему руки, но верный Бумба пронзил рейтара своей калмыцкой пикой и тут же, пал с разрубленной головой на залитую кровью землю.

Над телом поверженного атамана закипела кровавая сеча. Рейтары рвались уволочь его к себе, но казаки рубились за Разина с такой неистовой мощью, что скоро в полку Чубарова не осталось ни одного храбреца, кто бы посмел к ним приблизиться. Фрол кинулся к брату и прижался ухом у его груди.

— Жив! — радостно вскрикнул он.

Казаки подхватили атамана и понесли его на руках. Никто не посмел встать у них на пути.

Степан Тимофеевич был крепко ранен, но над полем сражения разгулялась другая, чёрная весть, что атаман погиб, и это известие так поразило казаков и мужиков, что они сразу почувствовали, как у них стали убывать силы. Нашли свою смерть Очерет, Однозуб и многие старые казаки. Но был жив Корень.

— Надо держать рейтар, пока атамана не унесут за реку! — крикнул он своим казакам, и его люди встали на пути рвавшихся к Свияге дворян. Кровавая сеча закипела с новой силой. Бярятинский, успевший возрадоваться вести о гибели вора Стеньки, решил, что войску пора его видеть и поспешил к пехоте, которая не преследовала отступавшие мужицкие ватаги, чтобы её подбодрить своим грозным словом.

Степан Тимофеевич лежал на траве, и над ним склонился лекарь Нефёд.

— Поспешай, старый! — торопил его Фрол.

Нефёд завязал узел повязки, отрезал ножом концы.

— Берите его на руки, — сказал он казакам. — И с великим бережением несите в острог.

Тяжёлая плеть окольного прогулялась по спинам стрельцов и дворянской пехоты, они взбодрились и кинулись в бой. Почувствовав поддержку, усилили натиск рейтары, и бунташное войско обратилось в бегство. Казаки успели на своих быстрых конях занять мосты и без потерь перешли на другой берег. Следом за ними кинулись мужики, на мостах началась давка. Брёвновые плети под тяжестью людей стали тонуть и разрываться между собой, люди оказались в студёной воде и многие утонули. На оставшихся на левом берегу мужиков накинудсь рейтары и истребили всех, кто там был, кроме тех, кто бросился в реку. Но немногие мужики смогли преодолеть Свиягу вплавь и добраться до правого берега.

Бярятинский был не в силах преследовать разбитое бунташное войско: рейтары и пехота понесли тяжёлые потери, выбились из сил, людей нужно было накормить и дать им время на отдых, чтобы они окрепли и воспряли духом. Окольный велел начальным людям дать ему сведения о потерях, и вскоре ему доложили, что убито и ранено более тысячи рейтар и

пехоты, и государево войско убавилось почти на четверть своего личного состава.

Это известие повергло Барятинского в глубокое раздумье. Бывалый воевода колебался, как ему поступить: спешить на выручку осаждённым синбирянам или, огородившись обозом, стоять на месте и ждать князя Урусова с его войском. Эти сомнения разрешил внезапно донёсшийся до окольного звон колоколов: Милославский опять подавал ему знак, чтобы он шёл освобождать крепость от осады.

В обозе про голодное войско не забыли, уже с утра для людей было готово толокно, в коробах лежали нарезанные ломти хлеба и связки вяленой рыбы. Всё это на телегах доставили в полки и приказы. Рейтары и стрельцы ждали, что князь пожалует всех победной чарой зелена-вина, но бочек на телегах не было, и людям пришлось есть всухомятку, а жаждающие могли смочить глотки свияжской водой.

Окольный велел рейтарам кормить и обихаживать коней, а две сотни стрельцов повёл к реке на восстановление разорванных наплавных мостов. На другом берегу было пусто, воры бежали так резво, что даже забыли поставить против государева войска боевой заслон. Окольный поторапливал людей и через пять часов из пойманных в воде брёвновых плетей был переброшен через реку широкий и прочный мост, по которому воевода тотчас перевёл в Свияжское подгорье пехоту и все пушки. Это дело заняло много времени, и рейтары начали переходить Свиягу, когда дневной свет стал меркнуть, а на склоне горы за речкой Синбиркой появились воровские ватаги.

Есаул Корень не забывал о своём атаманстве, но ему пришлось потратить много времени и сил, чтобы привести казаков в боевое состояние духа. Этому помогло известие, что Разин жив, и донские люди воспылали жаждой отмщения. Корню некогда было их пересчитывать по головам, на взгляд он определил, что казаков у него осталось не более тысячи, а мужиков было убито несчётно, но всё равно их оставалось в достатке, чтобы держать крепость в крепкой осаде.

Есаулу донесли, что Барятинский перешёл Свиягу с рейтарами и пехотой и идёт на Синбирскую гору. Корню стало

понятно, что окольный решил разметать осаду вокруг крепости, и он с казаками и тысячной ватагой мужиков собрался встретить его на берегу Синбирки.

Барятинский думал, что вору, по своей навывчке, кинутся на него первыми, и велел, зарядив пушки свинцовым дробом, ждать приступа. Однако бунташное воинство не спешило идти на пули и копья, а князя пугало близкое наступление темноты, и он пустил вперёд пехоту. Подтащив пушки впотьмах к реке, стрельцы окатили разинцев свинцовым дробом и пулями, а затем стали переходить Синбирку вброд. Мужики ждали их на своём берегу, казаки выстрелили из пищалей, и началась отчаянная сеча.

Пехота сцепилась с мужиками намертво, бой шёл в воде и на берегу, и конца ему не предвиделось. Тогда Барятинский сам повёл полк Зыкова стороной от места схватки через речку. Рейтары в три скока преодолели Синбирку и, разрядив в замешкавшихся казаков пистолеты, взялись за сабли. Звуки боя достигли крепости, и Милославский велел открыть уже освобождённые от рогожных кулей ворота. Полковник Зотов повёл за собой пятьсот солдат и двести копейщиков своего полка.

Первыми появление солдат заметили казаки и бросились от них в сторону. Пехота усилила натиск, прорвалась на берег Синбирки, и мужики побежали от неё врассыпную. Бывалый Зотов остановил солдат и велел разжечь смольё, чтобы обозначить себя в темноте и избежать стычек с людьми Барятинского. Это помогло рейтарам и пехоте выйти на синбирян. Вскоре, следом за ними, явился и окольный. В схватке с казаками ему не повезло: его сшибли с лошади, и сейчас замаранный грязью князь зло топорщил рыжую бороду.

— Я, кажется, поспел вовремя? — спросил полковник Зотов.

— Хорош, выручалыщик! — заскрипел зубами окольный.

— Засел с князем Иваном в рубленном городе и весь день поглядывал, как я с ворами барахтаюсь!

— Надо поспешать, князь, — хладнокровно сказал полковник. — Ночь ворами не помеха, как бы они не переняли нас у крепостных ворот.

— Так что ты медлишь? — продолжал горячиться окольный. — Я же не повис на тебе и не держу!

Сотню солдат полковник пустил вперёд, а с остальными прикрывал рейтар и пехоту сзади. Их продвижению разинцы не чинили препятствий, и вскоре люди Барятинского и солдаты были в крепости, где их, не скрывая радости, встретили истомлённые осадой синбиряне.

Воротник Федька Трофимов закрыл последний дубовый засов на воротах, и солдаты начали заставлять их рогожными кулями с мукой и солью. С приходом Барятинского осада не закончилась, сила мужицкого войска не истощилась людскими потерями: сразу же, вслед за Барятинским, в Синбирск явился атаман Мурза Кайко с десятью тысячами злых в сече мордовцев и чувашей.

— Я получил от великого атамана Степана Тимофеевича весть, что мои люди ему нужны для битвы с князем Барятинским, — объявил Мурза Кайко.

— Ты опоздал, атаман, — сказал есаул Корень. — Степан Тимофеевич ранен и лежит без памяти в острожной башне.

— Я уже слышал об этом, но не верил, что случилось такое горе. Проведи меня к нему, есаул, я должен его видеть. Моё войско будет знать, что великий атаман жив, это взбодрит людей на битву.

Разин лежал на лавке, у его изголовья горели две восковые свечи. Спешно найденный среди гуляющих людей убежный по клал перед иконой Святой Живоначальной Троицы поясные поклоны и молился за здоровье атамана. Мурза Кайко был язычником, но склонил перед святым образом голову, что-то пробормотал на своём языке и подошёл к Разину.

— Я явился по твоему слову, великий атаман! — отчётливо произнёс Мурза Кайко.

Степан Тимофеевич открыл глаза, приподнял голову и схватил мужицкого атамана за руку. К раненому поспешил лекарь Нефёд.

— Ступайте отсель, — сказал он Корню. — Его нельзя тревожить.

Выйдя из башни, Мурза Кайко удивил и обрадовал есаула своим предсказанием:

— Великий атаман будет жить! Он так крепко сдавил мою руку, что я чуть не вскрикнул.

— Дай-то бы Бог! — Корень впервые за долгое время осенил себя крестным знаменем. — Ты Мурза Кайко явился как раз вовремя. Как вооружены твои люди?

— По мордовским и чувашским местам объявили указ о запрещении ковать железо, но мы его не слышали. И каждый мой воин имеет копье с железным наконечником и топор. Завтра я обложу своими людьми крепость, а вечером пойду на приступ.

В тёмный предутренний час из ворот острога вышли два десятка казаков. Четверо вели за собой в поводу навьюченных коней, остальные, сменяя друг друга, несли носилки, на которых, погружённый в беспмятство, возлежал Разин. Обходя сторожевые костры, они спустились в подгорье, к пристани, возле которой стоял готовый к отплытию струг. Казаки внесли на него и поставили на корме носилки, втащили тяжёлые вьюки, и есаул Корень поторопил кормщика:

— Отчаливай, Лучка! — сказал он, сходя со струга. — Прощай, Фрол! Жди меня с казаками на Дону.

Казаки вёслами оттолкнулись от пристани и стали выгребать по протоке на коренную Волгу, где над стругом взметнулся парус, и он устремился к Царицыну.

Разин заметался на носилках и заскрипел зубами. Лекарь Нефёд кинулся к нему и, удерживая, стал сухой тряпичей оттирать со лба пот.

— Что, тяжело тебе, Степанушка? — участливо промолвил он. — Потерпи... Не может быть того, чтобы такой могутной казачище не одолел смерть.

Лекарь невольно угадал: атамана терзала не пулевая рана, а душевная мука. Он видел себя возлежащим на ковровых подушках в просторном и светлом шатре, где перед ним из воздуха вдруг соткалась прекрасная златовласая дева в полупрозрачном шёлковом одеянии.

— Ты кто? — с трудом ворочая пересохшим языком, спросил Разин.

— Разве ты меня не знаешь? — улыбнулась дева. — Я получила от тебя столь богатый подарок, что не могла не явиться.

Степан Тимофеевич потянулся к красавице, схватил её за руку, и его насквозь ожгло ледяным ознобом.

— Стало быть, ты и есть моя смерть, — промолвил, окаменев лицом, атаман. — Вот ты какая...

— Беда с вами, людьми, — нахмурилась дева. — Придумали, что я костлявая старуха, да ещё и с косой. А я всего лишь открываю человеку дверь в его новую лучшую жизнь. Но для тебя ещё не настал час переступить через мой порог.

— Так что ж меня ещё ждёт? — встрепенулся Степан Тимофеевич.

Дева взмахнула рукавом шёлкового одеяния, и перед Разиным явился резной столец, на котором, дымясь, стояла золотая чаша.

— Испей, атаман, и всё тебе станет ведомо.

Степан Тимофеевич обеими руками взял чашу и жадно приник к ней пересохшими губами. Сначала питьё приятно охладило его нутро, затем стало сладковато-тёплым и приобрело вкус крови. Разин, с трудом сдержав тошноту, заглянул в чашу и зажмурился.

— Ужели ты ослаб духом, атаман? — промолвила дева. — Ты хотел знать свой последний час, так узри его!

Степан Тимофеевич с трудом разлепил очи, и его взору открылась огромная площадь, заполненная московским простонародьем, устремившим свои взгляды к большому помосту, на который всходил он сам, Разин. Сутулый и длиннорукий палач разорвал на нём рубаху и опрокинул навзничь. Сверкнуло лезвие топора, и скоро атаман был расчленен, а затем обезглавлен.

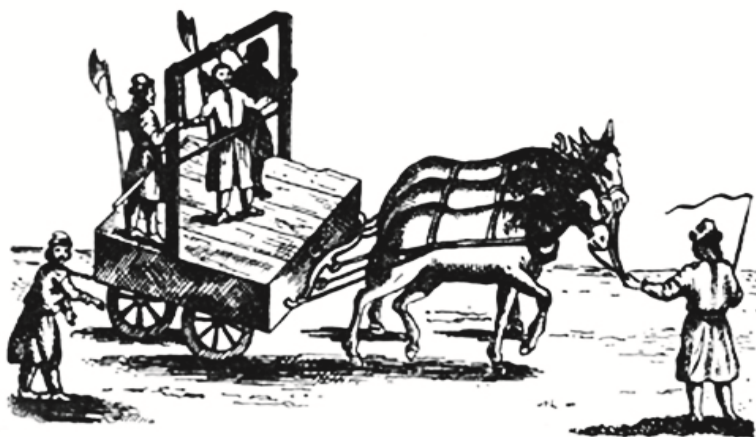
— Мне Гориныч такую страшную смерть не сулил! — встрепетал, опрокидываясь на ковровые подушки, Разин.

— А что же тебе насулил Гориныч? — спросила дева.

— Великую славу, — прошептал атаман.

— Эх, Степан Тимофеевич! — воскликнула дева-смерть. — Не обманул тебя Гориныч, а уважил. С лобного места тебя узрит

вся Великая Русь, и в народном мнении ты обретёшь такую великую славу, какой ни у кого не было и не будет!



Степана Разина везут на казнь

Оказ про осаду Синбирска Степаном Разиным

-I-

Русь была некрепка.
И казак Стенька Разин
Поманил голытьбу
На удачу и риск.
И свирепого бунта пошли метастазы
На Москву,
Но запнулись о верный Синбирск.

Город был возведён
Как форпост на востоке,
От набегов разбойничьих
Стража и крепь.
Он стоял на обрыве,
Крутом и высоком,
И сторожко глядел
На немирную степь.

Стенька Разин поджѣг
Русь святую низовий.
Пал Царицын,
Саратов, Самара — вослед.
И дохнуло пожаром и запахом крови
На Синбирск,
И крутым приближением бед.

— Вор у стен, —
Доносил государю
Князь Барятинский, —
Выжжен посад.
Сдан стрельцами острог,
Но снесём эту кару,

Уповаю на русского Бога
И на строй иноземный солдат.

Но Господь не помог.
И бежал по Казанской дороге
Князь, и с ним недобитая рать.
На казацком кругу,
Заседавшем в остроге,
Решено было —
крепость Синбирскую брать.

А пока
Распустил Стенька Разин загоны
По округе,
Чтоб гнёзда дворянские жгли,
И казацки повсюду вводили законы,
И рабов обращали
В свободных хозяев земли.

И стекались к Синбирску
Несметные толпы.
И кипели, как пьяная брага,
От хмеля и зла.
Казаки, бурлаки, бобыли и холопы...
Жажда мести кровавой и воли
Их на приступ вела.

-II-

Целый месяц Синбирск
В круговой был осаде.
Но не дрогнул державный
Двуглавый орёл.
Под Казанью Барятинский крепкие рати
Сколотил
И на войско мужичье повёл.
И октябрьским утром

Сошлись они в пойме Свияги,
Где клубился в кустах тальниковых туман.
И врубались
В ряды царских воев казаки,
Впереди — на гнедом жеребце атаман.

Мужичьё накатило
С дубинами, с вилами...
И всю пойму накрыл
Лязг железный и рёв.
Рабья Русь и дворянская
Мерились силами.
И ручьями стекала в Свиягу
Горячая кровь.

Вопли ужаса, стоны
И конские храпы,
Топот толп,
Самопалов и пушек пальба.
И катилось кровавое солнце
На Запад,
Но неведомо было,
Кому улыбнётся судьба.

Заскрипели ворота в кремле.
Из ограды
Осаждённые ринулись
Разинцам в тыл.
И ударили дружно
Стрельцы из засады,
И удар этот участь сраженья решил.

Уцелевшие
К чёлнам в подгорье бежали,
Но немногие к ним
Второпях добрались.
Как снопы,

Казачков побеждённых вязали,
И к земле бородами
Бросали их ниц.

Бунт есть бунт.
Усмиренье не знает пощады.
Только смерть
Тем, кто вольно надеялся жить.
Пробил час неизбежной,
Свирепой расплаты.
За разбойное счастье
Надо жизнью платить.

И всю ночь
Топоры на подгорье стучали
Под луной,
Чей кровавый таращился лик.
И глаголи над Волгой
Рядами вставали,
И качались пеньковые петли на них.

-III-

Восстание повержено,
Разбито.
Горит Синбирск
Под колокольный звон.
Так закатилась
Стенькина планида.
Он, бросив всех,
Бежит на вольный Дон.

Что ранен —
Не казачье оправданье.
Погибшими
Завалены все рвы.
Ещё немало,

Налетев по-враньи,
Накосит смерть народу,
Что травы.

Вокруг него —
Соратников ватага.
И у судьбы —
Для всех готов расчёт.
Их побратали
Вольность и отвага,
А разлучит московский эшафот.

Но кажется,
Что смерть ещё неблизко,
А воля и судьба
Всегда с тобой.
Летит стружок,
И зарево Синбирска,
Как солнце,
Закатилось за горой.

Сияет вечность
Ясной звёздной пылью.
И жизнь — мгновенье
В вековом кругу.
И мыслит Стенька:
— Обрету я крылья,
И снова Русь
С Поволжья подожду!

Она ж темна, Россия,
И слепа...
А дальше так,
Как выпадет судьба!

Указ про то, как царь Пётр Алексеевич в Гинбирске чай гонял

Жили-были синбиряне в полной уверенности, что до бога высоко, до царя далеко. А тут на тебе!..

Заорал на пожарной каланче караульный и десницей на полночь кажет, воеводу кличет, но не на пожар: по Казанскому трактату мчался клуб пыли и по временам из него высовывались то оскаленная конская морда, то копыта, то голова всадника. Караульный заорал ещё пуше, брякнул в чугунную доску. Из воеводской избы выглянул приказной: «Что орёшь, ботало?»

Следом за ним из дверей вылез сам воевода Фёдор Хрущёв, стольник старомосковской выделки. По дедовскому обычаю, он хотел было соснуть после обеда, а тут переполох. Хрущёв неодобрительно глянул на караульного, хотел на него рявкнуть, а тут через покосившиеся ворота влетел всадник, в котором воевода намётанным взглядом сразу распознал сержанта гвардии, коих обычно наряжали на царские посылки. «Беда!» — похолодел Хрущёв, юркнул в избу и поспешно натянул на себя парадный кафтан. Сержант простучал по доскам крыльца подкованными сапогами, вошёл в палату и протянул воеводе кожаный цилиндр с депешей.

— На словах велено добавить: за оплошку при встрече государя Петра Алексеевича спиной ответишь! — гаркнул гвардеец.

Воевода похолодел от ознобного страха, но сметки не утратил.

— Сенька, чёрт! — крикнул он начальнику над приказными. — Немедля господину сержанту гвардии обед из моих запасов, да кувшин романеи распечатай!

Сержант с Сенькой пошли в кормовую избу, а Хрущёв приказал немедленно собрать всех начальствующих в Синбирске и важных особ: капитана гарнизонной команды, приставов соляной и питейной контор, протопопа собора Живоначальной Троицы, важнейших купцов и промышленников. И тотчас в городе сталолюдно и шумно:

приказная шушера, те, кто побойчее на ногу, кинулись в разные концы исполнять воеводский приказ.

Первым прибыл начальник гарнизона капитан Рогачёв, ветеран Полтавы, со своей командой. Солдаты, инвалиды и слабосильные, поднимая пыль, толпой ввалились на площадь перед воеводской избой. Рогачёв вприпрыжку бегал меж них, размахивая ясеновой тростью с железным набалдашником. Заслышав топот и зверские крики капитана, Хрущёв вышел из избы и кисло посмотрел на служивых. Зрелище было жалким и удручающим: мундиры на солдатах сплошь латанные - перелатанные, сапоги разбитые, кой у кого подмётки лыками подвязаны, половина солдат хромые, другая половина однорукие.

— Ать-два! — бодро кричал капитан. — Смотри веселей, ребята!

Воевода махнул рукой, мол, веда прочь от глаз моих и строго спросил капитана:

— А как пушки? Будет государь в крепости или не будет, но в любом разе салютовать надо!

— Все единороги ещё третьего дня речным песком вычищены, порох сухой, — отпартовал Рогачёв. — Государь мне лично награду после Полтавской баталии вручал, — и коснулся набалдашником трости пришитого к мундиру золотому рублю.

— Не подведи, родимый, — сказал воевода. — Поднимайся на крыльцо. Вон соляной с питейным приставы бредут, и отец протопоп волочится, рясой пыль метёт.

Заседали дотемна, пока всё решили. Утром, едва рассвело, Рогачёв с инвалидной сотней солдат спустился в подгорье к пристани, расставил служивых цепью, и они прочесали всю округу, выковыривая из кустов, лодок, притонов всякую шваль и сволочь, которые от ледохода до ледостава отираются в здешних местах, кормясь воровством и случайными прибытками. Выловили полтора десятка срамных девок в глиняных бусах, с натёртыми свёклой щеками, орливых и цапапучих. Весь этот полон Рогачёв загрузил в большие лодки и отправил за Волгу, подальше от государевых очей. На кабак

потратили последний запас охряной краски, выкрасили его снаружи, а крышу промазали дёгтем.

Пристань, полверсты берега вымели метлами, часть её разборонили. Ступай царь-батюшка, как по бархату!

Воевода Хрущёв с утра припожаловал на вороном жеребце, сбруя вся в серебряных бляхах позванивает. На самом воеводе шапка с камчатым верхом и собольей оторочкой, кафтан красный с куньей обшивкой по отвороту и низу, на боку сабелька вострая, а в руке плеть-ногайка. Ею он с оттяжкой врезал грязному забулдыге, что пиялился на кабак, не узнавая его в охряном дворце-игрушке. Солдаты подхватили голь-рвань и утащили в кусты, тот только ногами задрывал.

— Вот вишь! — сокрушался капитан Рогачёв. — Вроде всех из кустов вычесали, ан нет!

Подошли купцы, впереди сам Борис Твердышев, купец и промышленник, рядом Андреев, мельничный боярин, да Ушаков (треть купцов Гостиной сотни Среднего Поволжья в граде Синбирске родовые домовладения имели, и торговлю и промыслы вели не только на Волге, но и в Москве, и новой столице Санкт-Петербурге). Хрущёв окинул их требовательным оком и остался доволен. Видные собой, ни одного замухрышки, одеты в длинные кафтаны из тонкого аглицкого сукна, красные и синие, на ногах добротные сапоги, на головах шапки из дорогой камки.

К Твердышеву подбежал иноходью ухарь-приказчик, подал корзину с крышкой. Купец достал из неё серебряную братину, наполненную золотыми червонцами. Все так и прилипли к ней очами, вот оно какое — сокровище! Хрущёв судорожно сглотнул густую слюну: целых тысяча червонных! Так бы и смотрели, не отрываясь, пока бы с голоду не перемерли, но дозорные, расставленные вдоль берега на сто саженой друг от друга, завопили:

— Идут! Идут!

Из-за мыса белыми птицами вылетели два струга и направились к пристани.

— Маши, воевода! — гаркнул капитан.

— Годи, не к спеху! — буркнул Хрущёв и взял в руки зрительную трубку. На переднем струге стоял, подбоченясь, капитан гвардии. На втором были нагружены лубяные короба и мешки. Струги уткнулись в берег. И закипела работа. Начали стаскивать на берег короба и мешки, распаковывать их, все, включая воеводу, стали у капитана гвардии на посылках. В кабаке затопили печь — воду греть, чуть в стороне царские повара начали живую рыбу разделывать, запыхтел огромный серебряный самовар.

С хозяевами царская челядь не церемонилась, толкалась, ругалась, но Хрущёв и все именитые синбиряне не обращали внимания на поварню, они заворожено смотрели на Волгу, по которой шла армада парусных и гребных судов, наполненных солдатами гвардейских и линейных полков, и среди них царская галера под громадным белым парусом, над которым, на конце мачты, трепетал Андреевский флаг.

Воеводу Хрущёва будто в голову бревномшибануло: сигнал пушкарям подавать! Он потянул из-за пазухи белый плат, но поручик, командовавший крепостной артиллерией сам догадался. Медные единороги сделали залп, потом второй, третий, вершина Синбирской горы закудрявилась белым дымом, а с армады в ответ грянуло, потрясая окрестности, солдатское:

— Виват! Виват! Виват!

Суда с полками прошли мимо Синбирска, а царская галера остановилась возле пристани. С неё спустили шлюпку, в которую сошли государь Пётр Алексеевич, его супруга Екатерина Алексеевна, генерал-адмирал граф Апраксин и ближний вельможа Толстой. Когда государь ступил на синбирскую землю, опять троекратно ударили единороги и во всех соборах и церквах зазвонили колокола. Император и императрица приняли благословление от соборного протопопа и недовольно посмотрели на встречающих, которые все пали на колени.

— Подыми, воевода, свою братию, — сказал царь. — Нечего на коленях по песку елозить. Поклона вам мало, всё норовите башкой в землю уткнуться!

Первым опамятовался именитый купец Борис Твердышев. Вскочил на ноги, схватил серебряную братину с золотыми червонцами и просунулся к царю:

— Прими, государь, от синбирского купечества!

Пётр Алексеевич благосклонно посмотрел на статного купца.

— Принимаю, пойдём со мной чай пить. И ты, воевода, отряхнись и за нами следуй.

Императрица Екатерина Алексеевна с улыбкой смотрела на происходящее и радовалась, какие у неё послушные и любящие подданные, в других странах давно таких нет.

Государь сразу проникся к Твердышеву интересом, усадил его за столом по правую сторону от себя, а воевода Хрущёв на краешке стола примостился и с опасливым недоумением смотрел на стоявший перед ним на тонкой ножке бокал с вином — как бы посудину не разбить, сраму не оберёшься.

— Россия твёрдой ногой стала на Балтийском море, — сказал государь. — Теперь будем утверждаться на Каспии и Кавказе!

Подали закуски, в основном, всякую волжскую рыбу, пироги, сладости.

— Знаю о тебе, Твердышев, что ты богат, честен, но почему больших государственных дел сторонись? — спросил Пётр Алексеевич.

Купец не смутился:

— Моё дело торговое, государь. Купец там, где прибыль, но я не только торгую. Суконную и винокуренную мануфактуру имею.

— Об этом мне ведомо, но это в размере всей России мелочь. Тебе надо, как Демидову, развернуться, нечего сиднем на синбирском бугре сидеть.

— Легко сказать, как Демидов, — вздохнул Твердышев. — В одиночку не осилю.

— А я тебе, чем не помощник? — улыбнулся государь. — Бери земли Каргалы в Оренбургской степи, там люди испокон веков медь добывали. Сколько запросишь земли, столь и отпишем на тебя. Крестьян для рудников и заводов отпишем. Ты только начни. А как привезёшь мне первые десять пудов добытой меди, так тебе и полное моё благоволение.

Твердышев задумался. О Каргалах он слышал, место окраинное, дикое, кругом немирные народцы, опасное дело предлагал царь, но внутренний голос прямо-таки вопил: «Бери, дурак! Второго раза такой удачи не будет!»

— Ну, как, берёшься за медь? — спросил Пётр Алексеевич.

— Берусь, государь! — уверенным голосом произнёс Твердышев.

— Вот это дело, — повеселел император. — Пётр Андреевич! Пиши указ: отдать купцу Твердышеву оренбургских земель сколь пожелает для добычи меди, и крестьян отпиши монастырских тысячу душ, нет, полторы!

Толстой поднялся из-за стола и поманил за собой Твердышева.



Император Пётр Великий

Синбирское чаепитие Петра Великого было недолгим, парус царской галеры наполнился свежим ветром, крепостные пушки ударили прощальным салютом и зазвонили колокола соборов и церквей, невиданное доселе торжество встречи государя закончилось.

Дольше всех на пристани оставался Твердышев, в руке у него была грамота с именным указом императора. Вдвойне был рад недолгой встрече с царём воевода Хрущёв. Карабкаясь на жеревце по крутому береговому взвозу, он не жалел и не сокрушался тем, что был обойдён царским вниманием, ведь «возле царя, как возле смерти», а ему по душе была другая пословица: «Воевода в городе — чтомышь в коробе».

Ушаков и Андреев были весьма недовольны, что Твердышев вылез перед государем вперёд всех. «Ничего, — говорили они, — сломает голову на царской милости!» А более всех были разобижены голи кабацкие и пьяни бурлацкие, им предстояло добираться через Волгу к родимому кабаку, который дразнил яркой охряной краской своих стен их мутные взгляды с далёкого берега.

А над Волгой занепогодило, с заката напоздзли тяжёлые грозовые тучи, подул холодный и порывистый ветер, и по всей реке заходили, затолпились белоголовые и пенистые волны. Застоявшийся конь мягкими губами трогал за плечо Твердышева, торопил хозяина домой, к теплу и корму.

Неведомо нам, как начинал Борис Твердышев своё великое медное дело, привёз ли Петру Алексеевичу обещанные десять пудов меди, но в царствования «кроткия Елизавет» и Екатерины II он, а затем его сыновья Яков и Иван в компании с Иваном Мясниковым, который был женат на его сестре Татьяне, имели в Оренбургском крае громадные земельные пространства, рудники, медеплавильные заводы, десятки тысяч крепостных крестьян. Вся русская медь того времени была их медью. По сути дела они занимались добычей денег, ибо почти вся ходячая монета была медной.

Никто не знает, сколько человеческих душ сгнуло в Каргалах, рудники там были узкими норами, где, согнувшись, зачастую прикованные к тачкам, крепостные вывозили руду на поверхность. Люди гибли от недоедания и повальных болезней, несметно обогащая своих владельцев.

Мясниковы-Твердышевы были баснословно богаты, на 1784 год они имели в своём владении 18 заводов, около восьмидесяти тысяч душ крепостных, миллионы рублей золотом в

наличности, дворцы в Москве и Синбирске. Твердышевы и Мясников получили потомственное дворянство и чины, они обладали всем, что только может пожелать человек, только у Якова и Ивана Твердышевых не было детей, то есть наследников, и все богатства семейного клана достались дочерям Мясникова — Ирине, Дарье, Аграфене и Екатерине.

Сказ про Петра Великого

-I-

Великий Пётр был остёр
Не только на бумаге.
Он крепко в руки брал топор
На верфи и на плахе.

Набатом каждый бил указ
Над затхлой стариною.
Он поднял русской жизни пласт,
Утопанный Ордою.

И вёл победные полки,
Увенчанные славой.
Сияли русские штыки
Под Ригой и Полтавой.

Он по-хозяйски, как избу,
Срубил стране основу.
Предугадал её судьбу
И в путь отправил новый.

Он верил в русскую звезду.
И в труд свой дерзкий верил.
Людское горе и беду
Великий Пётр не мерил.

И гнал народы в топь и глад.
В болотной невиской яме
Он замостил престольный град
Крестьянскими костями.

И что он сделал топором,
То зачеркнуть нельзя пером.

— Оставьте все, — рука Петра
Упала, фразы не осилив.
Ночь наступила для царя
И самодержца всей России.

Все — это целый русский мир
За невским утренним туманом,
Урал, и Север и Сибирь
С могучим рёвом океанов.

Смешенье рас и языков,
Богов, обычаев и нравов.
Победный свет полтавской славы
И звоны каторжных оков.

Былая Русь пошла на слом,
Расчищен путь для дел грядущих.
Кто сможет охватить умом
Наследство это из живущих?..

Вокруг одра, где Пётр лежит,
Сияют ближних бриллианты.
Нахмурясь, Меньшиков глядит
Нетерпеливо на куранты.

Он слышит злобный шепоток
И в гневе напрягает жилы.
Он знает, кто в России бог,
За кем стоят сегодня силы.

Полощет ветром русский стяг.
К дворцу царя, чеканя шаг,
Идут колоннами гвардейцы —
Семёновцы, преображенцы...

Указ про синбирских невест

Сказывают, что после кончины суматошного императора Петра Алексеевича, поднявшего Россию на дыбы и перетряхнувшего весь уклад жизни государства, настали тихие почти дремотные времена. И очень скоро навывкло российское барство жить под мягкой женской рукой, и другого счастья себе не искало. Но когда почила в бозе императрица «кроткия Елизавет», выскочил на престол, как чёрт из табакерки, голштинской выделки Пётр III, седьмая вода на киселе от Петра Великого. Так ему в один час гвардейцы братья Орловы на Ропшинской мызе свернули шею. И с воцарением его супруги, будущей Екатерины Великой, пролились на российское барство неслыханные благодетия: вышел указ о вольности дворянства, что служить отечеству оно может только по своей охоте, и власть над крепостными у него полная и безраздельная, и прочая, и прочая.

Возликовали и наши синбирские помещики. Совестьливые дворяне стремились служить в гвардии или в линейных полках, но большинство оказались домоседами: залегли в своих поместьях, как медведи в берлогах, и носа, даже в Синбирск, не кажут, благоденствуют себе в родовых имениях.

В самом граде тоже кое-какие перемены случились: учинили вместо приказной избы несколько канцелярий, ратушу для учёта купцов и ремесленников, и чиновничья вошь начала плодиться на тягость простому люду. Там, где раньше приказной выжига за составление прошения брал пяточок, теперь канцелярский служка хапал полтинник. Купцам вроде послабление вышло, построили их по разрядам — гильдиям, у кого какая мошна. Почта появилась, одно время цифирную школу завели, учить недорослей грамоте и счёту, так желающих учиться из дворян почти не нашлось, стали учить в ней солдатских детей, тех можно было силком заставить, да и пороть их сподручнее, если урока не выучат.

После сих штудий, вырастали из них отменные канцелярские крючки, в коих потребность год от года только множилась.

Приказ общественного призрения появился, а с ним и богадельни, сиротские дома, за которыми стала присматривать управа благочиния, первый полицейский встал на пост возле дома управителя Синбирской провинции, обитатели работного дома каждое утро брались за тачки, кирки и лопаты — стёсывали спуск к Волге, ох и работа, полвека заняла!

Надо же было Богдану Хитрову град, славный и похвальный, взгромоздить на Синбирскую гору. Сосновый лес-то в округе повырубили, другие города поволжские, которые имели береговое местоположение, пользовались для строительства и отопления сплавным, из Ветлуги и Перми, лесом, а в Синбирске каждое бревно приходилось затаскивать на кручу или везти за многие десятки вёрст.

Всё так, но никогда синбиряне не хаяли свой град, если из приезжих кто-то начинал про него дурно говорить, в ругань, а то и в драку, бросались. Мы-ста, синберяне, у нас дворянство самое родовитое, гербами повитое, купцы — тароватей не найдёшь, наши глиняные кувшины—балакири — самые звонкие, промзинские платки — самые баские!

В этом довольстве собой и бахвальстве застала государыня Екатерина синбирян в лето 1767 года.

В Синбирске, как услышали о скором приезде императрицы, все переполошились, такая замятня началась, что пыль столбом. Выгнали из казармы служивых, дали им в руки лопаты и метлы, кочки соскребают, мусор и шевяки навозные сметают, всю Соборную площадь чисто вылизали, кордегардию и дом провинциальной канцелярии побелили, а наличники на окнах жёлто выкрасили. Чиновники в присутствия кто в чём хаживал, заставили всех достать мундиры, проветрить от нафталина, крючки да пуговицы попришивать. Безмундирным велели по домам сидеть и носа не высовывать. Купцам тоже дело досталось — тащат штуки красного сукна, чтобы в двести саженей ковровую дорожку сделать под ноги государыне. Соборные дьяконы глотки прочищают гулким кашлем и кагором смачивают. Дишкантам и тенорам по сотне яиц отпустили даром, пусть пьют от пуза, для голосистости.

Государыня знать не знает об учинённом ею своим приездом

переполохе в Синбирске, почивает себе на перине из лебяжьего пуха под шёлковым одеялом. В бока галеры, сделанной из архангельских корабельных сосен, волны плещутся, розовый парус похлопывает, сто гребцов, сажённых солдат-гренадёр, вёсла в руках баюкают, дремлют сами. Тут и солнышко взошло, осветило императорский штандарт на мачте, обласкало тёплыми лучами палубу, высветило на носу судна бородастого и голого мужика с вилами — морского бога Посейдона. Государыня шевельнула ручкой по лебяжьему ложу, место рядом ещё не выстыло, ушёл Гриша, как обычно, до её просыпа. Вздохнула, очи распахнула, в колокольчикбрякнула. Появились дамы-прислужницы, у одной в руках серебряная лохань с тёплой водой для умывания, у другой — гребни из зуба морского зверя для расчёсывания волос, у третьей — шкатулка из чёрного эбенового дерева с притираниями, мазями, помадами, белилами-румянами, всё французской выделки.

Граф Григорий Орлов зашёл, ручку чмокнул, справился, как государыня почивала, а о том, где был в ночном — молчок!

— Как погода, ваше сиятельство? — спросила Екатерина.

— Знойно, матушка! Скоро в Синбирске будем.

— Ах, — молвила государыня, — надеюсь, хозяева приготовленные мне покои охладили, да мух повыгоняли. Уж очень они меня в Казани замаяли!

Галера «Тверь» причалила к Синбирской пристани под радостные крики горожан. Когда Екатерина ступила на берег, колокола соборов и церквей заблаговестили, над полуразрушенными стенами старой крепости закруился белый дым. И внятно чихнули четыре единорога времён царя Алексея.

По красной дорожке, приветствуемая со всех сторон горожанами и дворянами Синбирского провинции, государыня поднялась в гору к каменному дому Мясникова, где ей были устроены покои. После двух часов отдыха она изволила выйти в залу, где потя в суконных мундирах, при шпагах и в треуголках ожидали аудиенции синбирский комендант полковник Пётр Матвеевич Чернышев с главными чиновниками провинции. Чернышев только в этом году был назначен в Синбирск, в полковники он скакнул, по милости Екатерины, из камер-

лакеев, и она с любопытством на него посмотрела, каково ему на комендантском месте, по Сеньке ли шапка оказалась? Ещё не перетёртый в синбирских жерновах Чернышев выглядел по-петербургски, камер-лакейская выучка позволяла ему держаться с выверенной почтительностью к царствующей особе, а остальные чиновники были крепко ушиблены сиянием, исходившим от российской самодержицы, глаза у них заслезились, руки затряслись, души затрепыхались от прилива крови и административного восторга. Не чаяли они, что будут находиться в двух шагах от порфиноносной владычицы всея России. А та милостиво улыбнулась, допустила их к своей августейшей руке и, сжалившись над их потной краснотой, отпустила.

— Какие медведи! — молвила она, адресуясь к Орлову.

— Медведи? — задумчиво произнёс граф. — Это волки, матушка!

— Других у меня нет! Душно, однако, и скучно. Что там на завтра?

— Торжественная служба в соборе, представление народу.

— Ладно, займусь бумагами. Этот Чернышев, камер-полковник, принёс мне экстракт о состоянии города.

Государыня не гнушалась входить во все административные дела. Поднявшись в свои покои, она поторопила своих дам снять с неё тяжёлую, прошитую золотыми нитями и унизанную алмазами, робу, выпила холодной воды с брусничкой и села за столик к бумагам. Вечером того дня она записала в своём дневнике: «Здесь такой жар, что не знаешь, куда деваться, город же самый скаредный, и все дома, кроме того, где я стою, в конфискации, и так мой город у меня же. Я не очень знаю, схоже ли это с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их дома, нежели сии лучшие и иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, дома попустому не сгнили, люди не переведены были вовсе в истребление, а недоимки по вину, по соли только сто семь тысяч

рублей, к чему послужили как кражи, так и разные несчастливые приключения».

Присыпала написанное песком, сдула, перечитала и взгрустнула. Государыне представилось, что она сидит сейчас в доме на Синбирской горе, кручинится над тем, как извести воровство и взятки, а в это время на всём протяжении огромной России воруют, тащат, вымогают мзду, и нет ни каких сил прекратить это беззаконие. Ей стало вдруг зябко, она глянула в окно, в котором догорал закат, и сладко позевнула.

У графа Орлова тем часом из головы не выходила мысль, как развеселить свою царственную подругу. На такие придумки он был не очень горазд, не шут Балакирев, а гвардейский офицер, прямой, как плевок солдата, вот шпагой бы кого проткнуть или в морду кулачищем заехать, на это граф был способен без раздумий. Нрав он имел пылкий, а ум недалёкий, тем и проиграл в будущем Потёмкину, а пока у него с Екатериной отношения были страстными, умел Григорий так обнять, таким жаром-пылом обжечь, что отказу ему ни в чём не было. Орлов стоял возле окна в коридоре и смотрел, как одна за другой покидали покои государыни её камеристки. Когда вышла последняя, он двинулся к заветным дверям, но возле лестницы его остановило какое-то шуршание. Он откинул портьеру и увидел прижавшуюся к стене хорошенькую девушку, которая зарделась, как маков цвет.

— Ты кто такая? — спросил Орлов.

— Я хозяйская дочь, ваша милость, Екатерина.

Граф улыбнулся. Чудно ему показалось — опять Екатерина.

— И сколько ещё таких розанов здесь произрастают?

— У батюшки моего нас четверо.

— И все так же прекрасны?

По-гвардейски привычно схватил девушку в охапку и поцеловал в губы.

— Ах, сладка ягодка!

Девушка убежала вниз по лестнице, а граф задумался, почесал затылок и радостно улыбнулся — его осенила блестящая идея, чем занять государыню. Вошёл в покои, увидел свою Катерину, убрannую ко сну, в прозрачной батистовой рубашке, подхватил

на руки, закружил.

— Нашёл я тебе заботу, матушка! Всю твою грусть, скуку окаянную, как рукой снимет! Нужно заковать четырёх девиц в крепкие оковы!

— Это как же они провинились?

— Ох, и провинились! Представь: молоды, с лица далеко не дурны, за каждой два завода, двадцать тысяч душ, миллионы рублей серебром да золотом. Немедленно возложи на них узы Гименея!

— Ты предлагаешь мне быть свахой? — государыня рассмеялась.

Так снизошло на семейство Ивана Семёновича Мясникова царское благоволение. Крепко он маялся, как и жена его Татьяна Борисовна, одной думой: дочери на выданье, а женихов, соразмерных по своим достоинством с приданным, не находилось. Дворянство бывшего купца, полученное им за классный чин, выглядело в глазах родовитого барства скороспелым и даже плюгавым. Конечно, были женихи из дворян, но по большей части с червоточиной: то голь, из имущества только ботфорты на ногах да шпаженка на боку, да аттестат на чин поручика за пазухой. Такие бы тысячами со всей России набежали, только свистни! Но не о таком счастье мечталось дочерям и самому Мясникову. И он, и Татьяна Борисовна были склонны выдать дочерей за своего брата, купца, за ним надёжнее и капиталы будут целы, и от балов-машкерадов головы не закружатся, веру отцов крепко блюсти будут. Тревожные думы одолевали Масленниковых, тревожные.

— Завтра ведь у нас куртаг, — сказала государыня. — Озаботься, Гришенька, чтобы наши хозяева были.

— Непременно! — обрадовался Орлов. Ему намеченное на завтра мероприятие было любо по одной весьма важной причине: государыня, несмотря на его недовольство, постоянно держала вокруг себя свиту молодых блестящих офицеров гвардии, жадно взирающих на неё и готовых при малейшем знаке прыгнуть в царскую постель. Граф прекрасно понимал, что его могущество держится на приязни к нему государыни, и не хотел его лишаться. Завтрашний куртаг его радовал тем, что

он может одним махом избавиться сразу от четырёх возможных соперников.

Дом Мясникова строил московский архитектор, он был в два очень высоких этажа, имел, кроме жилых комнат и спален, просторный зал на втором этаже с наборным из дуба полом, лепным потолком и роскошной люстрой. Окна выходили на Волгу, из них открывался величественный вид на Заволжье, речные острова и растёкшееся между ними русло реки. К приезду государыни весь дом чистили, мыли и скребли, и зал, ярко освещённый множеством свечей люстры и светильников на стенах, сиял, как сказочный дворец.

В дом Мясникова съехались самые родовитые синбирские дворяне, занесённые в шестую часть Бархатной книги российского дворянства. Государыня, встречая гостей, милостиво улыбалась. Ни обеда, ни возлияний на куртаге не предполагалось, это было время общения избранной знати со своей повелительницей, и приглашение на него означало причастность к самому высшему кругу лиц и крайнюю близость к трону. Но сегодня был вечер, где главное внимание уделялось не потомкам Рюрика и Гедемина, а Мясниковым. В карты ни Иван Семёнович, ни Татьяна Борисовна не играли, и на сегодня ломбер был оставлен. Музыканты играли длинный польский или полонез, кавалеры и дамы дефилировали с ритмическими приседаниями по залу, а всё общество, глядя на танцующих, приосанивалось, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым.

Екатерина была великая мастерица вести всякого рода переговоры.

— Я слышала, — сказала она Мясникову, которого не опускала от себя ни на шаг, — у тебя много красного товара имеется, а у меня — добрые молодцы?

Ивана Семёновича окатило жаром, он сразу понял, о чём идёт речь, и не стушевался.

— Товар имеется красный, да только по плечу ли он молодцам будет? Мы люди простые, наукам не обученные.

— Полно тебе, Иван Семёнович, — улыбнулась государыня.
— Не след тебе приbedняться. Всё от твоего слова зависит.

— С превеликой благодарностью вручаю судьбу дочерей вам, ваше величество, — сказал Мясников и прижался губами к милостливо протянутой руке императрицы.

И начались свадьбы: и в Синбирске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ирина вышла замуж за Павла Бекетова, родовитого дворянина и капитана гвардии; Дарья — за Александра Пашкова, в его память россиянам остался знаменитый «Пашков дом» в Москве; Аграфена — за Алексея Дурасова, построившего на деньги жены великолепную усадьбу, завязатого театрала; Екатерина — за Григория Козицкого, чей дворец в Москве был перестроен в «Елисеевский» магазин. Мужья получили жён с большим приданным, Екатерина развеяла синбирскую скуку, а граф Орлов был доволен удалением своих вероятных соперников. Синбирское сватовство Екатерины — редкий случай, когда все остались довольны.

Призвание государей — видеть своих подданных счастливыми, и Екатерина это удалось сделать в граде Синбирске, славном и похвальном.



Гказ про сожжение еретика Якова Ярова

О граде нашем Синбирске, славном и похвальном, начну сказывать, о житие неспешном его обывателей, мещанах, купцах, служилых людях и дворянах, в царствие Петра I в части своей лишённых бород и облачённых в немецкое платье. От немцев и табак завезли к нам, от чего пожары в Синбирске, граде деревянном и ветряном, участились, недели не пройдёт, чтобы чья-то изба не полыхнула берёстой. Народ на пожар сбегается, а тушить нечем, воды нет. Стоят людишки, пелятся на полымя, руками машут, только ветер нагоняют, а помощи погорельцам никакой. Вот до чего табачная привычка доводила, а утеснить её нельзя, царю деньги требовались на войну со шведом, на строительство новой столицы, на машкерады, да на прорву воров вокруг своей царственной особы. Питие хмельного тоже не возбранялось, голи кабацкие, рванины бурлацкие, как нетопыри, кружили вокруг кабаков в подгорье на пристани и в самом граде, двери в кружала не закрывались, меднолицые целовальники сгребали полушки и гривенники с мокрых от пролитого вина прилавков всё туда же, в царёву мощну. Правда, и к их рукам немало прилипало.

Не все, конечно, обыватели винище лопали, курили да жевали табак. Много было людей богомольных, ко всякому рукомеслу прилежных, от их щедрот поднимались во граде Божьи храмы. Построили каменный Свято-Троицкий собор, чуть позднее Свято-Вознесенский, благоденствовали женский Спасский и мужской Покровский монастыри. Каждый помещик в родовой вотчине строил храм своим иждивением или с помощью крестьянской общины. Колокола звонили, попы служили, обыватели толпились в храмах, но много ещё было в народе тёмных верований, от язычества ему доставшихся.

Нет-нет, да возьмут силу над легковерными людьми ведуны, знахари, ворожеи, к коим простодушные обыватели обращались в надежде вылечить застарелую хворь, извести обидчика, присушить желанного человека, заручиться удачей в торговом предприятии. А когда холера начинала грозить из Астрахани

или чума надвигалась из Ногайских степей, то появлялись лживые пророки и пророчицы и смущали народ дерзкими предсказаниями, доводя его до полной душевной немощи и готовности броситься на первого встречного с кулаками или оружно. В ход шли ябеды, клепали на соседей, даже на родню, обвиняя их в колдовстве, в канцелярии воеводской даже рундук особый завели для хранения челобитных и подмётных писем.

И вот однажды ранёхонько, едва приказные отпёрли городскую ратушу, прибежала к ним молодая баба и с порога в пол лбом ткнулась, зарыдала, заголосила. Орёт благим матом, понять можно только одно: на кого-то клепать хочет. Сначала подумали, что дело пустое, оказалось, что полностью попадает под новый указ государыни Анны Иоанновны «О некоторых людях, которые, забыв страх Божий, показывают себя, будто они волшебства знают и обещаются простым людям чинить всякие пособы, чего ради те люди призывают их к себе в дома и просят их о всепомоществовании в злых своих намерениях...» Утёрла баба со смазливой мордашки мокроту и поведала о своём муже посадском человеке Якове Ярове, за которого она вышла замуж полгода назад «неохотой», под давлением родителей. Житьё с мужем сразу не заладилось, оный Яшка Яров не прилепился к жене, а стал с первого дня удаляться в свою комнату на чердаке, чем вводил супругу в недоумение и любопытство. Она стала за ним поглядывать, сучок в перегородке вынула и всё узрела. Видит, горят несколько лучин, муж перетирает в ступе какие-то травы, пересыпает семена. С той поры ни одной ночи спокойно не спала, страшные ведения стали подступать к ней во сне, мучили сердцебиение и приливы крови к затылку. Под внушением страха Варвара Ярова обратилась к своему духовнику, священнику Никите Андрееву, а потом к другому иерею Никифору Епифанову. Духовные особы нашли в действиях Ярова признаки преступления: «Чтобы не остаться ей приличной (обвинённой) вместе с мужем ея в таком еретичестве, нужно обо всём донести начальству». Извет Варвары Яровой был запротоколирован, её отпустили домой и наказали хранить всё в тайне.

На другой день собралось немалое приказное воинство во

главе с земским старостой Семёном Ясырином, и нагрянули они вечером на подворье Якова Ярова, но без шума и звона, а тишком, чтобы поймать еретика во время волшебства. Понятые, приказные были пропущены Варварой к лестнице, осторожно поднялись по ней, и Ясырин прикинул глазом к дырке от сучка. И видит: на столе перед Яровым коробочки, а в них находятся травы, порошки, толстую книгу, тетрадки гадательные, а вокруг расставлены кости человеческие. Ясырин дал отмашку дюжему понятому, тот ударом ноги вышиб хилую дверь, и орава приказных ворвалась в комнату. Якову заломили руки, связали его накрепко, нашли большой лубяной короб и сложили туда травы тёртые и не тёртые, сушёные и не сушёные, тетрадки, книгу, заговорную и притворную к блюду. Потрясённый нападением Яров не сопротивлялся, его сволокли вниз, бросили вместе с коробом в сани и повезли в ратушу.

Содрали с Ярова зипун и портки, разложили на скамье, вынули из бочки с водой прутья и приступили к дознанию. Взыл Яшка благим матом, попытался вывернуться из-под двух мужиков, державших его за голову и за ноги, и начал показывать на себя страшные признания. Что имеет он у себя книгу волшебную девять лет и по ней всегда святотатственные действия чинил, познал эту книгу и «отрёкся от истинного Бога, но от Христа он вовсе не отрекался». По этому самому учению «он дьявола и сатану чтит и теперь владыками их признаёт и клянётся ими». Приказной усердно скрипел пером, заноса признания Ярова на бумагу, иногда кивая подручным, чтобы добавили злодею шелепов, и тот продолжал клепать на себя дальше, что лечил по их просьбе у себя людей синбирских и назвал имена.

На другой день приказное следствие устроило злодею очную ставку с его женой Варварой. Та неуступно стояла на своём: и волшебства де еженощно устраивал, и заговоры накладывал и «еретичество за ним признаёт издавна и в такой силе, как раньше показывала». Приходский священник заявил о Ярове по тем временам ужасное: «он де на исповеди у него не был, в своём еретичестве ему не каялся и Святых Таин не приобщался». Окольными путями навели справки о тех, кто

лечился у Ярова и притянули к допросу братьев Карамышевых, Ивана Издеберского со снохой Марьей, Григория Деревягина и других посадских людей. Все они единогласно показали, что лечились у Ярова от разных болезней, никаких волшебных действий он над ними не совершал, еретических книг не видели, а читал Яков над ними три молитвы, которые напечатаны в требнике в чине крещения, и запретительную от бесов и злых духов. Эти показания были приобщены к делу, но никакого влияния на дело Ярова не оказали. А оно велось явно с обвинительным уклоном.

Городская ратуша передала Ярова вместе с розыскными бумагами в провинциальную канцелярию, там учинили свой розыск с сечением подозреваемого и вызовом свидетелей по второму разу. Удостоверившись, что дело идёт о волшебстве и еретичестве, сообщили об этом в канцелярию Казанской губернии, и та уведомила об этом правительствующий сенат. Медленно тащилась колесница российского правосудия от Синбирска до Казани и Санкт-Петербурга, а Якова Ярова, возложив на него оковы, поместили в провинциальную тюрьму возле воеводской избы. Узников в те времена не кормили, они существовали на подавание. Беглые крестьяне, базарные тати, разбойники в сопровождении караульного ходили за милостыней на торжище и в богатые дома синбирян. Особо щедрые дачи колодники получали в дни церковных праздников. В сырой и земляной тюрьме тяжело дались Ярову проведённые в ней четыре года. Он полуослеп, разбух от водяной болезни, жил среди людей, но был отделён от них пропастью обвинений в еретичестве и волшебстве.

Но пришёл час и его судьбы. Прискакал из Казани курьер и привёз депешу, а в ней прописано: «Казнить еретика Якова Ярова смертью сожжением». Воевода Иван Иванович Немков прочитал сие и перекрестился. Призвал к себе начальника канцелярии и приказал сводить Якова Ярова в баню, переодеть в чистую одежду и накормить до отвала. А ещё приказал срубить на Венце сруб и подвезти к нему два воза сена. Всю ночь при свете смоляных факелов плотники рубили и вязали венцы сруба, и к восходу солнца он был готов. Хотя о казни народу не

объявлялось, с рассветом на Венец со всех концов града начали сходиться посадские люди. С барабанным боем пришла воинская команда, солдаты с четырёх сторон окружили сруб, оставив лишь небольшой проход для смертника. Из Заволжья выкатилось солнце, осветив место казни. «Ведут!» — выдохнула толпа. Яров шёл в чистой посконной рубахе в сопровождении двух солдат с ружьями. Его подвели к воеводе и бросили на колени. «Читай!» — сказал Немков канцелярскому начальнику. Тот поправил на носу оловянные очки и откашлялся: «... потому ему, Ярову, экзекуция учинена будет за волшебство, за все злые и богопротивные дела казнить онного Ярова сожжением». Едва были произнесены последние слова приговора, как солдаты схватили Ярова и бросили в сруб, и разом вспыхнуло со всех его сторон сухое сено. Посадские, сняв шапки, крестились, некоторые плакали, а из столба огня и дыма раздавались вопли сгорающего заживо человека.

Перед смертью Яков Яров отказался от исповеди.

И было это в 1736 году от Рождества Христова.

* * *

Топоры по берёзам — туп! туп!..
Что, мужики, рубите?.. Сруб! Сруб!..
В дерево звонко стучит топор.
Берёза сухая — жарче костер.

А вокруг посадская шныряет ребятня.
А вокруг зеваки позорища ждут.
Завтра на рассвете морозного дня
Здесь колдуна в срубе сожгут.

В клетки острожной мечется тень.
Кандалы железные — звень! звень!
Кончилась ночь. Утро встаёт.
В красной рубахе палач идёт.

Сруб на Венце, по-над Волгой, готов.
Яр воевода. Ноздрей сопит.
Яков Яров идёт без оков:
На дыбе изломан — не улетит.

Снег под лаптишками — хруп! хруп!
Якова Ярова бросили в сруб.
Искра упала в сухое сенцо.
Мать уронила в ладони лицо.



Сожжение протопопы Аввакума

Сказ про Никольское-на-Черемшане

Над гладью Черемшанского залива
Печально увядал светила лик.
Из сумеречных вод, сгущавшихся лениво,
Туманный силуэт дворца возник.

За копьями узорчатой ограды
(Я б не поверил, коль не видел сам)
Мерцали мрамором сквозные колоннады.
Как шлемы, были башни по углам.

Журчал фонтан. Песчаные дорожки
Вели к крыльцу под каменным шатром.
За окнами порывисто и дрожко
Мерцали свечи трепетным огнём.

Играл оркестр. И в зале силуэты
В причудливых нарядах, париках
Под музыку скользили по паркету,
Беседуя на разных языках.

А рядом — стол, где яств был преизбыток.
Здесь царствовало под хрустальный звон
Токайское — любимейший напиток
Вельмож екатерининских времён.

О свежих новостях велась беседа,
Что чернью обезглавлен Людовик,
И, усмирив мятежного соседа,
Суворов обратил к французам штык.

За ломберным столом сдавали карты.
Четыре старца углубились в вист.
И вдруг — в саду захлопали петарды,
Взвились шутихи, сыпя гроздь искр.

А к берегу причаливали лоды
С рожечниками, с хором, полным сил.
Хозяин всех гостей своих сегодня
Речной прогулкой угостить решил.

Всяк тешил, как умел, свою охоту...
Но занялась восхода полоса,
И каменный дворец ушёл под воду.
Утихла музыка, и смолкли голоса.

Костёр погас. Росы ознобной сырость
Сочилась из тумана на траву.
И я не знал: всё это мне приснилось,
Иль видел чудеса я наяву?..

Свет памяти минувших поколений
Внезапно вспыхнул и погас во мгле.
И, может, правда — всех ушедших тени
Блуждают на покинутой земле.

Гказ про то, как Пугачёв первый раз побывал в Гинбирске

В конце декабря 1772 года по дороге из Сызрани на Синбирск ехали трое мужиков в застланных рядном розвальнях. Один мужик лежал в санях ничком, это был Емельян Пугачёв, схваченный неделю назад в Малыковке за крамольные речи в оренбургских станицах; двое других — караульщики, мещане Попов и Шмоткин, наряженные в свою очередь сопровождать злоумышленника до Синбирска. В руках они держали комлястые берёзовые дубинки. Наряд на этап отвлек их от рождественских праздников, и караульщики были злы на арестанта.

— Слышь, купец! — сказал Попов. — Ты убежал бы от нас, что ли.

— Что, ребята, отпускаете? — Пугачёв повернулся на бок и заскрипел зубами — в малыковской канцелярии его нещадно били батогами, добиваясь от него правды: кто он такой, какого звания, откуда явился?

Мужики заржали.

— А что, беги! Ужо мы тебя попотчует дубинками, бегуна!

Емельян, едва сдерживая стон, приподнялся. Второй караульщик, Шмоткин, был сердобольнее:

— Что, крепко досталось от управителя канцелярии?

— Да, щедро пожаловал. Век помнить буду.

Попов, подхватив дубинку, соскочил с розвальней и пошёл рядом.

— Я не глухой, слышу, что у тебя за пазухой побрякивает. Слушай, купец, дай нам по сто рублей, мы тебя отпустим.

Пугачёв подивился, что его считают купцом, но смекнул: караульщики неграмотные, и о том, что прописано о нём в подорожной, не ведают. Купец так купец! Темнота да неведение всегда на руку ловкому человеку.

— Пожалуйте, отпустите! — жалобно произнёс Емельян. — Я вам готов каждому по сто рублёв дать, да все мои деньги у отца Филарета. Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам отдаст.

— Ишь, что надумал! — вскричал Попов и ударил дубинкой по краю розвальней. — Так и отдаст. Нашёл дурней!

— Я письмо ему напишу, он мою руку знает. Я у него оставил четыреста рублёв, берите всё.

— Может, правду говорит, — задумчиво произнёс Шмоткин. — Что делать?

— А ничего. Довезём до Синбирска, там ему спину ещё раз прострочат!

— Если отпустите, как сами спасётесь? — спросил Пугачёв.

— Не твоя печаль! Ты деньги давай. А мы привезём тебя в Собакино, не знаешь тамошних? Мужики лихие, недаром говорят промеж собой купцы: «Проедешь Собакино, служи обедню!» Отобьют тебя у нас, об этом в Сызрани и заявим. Так что давай деньги!

В узелке за пазухой у Пугачёва был всего рубль, денежками и полушками. В Сызрани он завернул в бумажный обрывок двадцать копеек и сунул Попову.

— Вот червонные, только отпустите меня.

Попов оказался догадливым, развернул бумажку, швырнул полушки в бороду арестанта и огрел его дубинкой. Пугачёв подобрал деньги и отдал Шмоткину, чтобы тот купил вина.

— Пожалуйте, люди добрые, — гнул своё Емельян. — Отец Филарет отдаст деньги, за ним четыреста рублёв.

Огромная стая ворон с ором сорвалась с заснеженных деревьев и устремилась ввысь. Пугачёв поднял голову и увидел в небе большую сову. За ней и устремились вороны, охваченные злобой к одиноко летящей птице. Некоторые почти долетали до совы, чтобы клонуть её, но она делала несколько взмахов и поднималась выше. Устав от погони, вороны, как копоть, осыпались на вершины берёз.

До того, как оказаться на Сызранском тракте в розвальнях под охраной, Пугачёв жил нескучно. Побывал в Прутском походе против турок, воевал, ничем не разжился, но был нещадно бит плетью своими же станичниками по приказу полковника Денисова за потерю лошади. Отпущенный на побывку, в своей станице Зимовейской он не зажил, ушёл на Сунжу и стал подбивать тамошних казаков на уход к турецкому

султану, уверяя, что тот осыплет их милостями, не хуже казаков Игнатия Некрасова, переметнувшихся к туркам после булавинского бунта. Оттуда он, не вспоминая о семье и будучи дезертиром (казаки находились на постоянной службе), ушёл к раскольникам в Польшу. Через несколько месяцев ему там наскучило, и Пугачёв отправился в Россию. На пограничном посту Емельян выдал себя за раскольника, направляющегося на Иргиз в староверческий монастырь. Его поместили в карантин, и когда через два месяца он предстал перед начальником пограничного поста, тот держал в руке лист орлёной, то есть гербовой бумаги.

— Грамоту знаешь? — спросил секунд-майор.

— Не научен сызмала, а сейчас не до неё.

— Тогда слушай: «Оный Пугачёв имеет волосы на голове тёмно-русые, усы и борода чёрные с сединой, от золотухи на левом виску шрам, ниже на правой и левой щеке две ямки от золотухи, рост 2 аршина, 4 вершка, роду 40 лет».

Согласно подорожной, Пугачёв должен был следовать в Синбирск, но не доехал, остановился в старообрядческом монастыре Введения Богородицы на Иргизе, близ Мечетной слободы, где настоятелем был отец Филарет. Оттуда он с неким торговцем Филипповым отправился на Яик, где были сильны бунтарские настроения после недавнего выступления казаков. Хотя Пугачёв был мал ростом, но мысли имел большие — поднять бунт, какого ещё не бывало на Руси.

Прибыв на Яик, он остановился у казака Пьянова, и в этом доме сделал решающую пробу будущего предприятия. «Как узнали, что царь? Очень просто: жил он на Яике у простых людей, не в палатах, а в предбаннике. Каждую ночь, бывало, свечку перед образом затеплит и молится. Однажды хозяева и подслушали: читает он канун заздравный своему сыну, царя-наследника Павла Петровича величает своим рождённым чадом. Хозяев как-то колотушкой по лбу огрел, и разнеслась об этом слава по округе».

Идея самозванства тогда витала в воздухе. Внезапная смерть царя Петра III, едва вступившего на престол, породила в народе толки, что он чудесным образом спасся. К этому добавлялся

слух, что царь «объявил волю» всем крестьянам, хотя объявленная им воля в действительности касалась только дворян. И Пугачёв был не первым самозванцем, у него оказались неудачливые предшественники.

Объявив себя у казака Пьянова Императором Петром III, Емельян Пугачёв, возможно, счёл свой поступок несвоевременным и уехал обратно в Малыковку, где его спутник Филиппов донёс о самозванстве Пугачёва начальству.

Правитель малыковской канцелярии, когда ему предъявили Пугачёва, увидел мужика-маловеска, помятого лапищами караульных, когда они его хватали. Пугачёва крепко били батогами и отправили по этапу как заурядного преступника в Казань, не разглядев в нём злодея, который скоро сядет на белого коня, и вокруг него забурлят разбойные толпы, и народ станет почитать его государем Петром III, дарующим всем крепостным рабам украденную у них дворянами волю.

Емельяна Пугачёва привезли в Синбирск поздним вечером 28 декабря 1772 года. На городской заставе сани остановили, проверили подорожную и записали имена приезжих. Попов был в Синбирске неоднократно, и дорогу среди снежных бугров и домишек знал хорошо. Вечер был морозным. Откликаясь на скрип полозьев по снегу и всхрапывание уставших лошадей, почуявших близкий отдых, заголошнно лаяли собаки. Из печных труб вставали ясно видимые на тёмном небе светлые дымы, в окошках домов предместья кое-где пробивались отблески света. Распахнулась дверь кабака, из него вывалился босой, в рубахе до колен, пьяный мужик. Засунув пальцы в рот, он засвистел, приплясывая и кривляясь.

— Загулял парень! — завистливо вздохнул Попов. — Слышь, Емельян, я поговорю с подъячим, так он постарается о тебе. Вестимо, ему деньги нужны.

— Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам деньги отдаст.

— Эх, заладила сорока про Якова! А если денег нет, а тебя Митькой звали? Тут другая беда: поздно приехали, канцелярия закрылась, поедем на постоянный двор.

В большой избе с крохотными оконцами и закопченным потолком по случаю Рождества приезжих было много. Все они, завернувшись в полушубки и тулупы, лежали вповалку на грязном полу. Воздух в избе был спёртым и густым от сырых овчин и грязных мужицких тел. Пугачев, запахнувшись в тулуп, лег на пол, рядом с ним устроились караульные.

«Куда-то теперь кривая выведет, — думал Пугачёв, погружаясь в тяжелый сон. — Было бы лето, ушёл хоть сейчас, а куда зимой денешься? Да и нездоров я, жар во всём теле, спина после батогов как варом облита... На Яике можно было остаться, Пьянов ко мне с полным доверием. Нет, что-то толкнуло: уходи, не время ещё. Вот и попал, как баран...».



Синбирский кремль в последней четверти XVIII века

Постоялый двор просыпался рано. Да и какой отдых? Клещи одолевали, мужики всю ночь чесались, ворочались с боку на бок, редкий счастливцев храпел так, что лампада на божнице того и гляди потухнет. Ещё темь на дворе, а все уже на ногах, кто пошёл к возам проверять, цела ли поклажа, кто примачивался к столу с пирогом. Проснулся Попов, ткнул Пугачёва в бок: вставай. Тот открыл глаза, закричал, поднимаясь с пола.

— Пора тебя, Емельян, в канцелярию сдавать.

— Выгоду свою упускаете. Поезжайте к отцу Филарету...

— Эвон чего захотел! Слово за тебя подъячему замолвлю. Да, ты шубу свою здесь оставь, я после тебе принесу, а то в канцелярии с тебя снимут.

— Как я по морозу голый пойду?

— Не беда, канцелярия рядом.

И правда, синбирское управление судом и расправой было через два дома. В сенях Попов оставил Емельяна с Шмоткиным, а сам, сняв шапку, нырнул в дверь. Пугачёв прислонился к тёплому углу печи и закрыл глаза. Встреча с синбирским правосудием его страшила. Вдруг опять батогами бить начнут?

Попов высунулся из двери.

— Заходи, друг ситцевый!

В комнате за конторкой, на которой лежали бумаги, с гусиным пером за ухом стоял канцелярист Евграф Баженов, худой и костистый, с измождённым питием хмельного, лицом. Взор у него был острый и горячий, на Пугачёва он посмотрел так пронзительно, будто ужалил.

— Экий махор! Прочитал про тебя — подумал увидеть льва рыкающего. А тебя соплёй перешибить — плевое дело!

— Я пойду? — искательно спросил Попов.

— Иди! От нас голубь не улетит.

— А моя шуба? — Пугачёв взглянул на канцеляриста. — У меня шуба на постоялом дворе.

— Тотчас принесу! — Попов нахлобучил на голову шапку.

— Жди, я сейчас! — И выскочил за дверь.

Баженов сделал несколько шажков по комнате, вернулся к конторке, достал из-за уха перо, почистил о свои волосы.

— Знаешь, что это? — спросил канцелярист и указал на тяжёлую скамью в углу и пук батоков.

— Знаю. Всю спину ободрали.

Баженов сделал задумчивый вид, пошелестел бумагами, затем огненно воззрился на Пугачёва:

— О тебе просят. Так есть ли у тебя деньги?

— Деньги у отца Филарета. Я напишу письмо, он мою руку знает...

— Интересно! Какой затейник! — Баженов вышел из-за конторки и приблизился к арестанту. — Ты грамоту знаешь? Вот тебе бумага, перо — пиши своё имя!

Пугачев опустил голову.

— Долгополов! — заорал канцелярист. — Поди сюда!

В комнату вошёл сутулый мужик с длинными руками, одетый в овчинную безрукавку. Встал напротив Пугачёва и посмотрел на него тяжёлым взглядом.

— Побудь с ним! Я схожу к правителю канцелярии.

Баженов схватил с конторки бумагу, сопровождающую арестанта, и скорым шагом вышел вон. У Пугачёва отпустило душу, он думал, что его сейчас бросят на скамью, но нет, обошлось.

Канцелярист скоро вернулся, встал за конторку, затем взмахом руки отослал Долгополова.

— Итак, денег у тебя нет, а если бы и были, то отпускать тебя не след! Ты на государя клепаешь! За это тебе базарная казнь кнутом и ноздри вырвут. Твоё дело ушло к воеводе Панову.

— Шубу мне надо, — сказал Пугачёв. — Попов шубу с меня снял, сказал, что здесь в канцелярии отнимут.

— Так и сказал?

— Его слова. Я поверил.

— Вот сволочь! — Баженов закипятился. — Вот говорят, что наш народ — баран. А этот Попов? У тебя шубу увёл, меня твоими деньгами заморочил. Ну, ладно! Армячишко я тебе найду, голым ходить не будешь. А Попову сотню батонов правитель тамошней канцелярии отвесит. Я ему напишу.

Долгополов подвёл Емельяна к камере, где была навалена куча одежды, взял рваный армяк и бросил арестанту. Затем они вышли на оживлённую улицу, свернули за угол и оказались во дворе синбирской тюрьмы.

— Кто таков? — спросил, смрадно дыхнув на Пугачёва, тюремный смотритель.

— Держи за Баженовым, — велел Долгополов. — Без него никого к нему не допускай.

Пугачёва держали в тюрьме, не выпуская на улицу за подаванием. Но было Рождество, и в тюрьму от горожан

поступали щедрые милостыни: рыба в разных видах, яйца, пироги с мясной и рыбной начинкой, с капустой, питьё — квасы ягодные и сбитень. Тюрьма на святках наедалась впрок, от пуза. У кого были деньги, те через караульных покупали вино. Смотритель на эти проделки не обращал внимания, ему от тюрьмы неплохо перепадало на вкусное житьё.

Бродяг и татей Пугачёв сторонился, выбрал себе место возле степенных мужиков, раскольников. Те, узнав, что Емельян с Иргиза от отца Филарета, расспросив и удостоверившись, что он знает многих из староверческого монастыря, приняли его в свой круг. Вечером, сблизившись головами, тихо разговаривали, а больше слушали бывальщины Антипы, обошедшего все раскольниковы обители в России.

— Зря болтают, что пря у анпиратора с Екатериной Алексеевной пошла из-за заморской принцессы. Гулял он, но не с принцессой, а с российской дворянкой, прозваньем, как бы не солгать, Воронцовой. Она была питерская, дочь какого-то енерала ли, графа ли, князя ли, — хорошенько не умею сказать, но, то верно, что она была наша, а не заморская принцесса. Как донесли шапионы матушке-царице, что он прохлаждается на корабельной пристани со своей возлюбленной, с Воронцовой, она, царица-то, не стерпела и сама туда побежала. Пришла к нему и говорит: «Не будет ли гулять? Не пора ли домой?». А он ей говорит: «Давно ли яйца стали курицу учить? Пошла домой, покуда цела!». Она, было, ещё заикнулась что-то сказать, да он не дал: затопал ногами, зацыкал на неё, она и убежала домой. Пришедши домой, созвала к себе Орловых, Чернышёвых и других, кто её руку тянул, подняла из церкви образа, отслужила Господу молебен, присугласила полков пять гвардии, привела их к присяге, да и надела на себя царскую корону и сделалась анператрицей, повелительницей всей анперии, замест Петра Фёдоровича. А на корабельную пристань послала строжайший именной указ ко всем корабельщикам, чтобы они отнюдь его к себе не принимали. А он, вишь ли, хотел с Воронцовой-то бежать на корабле в иную землю, знамо, к приятелю своему, прущкому королю, — ведь закадычные друзья были, — да не мог бежать: ни один корабельщик не взял на корабль, все

заstraщены были. Царица-то в указе писала: «Кто де осмелится это сделать, — велю де того догнать и злой смерти предать!» Так он и остался на нашем берегу, словно сокол с подрезанными крыльями. А около дворца государыня караулы расставила, чтобы и близко не подпускали его, велела стволами бить. На другой день, под вечерок, он и, правда, пришёл было к ней, да караулы не дремали, не допустили его, едва-едва и сам-то ноги унёс. Спервоначала бросился было опять на корабельную пристань, а и там получил то же, что и во дворце: знаешь, именным указом царица заstraщала корабельщиков. Куда деваться? Никуда больше, как итти переночевать в загородный дворец: там ещё этого дела не знали. И удалился он в загородный дворец. На другой день, помня присяжную должность, к нему приставали полк ли, два ли гвардии. С этими полками он и хотел супротивляться царице, однако сила её силу его преодолела. Она со всей гвардией и со всей артиллерией, а у него ни одной пушчонки не было, выступила супротив него, учинила с ним за городом стражение и победила — ловка была! А самого его в полон взяла, словно турка, и в том же самом загородном дворце под караул посадила. Какова? Нечего сказать, ловка. Посадимши его под караул, велела отпускать ему по царскому окладу жалованье, а воли ни на один пядень не давать, никуда за порог дворца не выпускать его и к нему никого не допускать, кроме троих прислужников, да караульного офицера. И тут же, при всех енералах и сенаторах, при всем духовном чине, обязала его подпиской, взяла с него по форме запись в такой силе, чтобы ему в царство не вмешаться, а быть бы век-по-веки отставным царём, а царствовать ей одной. Волей-неволей он и покорился, и дал за своей рукой такую запись...

Антипа умолк и заворочался на полу.

— А далее-то что было? — нетерпеливо спросил Пугачёв.

— Далее? погоди торопить, — сказал Антипа. — Вот только в шубу завернись, а то по полу дует.

— В ту пору, как он содержался в заключении, — продолжал Антипа, — близкие-то к государыне енералы и графы, эти Орловы и Чернышёвы и иные прочие ненавистники Петра Фёдоровича, разными обиняками советовали государыне

извести его, чтобы, знаешь, не вышло чего после. Чтобы не было, знаешь, какой придирки от иных царей и королей, его сродников, особенно опасались прущкого короля Фридрика, — ведь приятель был нашему-то, Петру Фёдоровичу-то. Однако государыня, отдать ей справедливость, не поддалась, не согласилась. Да и как, в самом деле, согласиться на такое беззаконие? Ведь какой-никакой, а всё-таки он муж, а всё-таки он царь, помазанник Божий, дело великое! Да и царевич, Павел Петрович, был уже на возрастe... По этому самому она и берегла его, крепко сторожила, чтобы не вышло какой пакости от Орловых. И просидел он в заточении ни мало, ни много — ровно семь годочков. Хоша он содержался и не в настоящей тюрьме, в каких содержатся колодники, а в палатах, и ни в чём не имел недостатку, примерно, ни в питьях, ни в яствах, ни в другом в чём, всего было вдоволь, однако несладко же ему было сидеть. Первое — царства лишился; второе — свободы не имел. Не мимо, видно, говорится: «крепка тюрьма, да чёрт ли в ней». На восьмом году уже вырвался из заточения и узрил свет Божий.

— Как же он вырвался? — спросил Пугачёв.

— Добрые люди помогли. Ведь и у него были кой-кто доброжелатели. Вот они-то и выручили его из заточения. Опоили ли чем сторожей, или подкупили казной, верного не умею сказать, а только одно знаю: добрые люди выручили его. Выбравшись на волю, он и бежал прямо к прущкому королю, Фридрику, да ничего от него не получил. «Есть когда не дал бы ты запись, я б бесприменно за тебя вступился, — говорит Фридрик Петру Фёдоровичу, — ведь всё-таки, говорит, ты мне приходишься сродни маленечко. А теперича, — хошь гневайся, хошь нет, твоя воля, — ничего не могу в удовольствие твоё сделать, сам, чай, знаешь. Вот она, бумага-то печатованная, — говорит Фридрик, — ничего супротив неё не поделаешь. Она, батенька, не в пример умнее нас с тобой, даром что женщина: на кривой лошади не объедешь. Взявши от тебя такую запись, чтобы тебе не вступаться в царство, она, — говорит Фридрик, — тот же день велела напечатовать её, да и разослала по всем царям и королям, чтобы всяк ведал, а ко мне, говорит, прислала две, мало, видно, одной-то. Вот возьми, читай! Пожалуйста, не

проси меня: ничего не могу сделать, сам знаешь наши уставы: коль скоро кто из владык земных откажется от царства и даст в том на себя запись, то век-повеки должен оставаться без царства, по той самой причине, что царское слово свято, во веки веков нерушимо, не нами узаконено. Есть когда, к примеру, я за тебя вступлюсь, — говорит Фридрих, — то на меня вся Европия запиает, а одному супротив всех итти нельзя. Советую итти к турку, — говорит Фридрих, — он орда, нехристь, для него закон не писан; може, он не посмотрит на твою запись, да едва ли и есть она у него; а я, говорит, секретным манером, сколько смогу, буду вспомоществовать тебе и деньгами, и иным чем, в чём нужда будет, а армии, — говорит, — дать не могу». Вот такими-то словами и улещал Фридрих Петра Фёдоровича, — продолжал Антипа. — А на самом-то деле, толковать ли, его не запись страшила, а страшила сама матушка Катерина Алексеевна. Ведь она хоша и женского пола, а всех королей побивала: умна больно.

— А где он сейчас, Петр Фёдорович? — спросил Пугачёв, которого рассказ раскольника заинтересовал до сердечного колотья.

— Бог его ведает, — ответил Антипа, приманиваясь поудобнее. — Можа, промежду нас, грешных, ходит.

Тюрьма гомонила: в одном углу ругались, в другом молились, в третьем плакали. Пугачёв всего этого не замечал и был погружён в думу. Он не ведал своего будущего, но чувствовал, что его захватило какое-то ознобное течение и несёт неведомо куда. Мысль объявить себя спасшимся императором Петром Фёдоровичем его уже не пугала, Емельян с ней сжился. Конечно, размышлял он, лучше бы стать мужицким царём Емельяном Первым, но наш народ — баран, ему царя подавай из иноземцев, своего ему на дух не надо.

Утром 31 декабря 1772 года за Пугачёвым пришёл канцелярист Баженов и с ним два солдата из гарнизонного батальона. Емельяна вывели во двор и толкнули в сани. Один солдат сел на передок саней, другой рядом с Пугачёвым.

— Трогайте, с богом! — махнул рукой канцелярист и огненно взглянул на Пугачёва. — А тебя, сирота, Казань с кнутом да щипцами ждёт!



**Указ про то, как синбирское воинство
переметнулось к державному самозванцу
Пугачёву**

Когда загулял мужицкий царь-государь Емелька Пугачёв со своим воинством, громя воинские команды и захватывая крепости Заяицкой пограничной линии, то весть о его неистовой кровожадности ко всему дворянскому роду мигом добежала до Синбирска, весьма взволновала его начальствующую головку, и они тотчас собрались на совет в избе провинциальной канцелярии.

— Ну-с, что вы на это скажете, господа? — произнёс воевода, откинувшись на точёную спинку дубового кресла. — Каков наглец! Присваивает себе имя в бозе почившего императора и призывает крестьян к избиению помещиков!

Набожный надворный советник Кудрин несколько раз перекрестился, жалобно вздохнул и вопросительно уставился на полковника Чернышева, дескать, в столь щекотливых обстоятельствах самое важное слово должны произнести военные.

— Вы что-нибудь имеете нам сказать, Пётр Матвеевич? — присоединился к молчаливому вопросу своего заместителя воевода Панов.

Полковник Чернышев за шесть лет пребывания в синбирской глуши поистратил придворный лоск камер-лакея, но военных амбиций не лишился. На крестьянский бунт он смотрел, как на лёгкую возможность обратить на себя внимание государыни, стать генералом, спасителем дворянства от беспощадного злодея. Свой гарнизонный батальон он нещадно мучил муштрой, а из методов воспитания предпочтение отдавал палкам.

— У меня на руках приказ генерала Кара, — важно приосанившись, сказал Чернышев. — Мне надлежит немедленно выступить против злодея и поразить его, пока он не распростал крылья.

— Как! — ужаснулся надворный советник Кудрин. — Неужто вы оставляете Синбирск беззащитным?

— Это недопустимо! — поддержал своего заместителя Панов. — Мы же здесь, в Синбирске, сидим на тлеющих углях. Ещё несколько дуновений бунтарского ветерка, вроде этого подметного письма, и бунт может вспыхнуть здесь! У нас опасность двойная: крестьянишки ещё помнят Стеньку Разина под стенами града. Прошу вас, Пётр Матвеевич, сообщите генералу Кару, что оставлять провинцию без войск нельзя!

— Приказ подлежит немедленному исполнению! — отрезал полковник Чернышев. — Я человек военный. Вам, гражданским лицам, вольно обсуждать его, а моё дело воевать! Касаемо провинции, то сюда направлены из других губерний войска. За сим разрешите откланяться!

Полковник Чернышев подхватил со стола кожаные с раструбами перчатки и, щёлкнув каблуками, вышел. Панов и Кудрин проводили его взглядами и, не сговариваясь, достали из карманов табакерки, заправили по доброй понюшке в обе ноздри и дружно чихнули.

— Как ты думаешь, Фёдор Григорьевич, — спросил Панов, — наш синбирский Румянцев свернёт себе голову на Пугачёве?

— Свернёт, всенепременно свернёт, — ответил Кудрин. — А нам нужно немедленно бить челом губернатору Бранту, чтобы тот высылал в Синбирск воинскую команду. Наш Аника-воин уйдёт, мы голы останемся.

Известие, что гарнизонный батальон вот-вот выступит в поход против Пугачёва, поразило синбирян, как громом. Наиболее смыслённые сразу догадались, что город оставят без защиты, и не прошло и нескольких часов, как эта догадка стала достоянием всех обывателей. Скоро стали поступать и верные свидетельства, что уход воинской силы — не вздорный слух: полковник Чернышев стал обнаруживать явные признаки подготовки к походу, и возле провиантских амбаров стало тесно от телег, на которые солдаты грузили кули с сухарями, толокном, сушёной рыбой, вяленным мясом и несколько бочек водки. Обоз проследовал в крепость, туда же со всех концов города направились и офицерские чины батальона, которые

жили в своих домах уже по многу лет, сопровождаемые плачущими домочадцами.

Предстоящим походом в Синбирске были недовольны все. Дворяне считали себя обиженными и брошенными на произвол бродячих разбойничьих шаяк, которые в большом числе кружили возле Синбирска и только ждали случая захватить город и ограбить его жителей. Того же опасались купцы и мещане. Им уход полутысячи людей сулил немалые убытки в торговле. Но больше всего печалились гарнизонные солдаты. Многие из них обзавелись в Синбирске семьями, и теперь им грозила опасность сгинуть в оренбургской степи от сабли яицкого казака или стрелы, пущенной из лука башкиром. И, пожалуй, единственным человеком, который радовался походу, был полковник Чернышев. Он разъезжал по городу и крепости на раскормленном рыжем мерине, молодецки поглядывая на обывателей, и щедро жаловал своих подчинённых крепкими словами, а, порой, и затрещинами, поторапливая их к скорому выходу на злодея, чьи шайки близ Оренбурга Чернышев надеялся рассеять одним своим появлением.

К несчастью, в Синбирске не нашлось ни одного человека, который бы мог охладить воинский пыл бывшего камер-лакея. Те, кто его окружал, перед ним раболепствовали, а родовитые дворяне сторонились военного коменданта и лишь брюзжали на выскочку, возомнившего себя полководцем. Чернышев о бродившем среди дворян недовольстве своей особой знал и торопился поскорее покинуть город, но на сборы, как полковник ни спешил, ушло два дня.

На третий день утром батальон был построен в крепости, явились воевода, его товарищи и другие важные чины провинциальной канцелярии. Соборный протопоп отслужил молебен, и под частую барабанную дробь роты стали выходить на Большую Саратовскую, где на Чернышева с громким лаем накинута шелудивая дворняга, которую полковник когда-то стеганул бичом. Конь под полководцем шарахнулся в сторону, поскользнулся на замёрзшей луже и осел на круп так круто, что всадник едва удержался в седле. В толпах обывателей, сгрудившихся на обочине улицы, это происшествие не осталось

незамеченным и произвело на провожающих гнетущее впечатление.

Полковник Чернышев торопился, им, задолго до настоящего сражения, овладело нетерпение и воинственный пыл, которые опытный воин бережёт до часа решительной схватки с неприятелем и не тратит попусту. Он, не зная покоя, скакал на коне то в голову, то в хвост колонны, кричал на отстающих солдат, не давал им положенного отдыха и, делая по тридцать вёрст в сутки, измотанный маршем батальон через неделю прибыл в Ставрополь¹.

Дыхание гражданской войны в Заволжье стало более ощутимым. Это чувствовалось по злым взглядам местных крестьян, ругательствам из толпы, которая неизбежно собиралась вокруг солдат при их вступлении в каждое селение. Поразило полковника то, что, проходя мимо него, крестьяне перестали снимать с голов шапки. По его мнению, это уже был бунт, но он опасался возбудить стихийное возмущение и потому только скрипел зубами и торопил солдат.

В Ставрополе находилась воинская команда, и было поспокойнее. Чернышев поспешил к военному коменданту и получил от него приказ генерала Кара усилить батальон сотней волжских казаков и полутысячею калмыков, которые находились здесь. Расположив свою команду на отдых, полковник отправился принимать пополнение. Оно ему сразу не понравилось: казаки вольным с ним обращением, а калмыки поразили Чернышева первобытно-диким видом, это было какое-то воинство времён Чингисхана, одинаково смертельно опасное для своих начальников и противника.

Среди калмыков говорил по-русски только их командир, племённой князь, имя которого Чернышев не понял и не запомнил. Это был молодой поджарый калмык, от которого несло таким ароматом, что полковник чуть не задохнулся.

— Твои люди верны присяге? — спросил он, пристально глядя в расплюснутое лицо князя.

— Так, бачка, так! Государыня Катерин добрая наша

¹ Современный Тольятти.

матушка!

Известия из-под Оренбурга приходили тревожные: пугачёвцы плотным кольцом окружили крепость, каждый день устраивали на неё наскоки, их численность доходила до двадцати тысяч человек. Чернышева это не испугало, он почему-то был уверен, что при его появлении толпы немедленно рассеются, самозванец, после недолгой погони, будет им лично схвачен и доставлен к самой царице. Ум его занимали больше приятные для него последствия, чем предстоящее сражение. Чернышев не видел, что его солдаты вовсе не горят желанием броситься в бой, а на казаков и калмыков надежды питать не стоит.

Переход от Ставрополя к Оренбургу оказался труден. Наступил ноябрь, даже днём было студёно, из степи дул пронизывающий ветер, по ночам крепко подмораживало. Ночёвки стали мучением. Бывало, что проводили ночь под открытым небом возле костров. Если попадались деревеньки или уметы, то места под крышей всем не хватало, казаки и калмыки спали, согреваясь теплом лошадей, солдатам же почти не было возможности заснуть из-за холода. Не всегда случалось поесть горячей каши с солониной, по утрам грызли сухари и шли дальше в степь, которой, казалось, нет конца и края.

Бердская слобода была надёжно укреплена: на въездах в неё стояли пушки, горели костры, вокруг которых находились караульные. На эти огни и направлял бег своего коня всадник. Конский топот по мёрзлой земле был далеко слышен. Сначала залаяли псы, затем вокруг огней зашатались тени и раздались хриплые голоса:

— Стой, куда несёт?

Коня подхватили под уздцы, верхового стащили с седла и подволокли к костру.

— Кто таков будешь?

— Из Чернореченской. Надо известить анпиратора: полковник Чернышев вошёл в станицу с воинской силой!

Казака обыскали и повели к большой избе, освещённой пламенем костра. К Пугачёву вестник был допущен сразу. Мужичий царь был не один, а со своим фельдмаршалом

Белобородовым. Он выслушал казака и отпустил с пожеланием ему большой чарки водки.

— Как думаешь, Наумыч, — обратился Пугачёв к своему соратнику, — осилим Чернышева?

— И думать не моги, что не осилим, — ответил Белобородов, сверкнув хитрыми глазками. — Завтра к вечеру полковник будет болтаться на рели.

Ночь прошла в приготовлениях к сражению. Пугачёв готовился к нему с полной надеждой на победу, на его стороне была сила и небрежность государственной власти.

Полковник Чернышев в успехе завтрашнего боя тоже не сомневался. Выставил вокруг Чернореченской караулы, рано лёг спать, проснулся ни свет, ни заря и вызвал к себе офицеров батальона, командира сотни и калмыцкого князька.

Рекогносцировку будущего сражения он проводил, когда батальон, казаки и калмыки вышли из Чернореченской по направлению к Маячной горе. Чернышев долго не мудрствовал, приказал калмыкам быть слева, казакам — справа, впереди батальона поставил пушки. На них он сильно надеялся, артподготовка должна была посеять панику в толпе мятежников. Под равниной и вокруг горы стоял туман. Когда он рассеялся, Чернышев обнаружил, что пугачёвцы находятся совсем близко и приближаются к нему огромной ватагой без всякого строя. Полковник двинулся им навстречу, и оба войска сошлись у Маячной горы. Пушкари выкатили вперёд орудия и приготовились стрелять. Чернышев был готов сделать отмашку на залп, но его внимание привлекло движение в передовых рядах противника. Они разомкнулись и вперёд вышли с десятков солдат в форме русской армии.

— Не стреляйте, старинушки! — закричали они, размахивая руками. — Анпиратор всех вас прощает! Бросайте ружья! Встречайте анпиратора!

Движение батальона прекратилось, офицеры бросились по рядам, раздавая зуботычины, но это не помогло сохранить дисциплину. Солдаты в смятенном состоянии чувств смотрели на всадника в красном кафтане, который с обнажённой саблей в руке галопом мчался вдоль строя своих войск на ослепительно

белом коне. В этот момент с Маячной горы, захваченной пугачёвцами, выстрелила пушка, и ядро попало в батальонный снарядный ящик. Раздался оглушительный взрыв. Солдаты стали бросать ружья и браться с мятежниками. Их примеру последовала сотня волжских казаков. Пронзительно крикнул что-то командир калмыков, и его отряд, выпустив град стрел в сторону приближавшихся к нему мятежных казаков, стал уходить в сторону Чернореченской. Это был разгром. Офицеры батальона отчаянно отбивались штыками и саблями, но их скоро обезоружили и повязали. Схватили и полковника Чернышева, который в полусознательном состоянии, обхватив голову руками, сидел на большом батальонном барабане. Его потащили к Пугачёву, но тот от пленника отмахнулся.

— Всех офицеров ведите в Бердскую! — закричал он, приподнявшись на стременах. — Жалую победителей двойной чаркой вина!

До Бердской слободы было четыре версты, и ликующие толпы вооружённых людей устремились к ней. Там их ждало царское угощение. Следом тащили захваченные пушки и волокли нанизанных на верёвку, как бусы, пленных офицеров. Последним в связке, мотаясь из стороны в сторону, брёл полковник Чернышев.

Пугачёв успел переодеться, собрать своих приближённых и встречал их на крыльце «царской избы», застланном красным сукном, сидя в кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками. Офицеров выволокли под крыльцо и поставили на колени.

— Для чего осмелились вооружиться против меня? — важно спросил Пугачёв. — Ведь вы знаете, што я ваш государь. Ин на солдат нельзя пенять, они простые люди, а вы офицеры, артикул знаете. Впрочем, кто желает мне служить, я прощаю.

Пугачёв выжидательно воззрился на офицеров. Те, опустив головы, обречённо молчали. Молчала толпа, ожидая решения их участи.

— Что ж, — сказал посуровевший Пугачёв, — Овчинников, начинай!

Четырёх офицеров схватили и потащили к виселицам-релям.

Остальные перед своей казнью обречены были видеть смерть товарищей.

Полковника Чернышева, по знаку Пугачёва, подвели к крыльцу вплотную.

— Чернышев! — язвительно сказал самозванец. — Какой ты воин? Ты камер-лакей, тебе шандалы зажигать, тарелки подносить надо, а ты махать сабелькой вздумал!

Полковник молчал. Пугачёв махнул рукой, и Чернышева потащили к виселице.

— Твоё императорское величество! — сказал фельдмаршал Белобородов. — Таво казака, что о Чернышеве донёс, наградить надо. Верный казак!

Из толпы, окружавшей крыльцо, вышел парень, который сообщил о прибытии солдат в Чернореченскую. К Пугачёву поднесли серебряное блюдо. Он взял с него голубую ленту, к которой был прикреплён рубль с изображением Петра Великого.

— Получи, казак, награду за верность!

Толпа вокруг радостно зашумела. Пугачёв возложил на грудь казака орденскую ленту и затем протянул чарку вина.

— Благодарствуем! — вымолвил потрясённый свалившимся на него счастьем парень. Его подхватили товарищи, и они отправились к столам с вином и закуской.

Бердская слобода гуляла, крестьянская вольница праздновала победу.



Указ про то, как Пугачёв второй раз побывал в Гинбирске

Новый главнокомандующий карательными войсками граф Панин, назначенный взамен скоропостижно скончавшегося генерала Бибикова, избрал своей ставкой Синбирск и явился туда в сопровождении пышной свиты, в которой, кроме офицеров штаба, были и не менее значимые для графа особы. Панин и на войне не изменял образу жизни и своенравным привычкам сиятельного русского вельможи: по утрам его поднимал, умывал и одевал вышколенный камердинер; брил, напмаживал и полировал ногти графа личный парикмахер. За обедом, который для Панина готовили два французских и один русский повара, слух графа и его гостей услаждала музыка в исполнении оркестра крепостных музыкантов; развлекался и тешил свою натуру Пётр Иванович псовой охотой, которую привёз за собой на четырёх громадных телегах в собачьих избушках.

Граф приступил к исполнению должности усмирителя пугачёвского бунта в благоприятной для своей властолюбивой натуры обстановке: победным миром была завершена война с турками, и Панину были переданы в распоряжение общим счётом двадцать восемь конных и пехотных полков и пятнадцать гарнизонных батальонов. Все они были выдвинуты и развёрнуты на огромной территории Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерний, где занимались искоренением бесчисленных очагов пугачёвщины, имевшихся почти в каждом селении. Непосредственно за Пугачёвым, который захватил Саратов и после устремился к Царицыну, были направлены особые команды во главе с офицерами, что уже имели не по одному жаркому делу с самозванцем и знали его повадки и уловки. За Пугачёвым гнались и Михельсон, и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов — кто только не мечтал изловить «мужицкого анпиратора»? Однако ни одному из них не удалось пленить Пугачёва, его предало, как это часто бывает на Руси, ближнее окружение. Резвее всех оказался Суворов. Ему и досталась сомнительная, в глазах потомков,

честь конвоировать Пугачёва из Яицкого городка в Синбирск.

Как главный сыщик Синбирской провинции канцелярист Баженов имел немалую власть, но был беден и непременно жаждал разбогатеть, и не крохоборным мздоимством с обывателей: Евграф Спиридонович уже не один год ждал случая, чтобы одним махом сорвать большой куш, купить имение и зажить господином. Посему его взор немедленно устремился в сторону Пугачёва, и он стал за ним скрупулёзно следить; доступная канцеляристу секретная переписка позволяла ему знать размеры ущерба, наносимого самозванцем казне и частным лицам. Баженов вёл подсчёт стремительно возраставшему богатству самозванца и лелеял надежду найти случай, чтобы на него покуситься.

— Где ты запропал, Евграф? — сердито сказал заместитель коменданта Синбирской крепости майор Гаранин. — Завтра здесь будет Пугачёв, и граф хочет знать, какое узилище уготовано злодею. Что скажешь?

Баженов не стал спешить с ответом, в его интересах было поместить Пугачёва в такое место, куда бы он был вхож, чтобы иметь возможность исполнить свою задумку, поэтому ляпнул на пробу первое, что пришло на ум:

— Бросить злодея в яму, да крыс ему туда, чтобы не скучал, насажать!

— Не дури, Евграф! — отмахнулся от предложения майор. — Пугачёв, конечно, изверг, но для графа он долгожданный и ценный трофей, посему его сиятельство желает поместить самозванца в пристойном месте, дабы туда не зазорно было войти благородным людям, которым граф соизволит показать свою добычу. Думай, Баженов, и укажи такое место сейчас же, не сходя со стула!

Энергичная речь начальника убедила Баженова, что он может, не опасаясь подвоха, сделать первый шаг к исполнению своей задумки. Он предполагал, что Гаранин обратится к нему с чем-нибудь подобным и, узнав, что Пугачёв схвачен, обежал всю крепость и высмотрел подходящее место для узилища.

— Есть такое место, что граф сможет видеть трофей хоть круглые сутки из окон своей резиденции, — задумчиво

произнёс канцелярист и примолк.

— Горазд ты, Евграф, из любого вытянуть душу! — осерчал Гаранин. — Говори дело!

— В двадцати саженьях от мясниковского дома стоит каменная палатка. Как раз подходящие хоромы для Пугачёва.

— В них пусто? — привстал со стула Гаранин.

— А разве у тебя, майор, нет мочи повыбрасывать оттуда всё, что там есть? — ответил Баженов. — Но не забудь, что я хочу потолковать с Пугачёвым один на один.

— Это ещё зачем? — вскинулся Гаранин. — Какое у тебя до него дело?

— Пугачёв был у меня год назад в руках, вот и хочу покалякать со старым приятелем. Должок за ним есть: я его, отправляя в Казань, одел, а он так и не рассчитался.

— Выдумщик ты, Баженов, — хохотнул майор. — В первый день за этим ко мне не подходи. Вот уляжется вокруг злодея суматоха, так и быть, дам тебе полчаса на свидание с приятелем. Но и меня изволь не забыть посулом.

Конвойный поезд с Пугачёвым был ещё в десяти верстах от Синбирска, а на Большой Саратовской улице уже давно толпились обыватели, ожидая, когда мимо них провезут донского казака, возмутившего мужиков на погибель дворянского рода. Людям благородного сословия самозванец был заведомо отвратителен, однако они, невзирая на ветреную погоду и осеннюю морось, мучаясь нетерпением, ждали увидеть его, как некоего диковинного зверя, обожравшегося человечиною и наконец-то запертого в клетку, но всё ещё свирепого и смертельно опасного.

Люди протомились в ожидании несколько часов, когда мимо них на косматых конях проехали трое казаков, которые покрикивали, чтобы все подались от дороги в сторону, а следом за ними показались гусары графа Меллина. Сам премьер-майор, пучась от гордости, восседал на огромном рыжем жеребце и поглядывал на благородных обывателей с таким неуёмным бахвальством, будто ему одному удалось загнать и схватить самозванца и сейчас он предъявляет публике свой драгоценный трофей.

За гусарами шла пехота, а далее двое коней везли одноосную телегу, на которой стояла деревянная клетка с заключённым в неё Пугачёвым. Самозванец, вопреки ходячим представлениям о нём как о человеке богатырской наружности и силы, оказался заурядным мужиком, никак не страшным на вид, искательно отвечавшим на вопросы шагавшего рядом с телегой генерал-поручика Суворова, которого весьма занимало устройство пугачёвского войска. За телегой с Пугачёвым шла сотня гренадёров поручика Москотиньева, и замыкали конвойный поезд две сотни донских и сотня яицких казаков, возглавляемые казачьими старшинами и полковниками. После прохода конвоя обыватели будто проснулись, все разом заговорили, заразмахивали руками, ведь синбиряне такой народ, который на мякине не проведёшь, и в толпе прошелестел слух, что самозванец не настоящий: не может такой плюгавец, которого им предъявили, возмутить треть России и потрясти бунтом устои державы. И многие обыватели поспешили следом за конвоем, но тот уже свернул на Московскую улицу, которую от любопытных перегородили штыками солдаты гарнизонного батальона.

Евграф Баженов успел примелькаться офицерским чинам военной канцелярии главнокомандующего, и место для встречи Пугачёва выбрал возле ворот мясниковского дома, неподалёку от своего покровителя майора Гаранина, который был главным распорядителем представления самозванца графу Панину. По его команде гусары, солдаты, гренадёры и казаки, сопровождавшие узника, оцепили мясниковский дом, телега с Пугачёвым въехала во двор, где, стоя на крыльце, самозванца ожидали генералы Пётр Панин и Павел Потёмкин. Майор Гаранин с двумя солдатами подошёл к клетке, её отворили, и, сняв Пугачёва с телеги, подвели к крыльцу. Баженов заволновался, офицеры канцелярии оттеснили его в свой последний ряд, впереди Евграфа стояли два громадного роста гвардейца, заслоняя ему обзор, но он сумел извернуться, подкатил сосновый чурбан, встал на него и сразу оказался выше всех.

— Кто ты таков? — спросил граф Панин, окидывая Пугачёва презрительным взглядом.

— Я, батюшка, Емельян Иванов Пугачёв, — глухо

промолвил пленник.

— Как же ты смел, вор, называться государем? — закипая злобой, сказал граф.

— Знаю, что Богу было угодно наказать Россию через моё окаянство.

Дерзость самозванца всех потрясла, и граф, спрыгнув с крыльца, коршуном накинудся на него и отвесил ему пощёчину.

— Будет драться, — произнёс, отступив на шаг от Панина, Пугачёв. — Забивайте в колодки и бросайте в яму. Я спать хочу.

Эти слова отрезвили графа. Он покраснел и, не проронив ни слова, удалился в свои покои. Следом за ним двор стали покидать зрители, а Пугачёва повели к кузнице. Там его заковали в ручные и ножные кандалы и унесли в каменную палатку, где обвязали вокруг туловища цепью, и концы её закрепили железным клином в кирпичной кладке.

Баженов уходил с мясниковского двора в некотором смятении: всегда уверенный в себе, он начал сомневаться, что совладеет с Пугачёвым, тот перед Паниным выказал себя совсем другим человеком, чем тот, что стоял перед ним почти год назад. Возле каменной палатки он подождал Гаранина. Когда майор из неё вышел, Баженов на него вопросительно взглянул.

— Не знаю, как тебе подсобить, Евграф, — сказал Гаранин. — Завтра Пугачёва явят дворянству и простому люду. Но уже на следующий день им вплотную займётся Потёмкин. Палачу уже велено быть готовым.

— Битый плетью Пугачёв мне не нужен, — заволновался Баженов.

— Думаешь, что после битья он не поверит твоему вранью? — усмехнулся Гаранин. — Зря ты вокруг него хлопочешь. Всё, что он имел, у него взяли в Яицком городке. Но приходи завтра, ближе к ночи. Так и быть, дам вам пошептаться, но и ты не забудь, что посулил мне вчера.

Шагая к воеводской канцелярии, Баженов продолжал думать, что ему непросто будет совладать с Пугачёвым. Но войдя в свою комнату, окреп духом: «Быть того не может, чтобы мужик против меня устоял! Я таких ещё не видел, хотя бывали и покрепче Емельки, а его уже и без меня сломали».

На следующий день желающих посмотреть на самозванца дворян было мало. Многие отказались его видеть из-за омерзения и ужаса, которое вызывал злодей в их благородных душах, те же, кто приходил в каменную палатку, видели совсем не то, что представлялось им в воспалённом ужасом воображении. Дворяне быстро прошли, и стали пускать простонародье. Шуму возле Пугачёва прибавилось, но опять же никто к узнику не обратился. И только забежавший впопыхах синбирский исправник, человек весьма объёмистый в брюхе и короткошей, не видя в Пугачёве ничего страшного, изумился.

— Так это Пугачёв! — сказал он громко. — Ах, ты дрянь какая! А я-то думал, он бог ведь как страшен!

Зверь зверем стал Пугачёв, кинулся на исправника, едва его не ухватил за горло, да цепь не дала, и как взревел:

— Ну, счастлив твой бог! Попадись ты мне раньше, я бы у тебя шею-то из-за плеч повытянул!

Обыватели отшатнулись от Пугачёва, а исправнику сделалось дурно, и он осел без памяти на руки подбежавших караульных солдат.

Всех посетителей выпроводили, Пугачёв, оставшись один, примостился на овчинной подстилке и задремал. Но отдохнуть ему не пришлось: не прошло и часа, как дверь лязгнула и отворилась; в камеру, держа в руке горящую свечу, вошёл Баженов.

— Сумрачно живёшь, Емельян! — ворчливо произнёс он, устанавливая свечу в шандал, и огненно воззрился на узника. — Вот беда, да ты меня не помнишь?

— Много передо мной всякого народа перебивало, — загремев железом, Пугачёв привалился к стене. — Нет, не ведаю, что ты за человек.

— А я мечтал, что ты меня сразу узнаешь, — сказал Баженов и, взяв стул, сел, а на другой стул выставил из узелка, что принёс с собой, полуштоф очищенной, солёные огурцы и ветчину. — Ты ведь бывал у меня в гостях, когда тебя привезли из Малыковки. Винюсь, я тогда тебя не попотчевал, но откуда мне было знать, что ты анпиратор Пётр Фёдорович?

— Теперь узнаю. — Пугачёв бросил алчный взгляд на вино и

сглотнул слюну. — Ты тот канцелярист, что меня переправлял в Казань.

— Ну, наконец-то признал! — шумно обрадовался Баженов. — Долгонько же ты бегал! Я как услышал про тебя, что ты царь, не мог надивиться! Обвёл, всех обвёл!

— Ты ведь не просто так явился, — обиделся Пугачёв. — Говори дело или проваливай!

— Дело, говоришь... — Баженов чуть усмехнулся. — Должок за тобой имеется, ваше анпираторское величество.

— Какой ещё такой долг? — удивился Пугачёв. — Я, слава богу, никому не обязан.

— Конечно, такую малость ты мог и запомнить, — сказал Баженов. — Но тогда я тебя крепко выручил.

— Это ж как выручил?

— У тебя малыковский сторож шубу увёл, а я тебя одел, а то бы ты до Казани не доехал, от холода точно бы околел.

— Как же, помню, дал рваный армячишко, я в нём, чтобы согреться, вприпрыжку за санями бежал.

— Вон как ты заговорил, — напустил на себя обиду Баженов. — Я тебе дал бы и заячий тулупчик, но неоткуда было взять. Но тогда ты и армяку был рад, а теперь, после царских соболей и бобров, и помнить о нём забыл.

Канцелярист распечатал полуштоф, налил половину кружки очищенной и протянул Пугачёву.

— Изволь угоститься, ваше величество! А за армячишку я на тебя обиды не держу. Хотя сейчас вижу, что не угодил тебе в тот раз.

Пугачёв взял кружку, опорожнил её и захрустел огурцом.

— Хватит сети плести вокруг да около. Вино-то недаром выставил, стало быть, я тебе нужен.

Баженов взял свечу и, подняв её на вытянутой руке, осветил крюк в потолке.

— Готовься, Емельян, свет Иванович! Завтра тебя Потёмкин на него вздёрнет и зачнёт плетью потчевать. А я тебе могу помочь, ясное дело, не даром. Палач Прошка, хоть и лют к ворам, да и он человек, и его ублажить можно.

— Нечем мне его ублажать, — сказал Пугачёв. — Да и

зачем?

— Экий ты строптивец, — поморщился Баженов. — Прощка может одним ударом мясо до костей вырвать, а может и видимость изобразить, только громче кричи. Если согласен, я ему заплачу, но ты, чай, многие клады имеешь? Пожертвуй одним во своё спасение.

Пугачёв, зазвенев цепью, тяжело вздохнул.

— Нет у меня кладов. Всё, что попадало в руки, отдавал людям.

Баженов удивился и не поверил. Самозванец ещё не взял Казань, но слухи о его захоронках уже гуляли по всему Поволжью.

— И ты с такими повадками кабацкого гуляки хотел стать царём?

Пугачёв нахмурился и окинул канцеляриста высокомерным взглядом.

— А может тот, кто выше любого царя, дал мне такую судьбу?

— На бога киваешь? — поморщился Баженов. — Да если бы он тебя восхотел на царствие возвести, ты бы родился царём, а не висельником!

Загремев цепями, Пугачёв поднялся на ноги.

— Народ выше царя, и его глас — божий!

— Да ты и вправду — дурак, — презрительно сказал Баженов. — Ты бы не о царстве думал, а о себе. Открой клад, а я с Прощкой перетолкую.

— У тебя одно на уме — золото! — вскипел Пугачёв. — Тыфу на него! Сыпал я его по сторонам, когда находил — не радовался, а терял — так не горевал.

— Вот и поведай, где терял? — насторожился Баженов. — Может, я найду, а тебе от меня помощь будет.

— Что ты заладил, как сорока про Якова! Клад, клад! Я такой клад по всей русской земле развеял, что ему нет цены!

— Опять темнишь, твоё величество! Какой клад?

— А такой, — глядя мимо Баженова, медленно произнёс Пугачёв. — Я в каждом мужике посеял догадку, что и он может стать царём.

Баженов от столь святотатственной дерзости на миг онемел, но всё-таки сумел совладать с собой. «Он вознёсся в своей гордыне до бога, а я, дурак, за ним тороплюсь, — подумал он. — Емелька хоть и побывал анпиратором, но нутро у него как было мужицким, так и осталось».

И бывалый канцелярист решился на крайнее средство: взял полуштоф, заткнул его пробкой и равнодушно вымолвил:

— Засиделся я у тебя, пора и честь знать.

— Погоди торопиться, — дрогнул Пугачёв. — Да и вино на место поставь, а то выронишь от того, что я скажу. Правду говорю: нет у меня ни одной захоронки, разве что этот случай тебе поможет...

— Говори! — почти вскричал Баженов и, торопясь, щедро наполнил кружку очищенной. — Испей, голубчик, вино прояснит память.

— Теперь слушай, — похрустев огурчиком, сказал Пугачёв. — Однова, уже за Курмышем, так крепко насели на меня гусары Меллина, что пришлось мне от них уходить, бросив обоз и всё, что у меня было.

— И где это случилось? — Баженов потряс Пугачёва за плечи. — Где?

— Сейчас, дай бог памяти, вспомню. Деревня с таким дурацким прозвищем... Да, точно, Кротковка!

— И много ты казны потерял? — упавшим голосом спросил Баженов.

— Всё, что имел, — сказал Пугачёв. — Было у меня и золото, и дорогие камни, одних медных денег возов пятнадцать было.

— И кто это всё взял? Меллин!

— Кто его знает. — Пугачёв взглянул на полуштоф. — Но вряд ли Меллин. Он на мне, как собака, висел до Чёрного Яра... А ты это, того, выплесни в кружку всё, что осталось. Ведь я, наверное, последний раз в жизни вином балуюсь.

Баженов вышел из каменной палатки с ощущением человека, которого нагло обокрали. От того богатства, которым владел Пугачёв, остался лишь зыбкий и неверный след, как за кормой лодки, но Баженов был опытным сыщиком и не дал ему потеряться. От Пугачёва он поспешил в воеводскую канцелярию

и, зайдя в свою комнату, кликнул помощника:

— Викентий! Ступай ко мне!

Долгополов высунулся из своей пыточной подсобки, где жительствова­вал, и вопрошающе уставился на канцеляриста.

— Возьми по казённой надобности с воеводского двора двух лошадей и коляску. Я буду ждать здесь.

— Куда едем? — надевая на овчинную безрукавку просторный армяк, спросил Долгополов.

— На кудыкину гору! — озлился Баженов. — И поторапливайся!



**Указ про дворянина Кроткова, ставшего
по милости императрицы Екатерины Великой
обладателем пугачёвской казны**

По высокому и светлому коридору Екатерининского дворца, отражаясь в многочисленных зеркалах и постукивая по навощённому дубовому паркету каблуками французских башмаков, мимо караульных офицеров гвардии и скользящих неслышно камер-лакеев, бледный от волнения и пудры шёл генерал-майор Павел Сергеевич Потёмкин, которому императрица Екатерина Алексеевна назначила быть в её рабочем кабинете с докладом об итогах следствия по делу злодейского бунтовщика и самозванца Емельки Пугачёва.

Государыня была полностью осведомлена о ходе расследования, ей немедленно доставляли протоколы допросов Пугачёва, коих сделали три: в Оренбурге, в Синбирске и в Москве, но Потёмкин был достаточно опытен, чтобы не забыть взять на аудиенцию копии этих документов, а также экстракт по всему следствию, составленный им самим и подписанный первоприсутствующим Особой Следственной комиссии московского отделения Тайной экспедиции Сената московским губернатором и главнокомандующим князем Волконским.

Екатерина Алексеевна находилась в своём кабинете одна. Она сидела в кресле за большим столом и, отложив в сторону книгу, милостиво протянула Потёмкину руку для поцелуя. Павел Сергеевич безукоризненно прикоснулся нафабренными усами к благоухающему атласу запястья и, отступив на шаг, нежно и почтительно взглянул на государыню.

— Господин Вольтер нас не забывает своим вниманием, — сказала Екатерина Алексеевна. — Вот новое переиздание своего «Кандида» изволил преподнести, а с ним и письмецо: фернейского философа интересуе маркиз Пугачёв, сие для него главное. А книжку он прислал с целью намекнуть, чтобы я последовала философии Панглоса: «Всё, что ни случаетсЯ, то к лучшему». К какому лучшему явился Пугачёв? Может, тебе, Павел Сергеевич, это известно из твоих задушевных бесед с

разбойником?

— Из допросов Емельки, ваше величество, я познал только одно — его подлый дух. Он есть наихудшее для дворянства зло, которое можно только выдумать. И не дай бог, чтобы в России когда-нибудь повторилось подобное.

— Степан Иванович имеет особый дар обращаться с простонародьем, — задумчиво промолвила государыня. — Он доносит, что маркиз Пугачёв воображает, будто я ради его храбрости могу его помиловать, и что будущие его заслуги заставят нас забыть его преступления.

— Обер-секретарь Тайной канцелярии его высокопревосходительство господин Шишковский донёс вам, ваше величество, совершенную правду: злодей вздумал надеяться на помилование. Сообща члены Следственной комиссии решили не разувирать Емельку в его пустых надеждах, дабы он не подох от страха до казни.

— Однако среди дворян разгулялись слухи о моей мнимой милости, которую ты и Шишковский учредили выдумать якобы для пользы дела, — печально сказала Екатерина Алексеевна. — Дворяне мной недовольны, а некоторые и поругивают за слабодушие. Это не есть хорошо.

— Тем более будут велики их ликование и благодарность вашему величеству, когда разбойника четвертуют.

Государыня окинула грубоватую фигуру генерала испытывающим взором, усмехнулась и молвила:

— Хотя и далеко тебе по всем статьям до твоего дядюшки Григория Александровича, но и ты не глуп, как и все Потёмкины. Изволь присесть, где пожелаешь.

Откинув фалды парадного генеральского кафтана, Потёмкин осторожно опустился на край кресла и перевёл дух, догадываясь, что аудиенция стала складываться для него удачно, и императрица к нему по-прежнему благосклонна, несмотря на козни, которыми потчевали её враги генерала, и первый среди них граф Панин, возомнивший себя единственным усмирителем пугачёвщины.

— Стало быть, Павел Сергеевич, ты считаешь, что его нужно четвертовать, без всякой оглядки на Вольтера? Скоро же из тебя

выветрилось восхищение лучшим писателем Европы, перед которым ты преклонялся и весьма недурно переводил.

— Я до сих пор, ваше величество, пребываю в восторге от его книг, — почтительно произнёс генерал. — Однако любопытно было бы знать мнение философа после того, как Пугачёв побывал бы в его замке, растопил камин его бессмертными рукописями, сжёг бы в нём стол, за которым Вольтер трудился, а, уходя, спалил до основания, как Казань, замок и его окрестности.

— Будем надеяться, что с ним такая беда не случится, — улыбнулась Екатерина Алексеевна и погрозила пальчиком. — Остерегись, Павел Сергеевич, повторять эти слова перед кем бы то ни было, если не хочешь прослыть врагом Просвещения, тем более, что ты уже провинился перед Европой, когда подверг Пугачёва кнутовой пытке.

— Это было совершено по приказу главнокомандующего графа Панина, — слукавил Потёмкин.

— Ладно, оба хороши. — В голосе государыни послышалась озабоченность. — Я читала твой допрос и ясно увидела, что под плетью Пугачёв наврал с три короба: не может у него быть двух десятков подстрекателей к самозванству и бунту. Добро бы их двое оказалось. Но почему они только раскольники? Меня вот никак не покидает подозрение, что в подстрекателях есть иностранцы.

— Ваше величество! — сказал, встав с кресла, Потёмкин. — Будучи неоднократно допрошен, Пугачёв твёрдо показал, что никакие иностранцы не смущали его на принятие имени покойного государя. Особая Следственная комиссия, заседая, определилась по столь важному вопросу: Пугачёв говорит правду.

Государыня задумалась, и Потёмкин, стараясь не скрипнуть, сел в кресло. В кабинете было душно, по генеральскому носу скатилась вниз капля пота, он подхватил её языком и почувствовал, как у него во рту стало слегка солоно.

— Как себя маркиз Пугачёв чувствует? А то меня известили, что на него накатывает нечто вроде меланхолии. Он должен дожить до эшафота. Озаботься, Павел Сергеевич.

— Конечно, Емельке не над чем веселиться, — почтительно произнёс Потёмкин. — Он свою судьбу и без судебного приговора знает, потому и хнычет, и слёзы льёт, но умирать не собирается. В том видна его подлая мужицкая натура, безжалостная к другим и чувствительная лишь к себе.

— Всё должно кончиться казнью, — горько промолвила Екатерина Алексеевна и промокнула платочком уголки глаз с таким жалобным вздохом, что Потёмкин уверовал в её искренность. — Но каково моё положение! Я так не люблю этого. Европа подумает, что мы живём во времена Ивана Васильевича; такова честь, которой мы удостоимся впоследствии.

— Надо Европе показать сожжённую злодеем Казань. Может, она тогда соизволит проникнуться к нам сочувствием, — сказал Потёмкин. — Я защищал крепость, когда разбойники жгли храмы, монастыри, дома обывателей. Речка Казанка была запружена убитыми разбойниками людьми.

— Ты мне напомнил о разорении, коему подверглись дворяне Казанской и Оренбургской губерний, хотя как казанская помещица я об этом не забывала. Казань надо будет отстраивать заново, а пострадавшим от пугачёвского разорения помещикам, поелику это возможно, надо оказать вспомоществование, разумеется, в разумных пределах. Не учредить ли для этого дела особую комиссию, я ещё решу, но хотелось бы знать, нужна ли она?

Государыня затронула болезненную тему, которую сейчас взахлеб обсуждали пострадавшие дворяне, кои полагали, что правительство должно возместить все нанесённые им пугачёвщиной убытки. У Потёмкина было на этот счёт своё мнение, и он посчитал своевременным донести его до государыни.

— Убитых злодеями дворян возвернуть сможет только бог, — вкрадчиво промолвил генерал. — В остальном же дворянство пострадало не так уж и значительно. Как это ни кощунственно звучит, многим дворянам разорение должно пойти на их же пользу.

— Что ты такое, Павел Сергеевич, говоришь? —

забеспокоилась Екатерина Алексеевна. — Разве может быть от разорения какая-нибудь польза?

— Рассудите сами, ваше величество, — стараясь быть убедительным, продолжил Потёмкин. — Земли дворян остались у них в сохранности, крестьяне никуда не подевались, а тех, кто пристал к бунту, карательные команды высекут и вернут владельцам, стало быть, имущество помещиков каким было, таким и осталось.

— Но ты же сам сказал, что Казань сожжена, а также многие усадьбы, — напомнила государыня.

— В Казани, что и было порядочного, так крепость, но она цела. Сгорели обывательские избы, так на их месте уже стоят новые. Что касаясь усадеб, то смею вас уверить, ваше величество, большинство из них представляли собой ветхие дедовские хоромы, возведённые ещё при Алексее Михайловиче, а то и ранее, когда казанская и синбирская окраины начали заселяться дворянами на пожалованные им земли. Они так и жили бы в своих хижинах, не мечтая о лучшем, теперь же у них есть возможность построить новые просторные и светлые дома, обставить их на современный лад и зажить, если не вполне по-европейски, но близко к этому.

— Стало быть, не всё так худо! — повеселела Екатерина Алексеевна. — А ведь ты, Павел Сергеевич, угадал мои шестилетней давности мысли. Когда я была в Синбирске, то как-то поглядела из окна единственного в сем граде каменного дома Твердышева на полуразрушенную крепость, обывательские домишки и подумала, что недурно бы всё это развалить и построить, если уж не из камня, хоть из хорошего дерева, приличные дома. Но откуда дворяне возьмут на это деньги? Пугачёв их дома не только жёг, но и грабил. Да, кстати, много ли у него взято награбленных им денег?

— Наше дворянство прятать свои деньги умеет, — сказал Потемкин. — Из помещичьих усадеб Пугачёв поживился немногим, в основном, серебряной и позолоченной посудой. Но им разграблены казначейства во всех городах, где он побывал, и там ему досталась только медь, которую он разбрасывал народу возами.

— А мне доносят о его несметной золотой казне, — удивилась государыня. — Или это не так?

— Золото Пугачёв брал на уральских заводах и в Казани. Часть его удалось отбить у него генералу Михельсону, но под Чёрным Яром золотой казны у Емельки уже не нашли.

— Любопытно! — оживилась Екатерина Алексеевна. — Это сюжет для Вольтера. Извещу его, что маркиз Пугачёв по примеру Стеньки Разина спрятал свои сокровища в громадном кургане на берегу Волги. Надеюсь, это отвлечёт философа от его несносных брюзжаний в адрес России. И он напишет философскую притчу о бренности человеческого бытия.

— Пугачёв золото не спрятал, а потерял, — значительно вымолвил Потёмкин.

— Никогда бы не подумала, что он такой растяпа.

— За Казанью на Пугачёва наслел со своей гусарской командой граф Меллин и гнал его, не давая разбойнику продыху. В одной деревне он так на него наслел, что Емелька бежал в одном исподнем, оставив всё, что у него было.

— И граф стал обладателем пугачёвского золота? — спросила Екатерина Алексеевна с ощутимой ноткой неподдельного интереса к почти рыцарскому приключению гусарского майора.

— Меллин, захватив усадьбу, не стал в ней шариться и поспешил за Пугачёвым.

Государыня с улыбкой посмотрела на выжидательно примолкшего Потёмкина и сказала:

— Полно, Павел Сергеевич, мучить меня любопытством. Кто же нашёл клад Пугачёва? Объяви, кто сей счастливец.

— Должен огорчить ваше величество, золото досталось негодному дворянину Кроткову.

— В чем же его негодность? Он что, прилеплялся к Пугачёву?

— Степан Кротков настолько негоден, что вряд ли даже Емелька взял его в свою шайку. Он числится в отпуске по Преображенскому полку. Там его аттестуют как плохого солдата, вралю, нечистого на руку картёжника и забулдыгу. Год назад от долгов он бежал из Петербурга в гробу...

— Как в гробу! — всплеснула руками донельзя заинтригованная Екатерина Алексеевна. — Он что, стал покойником?

— Прикинулся неживым, ваше величество. И вот такому прохвосту достался клад.

— И как он велик? — спросила государыня. — Любопытно, как разжился маркиз Пугачёв.

— Думаю, тысяч двести в золотых монетах и полстолька в драгоценных вещах, — сказал Потемкин.

— Этот Кротков, наверное, поспешил разгуляться?

— Ведёт себя тихо. Сыщик донёс, что он заказал себе шубу на бобрах, — многозначительно доложил Потёмкин.

— На бобрах? — звонко рассмеялась государыня. — Ну, ты меня, Павел Сергеевич, развеселил, а то я совсем захандрила.

— Прикажете изъять казну у одного Кроткова? — деловито поинтересовался Потёмкин. — И куда его самого укажете определить?

— У Кроткова, конечно, изъять казну в наших силах, — задумавшись на мгновение, сказала Екатерина Алексеевна. — Только кому будет от этого прок? Мне ворованных денег на дух не надо. Отдать их дворянам, которые потерпели убыток от пугачёвщины, но как? Добрые люди давно уже смирились с тем, что с возу упало, то пропало. На делёжку набегут худые, ища возможности поживиться. В Казани ты, Павел Сергеевич, устроил раздачу имущества, взятого у Пугачёва, так до драки дело дошло. А мне надо думать, как умиротворить царство, утешить обездоленных. Разве не об этом мне надо заботиться?

— Воистину так, ваше величество! — поспешил согласиться Потемкин.

— Всех разом сделать счастливыми даже я не могу, — кротко промолвила государыня. — Но одного на каждый день осчастливить мне вполне по силам. Пусть сегодня им будет Кротков. Вели ему моим именем, генерал, не болтать и пять лет сидеть на золоте в своей деревне, не показываясь из неё даже к соседям. После этого он волен жить, как захочет.

Указ про Ёмельянова птаху

Из земли
Здесь вставали бунтарские грозы
И кровавой надеждой питалась заря...
Вот везут,
Вот везут по синбирскому взвозу
В кандалах и железах надежу — царя.

Свищет кнут, и крутые бунтарские выи
Возлюбила петля да топор палача.
Вот везут,
Вот везут по дорогам России
В зарешённом троне царя Пугача.

Тяжелы,
Словно скипетр государев, колодки.
Опостылел и солнца державный венец.
Вот звенят,
Вот звенят цепей кованых чётки:
— Отгулял, отгулял, молодец-удалец!

Блещет взгляд Пугачёва державною сталью.
Поезд царский послушно встречает народ,
Но не кличем заздравным —
 молчаньем повальным.
Только птица на клетке царёвой поёт.

И откуда взялась эта дивная птаха?
Из казачьего сердца, из воли степной?..
Но выводят царя, и граф Панин с размаха
Бьёт его по лицу пухлой барской рукой.

Но нельзя развенчать казака Пугачёва,
Коль его до царя возвеличил народ.

И звенят от пощёчины барской оковы.
И стучат топоры, громоздят эшафот.

И когда голова покати́лась с плахи,
И качнулась толпа, любопытствуя, к ней,
Из груди Емельяновой алая птаха
Взмыла вверх — выше древних московских
церквей!



Сказ про казнь Емельяна Пугачёва и скоробогатство синбирского дворянина

Утро 10 января 1775 года было в Москве сухим и морозным. Окно в комнате, где жил Кротков, за ночь насквозь промёрзло, заледенело и от медленно восходившего над древней столицей солнца окрасилось в сукровичный цвет. Поёживаясь от холода, Степан выпростался из-под тёплого одеяла, облачился в подбитый заячьим мехом атласный халат и, выглянув в коридор, крикнул слугу. Малый скоро принёс лохань с холодной водой и кувшин с горячей, чтобы барину было чем умыться и побриться. Закончив приборку лица и головы, Кротков неторопливо стал одеваться к выходу в город.

Открытый санный возок мало соответствовал бобрам, но Кротков в этот день был выше того, чтобы придавать значение таким суетным мелочам. Он взгромоздился на сиденье, запахнул шубу и ткнул Сёмку в бок, побуждая его встряхнуть вожжами. Зашуршали по жёсткому снегу полозья, сторож распахнул ворота, и сани выехали на улицу, где нашли себе место в людском потоке, который был устремлён к Каменному мосту. Невзирая на стужу, дворяне и простонародье спешили на Болотную площадь, где всё уже было готово для свершения казни над Емельяном Пугачёвым и его ближайшими приспешниками.

Экипажи через мост не пропускали, и Кроткову пришлось выбраться из саней и присоединиться к толпе, где благодаря вельможным бобрам он нашёл для себя просторное место: люди почтительно сторонились Степана, подозревая в нём значительную особу, никак не ниже четвёртого класса, возможно, даже сенатора.

За мостом взору Кроткова открылась Болотная площадь, уже почти целиком заполненная народом. Все кровли домов и лавок вокруг неё были усеяны людьми, которые нашли там места для самого выгодного обозрения предстоящих казней. Эшафот был ограждён каре из пехоты с ружьями, но от него до эшафота оставалось значительное пространство, куда пропускали только

дворян. Кротков поспешил туда, не оглядываясь по сторонам, и опять шуба стала для него магическим пропуском, позволившим Степану подойти к эшафоту на расстояние трёх сажений и пристально рассмотреть это ужасное сооружение.

Эшафот, по бокам обшитый досками, приподнимался над землёй на высоту полутора сажений. Помост был огорожен со всех сторон невысокой балюстрадой-заборчиком, посередине его высился столб с воздетым на нём колесом, который увенчивала железная спица. Вокруг эшафота стояло несколько виселиц с приставленными к ним лесенками и висящими петлями, а возле столбов находились предназначенные для повешенья узники. До Кроткова порывом лёгкого ветерка донесло сивушный запах: сгрудившись на помосте, палачи пили отпущенную им из казны водку.

— Везут! Везут! — зашумела и заколебалась вся площадь.

Издав невнятный гул, толпа раздалась на две стороны, освободив дорогу для высоких огромных саней, на которых приехали Пугачёв, священник и чиновник Тайной канцелярии. Одетый в белую баранью шубу и с непокрытой головой, Пугачёв кланялся по обе стороны народу, но слов, которые он при этом произносил, не было слышно. Кротков замешкался вместе с другими людьми отойти в сторону, и когда сани подъехали к нему, он, собравшись с духом, поднял глаза на узника, но Пугачёв его не увидел. Взгляд смертника был устремлён в бездну, куда ему уже неизбежно предстояло погрузиться навсегда.

Многочисленная толпа окружавших место казни дворян при виде своего кровного врага возликовала, что злодею не удастся избежать возмездия, но свою радость люди благородного сословия в открытую не высказывали. Послышался всего лишь один, не поддержанный другими, удивлённо-негодующий возглас:

— Боже мой! До какого ослепления могла дойти наша чернь, чтобы почесть такого сквернавца за государя императора!

Но мужицкий царь этого барского упрёка народу не слушал, с саней его свели к крыльцу эшафота. Медленно ступая, он поднялся на помост и предстал перед толпой в сиротском и

затрапезном виде, ничуть не напоминающий того грозного Пугачёва, который вздыбил на дворян подневольную Русь. В его чертах не было ничего свирепого, он даже казался растерянным и бормотал молитвы, кланяясь по сторонам и временами вскрикивая: «Прости, народ православный!..»

Распорядитель казни обер-полицмейстер Архаров дал знак чиновнику огласить решение и сентенцию Сената. Наконец прозвучал приговор: казнь четвертованием. Палач сорвал с Пугачёва баранью шубу, разорвал на нём малиновое полукафтанье и опрокинул его на плаху. Сверкнуло лезвие топора, и в этот миг многие свидетели казни отвернулись или потупились, но только не Кротков. Он широко раскрытыми глазами глядел на летящий к плахе топор и вдруг ощутил вокруг своей шеи нестерпимое жжение.

— Ах, сукин сын! Что ты сделал! — закричал на палача чиновник. — Ну, скорее — руки, ноги!

Теперь уже на всех смертников набросились их палачи. Над толпой явственно разнёсся стук топоров — это отрубали руки и ноги у Пугачёва и Перфильева, из-под приговорённых к повешенью были выбиты лесенки, и в петлях, корчась, забились Торнов, Падуров и Шигаев. Рукой палача на железную спицу была воздета отрубленная голова Пугачёва, на колесо возложены части тела, над которыми за клубился кровавый пар.

Не все дворяне смогли вынести столь убийственное зрелище, нескольких стошнило, но большинство стали веселы и довольны. Важный старик, стоявший рядом с Кротковым, промолвил:

— Умна матушка-государыня! Как ловко всем угодила: и дворянству, что требовало смерти злодея, и вольтеровской Европе, коя гуманно рубит своим преступникам головы, но протестует против четвертования в России. Нечего сказать, умна!

Ощущая в душе ледяную пустоту, Кротков добрёл до своих саней, взгромоздился на сидение и с недоумением взглянул на полицейского офицера, который, больно придавив ему ножнами сабли ногу, примостился рядом.

— Господин Кротков? — шевеля заиндевелыми усами,

строго осведомился офицер.

— Так точно, — пролепетал Степан, чувствуя, как под ним разверзлась пучина страха. Сёмка обернулся и удивлённо посмотрел на непрошеного седока.

— Что zenки лупишь! — ощерился офицер. — Гони на Монетный двор!

Не успел Кротков опомниться, как оказался в знакомом ему коридоре возле открытой настежь двери камеры Пугачёва.

— Вот и бывшие покои злодея, — промолвил офицер. И Степана вдруг обожгла ужасная догадка, что валявшиеся на полу возле лавки, покрытой овчиной, кандалы и цепь, все эти каторжные снасти, предназначены для него, и сейчас его снарядят в них и прикуют к стене, как Пугачёва. Усилием воли он сдержал готовую оросить ноги мокроту и всхлипнул, но офицер подтолкнул Кроткова в спину и понудил идти в дальний конец коридора, где размещались кабинеты следственной комиссии.

— Что, проводил в последний путь своего благодетеля? — язвительно сказал генерал Потёмкин. — Возрадовался, что больше никто не знает о воровском золоте, которое ты хранишь в ретирадном месте? В бобров вырядился, мерзавец! Вон из Москвы! Повелением государыни тебе на пять лет воспрещён въезд в столицы! Сиди в деревне на своём поганом золоте и не высовывайся! — и сунул под нос Кроткова костистый кулак.

И тут потрясённый до глубины души Степан совершил невообразимое: он припал подрагивающими губами к генеральской руке и всю её облизывал благодарными поцелуями. Пока Потёмкин, онемев от изумления, судорожными движениями обтирал о кафтан испачканную слюнями руку, Кротков нашарил спиной дверь, вывалился в коридор и помчался, размахивая полами бобровой шубы, на выход. Вскочив в сани, он ударил Сёмку по спине и крикнул:

— Лошадь не распрягай! Сегодня же повезёшь меня в Кротковку!

Погоня за пугачёвским кладом, завершившаяся, по воле государыни Екатерины Алексеевны, надёжным обретением сокровищ, подкосила Кроткова, и в свою деревню он приехал

совсем хворым, едва узнал бурмистра Сысою, и на долгое время слёг в постель. Внешне Степан выглядел вполне здоровым, его хворь проявлялась в равнодушии к жизни, углублявшемся приступами жутких кошмаров: ему по ночам мерещились то голова Пугачёва на эшафотной спице, то громадной величины кулак генерала Потёмкина, то дёргающийся в петле на ветке дерева несчастный Парамон Ильич.

Кротковым овладел страх быть отравленным, и к себе он допускал лишь Сысою, доверяя только ему себя кормить, поить и обихаживать. Верный холоп сокрушался, глядя, как барин мается неведомой его мужицкому уму хворью, и считал, что господина сглазили в Москве. Сысой был настойчив и привёл попа в господский дом, где он освятил все углы, на что Кротков равнодушно поглядывал со своей кровати, но эту ночь он первый раз провёл без обычных кошмаров. Когда отец Никодим явился на следующий день, Степан встретил его благожелательно, угостил чаркой очищенной и велел приходить к нему без зова. У попа хватило ума не надоедать жалобами на церковную бедность, а ежедневно орошать душу барина рассуждениями о бренности человеческого бытия и терпеливо ждать плодов от своего духовного саженца. К весне Кротков вполне созрел для принятия нужного решения: он велел Сысою выкопать тридцать одну бочку медных пятак, тридцать из них пожертвовал на строительство храма, а одну бочку подарил отцу Никодиму, чтобы он её потратил на священные одежды для себя и диакона.

Судьба вскоре отблагодарила Кроткова за богоугодный дар женитьбой на хорошенькой дворяночке старинного рода и значительного состояния, которая принесла ему, одного за другим, двух сыновей.

После пяти лет затворничества в деревне он рискнул поехать в Синбирск, где осмотрелся и купил две деревни с семьями крепостных душ. Этим его приобретения не ограничились. Всего Кротков приобрёл на золото пугачёвского клада 6000 крепостных в Синбирской и Московской губерниях, усердно занимался хозяйством и богател, однако одно обстоятельство лишало его ощущения полноты счастья. Скорое богатство

Кроткова вызывало подозрение у всех, кто его знал. Пошли толки, что Кротков заимел его нечестным путём, якобы подкараулил и убил демидовского приказчика, который с золотой казной проезжал мимо его деревни. Но в основном, судачили о том, что находилось ближе к правде: будто Кротков служил у Пугачёва казначеем, оттого и неслыханно обогатился. Этот слух был запечатлен известными мемуаристами и повторён Е. Карновичем в книге «Замечательные богатства частных лиц в России», изданной в 1874 году.

Это, конечно, выдумка. Пугачёв вешал всех встреченных им дворян и доверять добычу Кроткову не мог, а если бы доверил, то казначей не долго бы прожил, потому что слишком много охотников на его голову имелось в окружении «мужицкого анпиратора». О потомках Кроткова известно, что они отличались грубостью и жестокостью, торговали людьми, как скотом, кнутобойствовали и насильничали, удивляя своими повадками даже привычные ко всему губернские власти. Наконец возмущение крестьян достигло предела, и в мае 1839 года в селе Шигоны Сengилеевского уезда Синбирской губернии толпой был растерзан помещик Павел Кротков, обвинённый крестьянами в поджигательстве.

Это нелепое на первый взгляд обвинение отражает суть взаимоотношений между народом и благородным сословием. Своими неправдами и насилиями правящий класс даже после пугачёвского бунта продолжал усердно «поджигать» Россию, и стоило появиться новому Пугачёву, вооружённому теорией классовой борьбы, как грянула революция. Именно Ленин и стал тем кладом Пугачёва, о котором бредил народ до 1917 года. К чему это привело, известно всем, но осознано далеко не многими.

Указ про детство и возмужание поэта Ивана Дмитриева

В начале восемнадцатого века пустопорожней, ничейной землицы в Синбирском крае почти не осталось. Вся она была поделена между казной, царской семьёй и дворянами, коим земля жаловалась за службу сначала на время, но уже начиная с царя Фёдора Алексеевича, навсегда и безвременно, вместе с крестьянами. Земельные пожалования получали, как правило, активные участники освоения Поволжья, подавления разинского бунта и ветераны русско-польских войн, которые велись за освобождение Украины и коренных русских земель, утраченных в Смутное время. Получали земли в Синбирском Поволжье и фавориты российских императриц.

Дворянский род Дмитриевых ведёт своё происхождение от князей Смоленских, прямых потомков Владимира Мономаха. Его правнук Александр Нетша во время Батыева нашествия бежал «в немцы» и вернулся на Русь ко двору московского князя Ивана Калиты. Поэт Иван Иванович Дмитриев был прямым потомком Нетши в двенадцатом поколении и правнуком Константина Арефьевича Дмитриева, стрелецкого головы Тагая и участника возведения укрепленного пограничного вала вокруг Синбирска в 1653-1654 годах. Прадед Семён Константинович возглавлял Синбирское воеводство в 1708-1709 годах, затем в 1715-1716 годы был комендантом Сызрани. Он неоднократно награждался поместьями в Синбирской губернии (Дмитрово-Троицкое, Богородское и др.). Его сын Яков Семёнович был воеводой в Сызрани в 1727 году, получил поместье близ Синбирска. Дед поэта Гаврил Яковлевич в 1739 году получил патент на чин секунд-майора и своего сына Ивана записал ещё младенцем в Семёновский полк, иного жизненного пути у дворян тогда практически не было, все они были обязаны служить.

Иван Гаврилович Дмитриев начал служить в 1753 году при императрице Елизавете Петровне в гвардии, будучи четырнадцати лет отроду. Достаток позволял снимать

отдельную квартиру, но в остальном ему пришлось вполне испытать тяготы солдатчины: армейскую строевую муштру, караульную службу, длительные полевые выходы. Видимо, пребывание его в гвардии было недолгим, он вышел в отставку, вернулся в родовое гнездо, и первым большим делом его жизни стало строительство дома.

Это были длинные одноэтажные хоромы, без фундамента, построенные из толстых брёвен, не отличавшиеся изяществом, но прочные и тёплые. По мере умножения семейства к дому делались пристройки, вокруг размещались в отдельных строениях службы, обеспечивающие ежедневную жизнь барской усадьбы. Строительство дома было завершено в 1760 году, когда на свет появился второй сын Иван Дмитриев, впоследствии поэт, министр, сенатор, кавалер высших орденов Российской империи. Первенцем был Александр, умерший довольно молодым, но уже полковником, командиром пехотного полка. Младшие братья Сергей и Фёдор ни способностями, ни рвением к службе не выделялись: один был просто ленив, другой — Фёдор — по горячности женился на особе сомнительного поведения, и это определило его судьбу.

Село Богородицкое находилось в двадцати четырёх верстах от Сызрани, уездного города, на плодородной чернозёмной земле, которую начали распахивать совсем недавно, поэтому она давала неплохие урожаи, что позволяло крестьянам существовать относительно безбедно. Крепостные были в полной власти помещика и, кроме своей запашки, обрабатывали поля своего господина, под его бдительным надзором. Иван Гаврилович Дмитриев был в своих владениях полным самодержцем для тысячи семисот душ (мужского пола, на которых налагался государственный подушный оклад) своих подданных.

За полевым хозяйством он строго следил, с раннего утра ездил в поле или на гумно, где обмолачивали снопы, знал крестьянскую работу досконально. Приказчики, мужики и бабы боялись его как огня: за плохо выполненную работу следовала немедленная расправа — порка. И в этом Иван Гаврилович не был исключением, власть над крепостными у помещика была

практически безраздельной, запрещалось только лишать крестьянина жизни, а наказывать его можно было как угодно жестоко.

На новой неистощенной земле урожай у помещика были очень хорошими. На господских гумнах хлеба бывало столько много, что копны стояли улицами, их не успевали перемолачивать, да и большой выгоды от этого не было: в Сызрани цены на зерно были очень низкими. У Дмитриева имелись большие запасы обмолоченного хлеба, и в неурожайные годы он безвозмездно отдавался крестьянам. Помещик как владелец крестьян был обязан при стихийных бедствиях помогать своим крепостным. Погорельцам бесплатно отпускали лес на строительство, голодающим — хлеб, поэтому на Руси до отмены крепостного права неурожайные годы были, но большого повального голода не наблюдалось, например, такого, который случился в начале девяностых годов XIX века.

Но вряд ли стоит представлять отношения между барами и крепостными идиллическими. Уже в XVIII веке крепостная зависимость была вопиюще несправедливым явлением русской жизни. При Алексее Михайловиче поместья выдавались во временное пользование за службу государству. Помещик кормился, приобретал вооружение, содержал ратных людей, лошадей, большую часть жизни проводил в военных походах в государственных интересах, и его поборы с крестьян были необходимы и оправданы. При Петре I, когда было заведено постоянное войско и деньги на его содержание государство брало напрямую с крестьян через подушную подать, накладывало на него другие государственные повинности, то крепостное состояние было явно несправедливым. Но принимая эту, в общем-то, верную точку зрения, следует иметь в виду и другое, пожалуй, даже более важное, чем чисто экономические отношения между помещиками и крепостными крестьянами.

Два с половиной века назад сельская община была очень замкнутым сообществом и жила, руководствуясь обычаями и законами народного правосознания. Главным критерием оценки окружающего мира было понятие «свой-чужой». «Своими» признавались односельчане, само село, пашни, луга, лес, река,

Бог, царь, свой барин, все православные люди, «чужими» — иноверцы, всякого рода государственные чиновники, гулящие люди и разбойники, которых в то время было великое множество. Помещик, если он жил в деревне, считался главой общины, он был хозяином, судьёй и милостивцем. Власть помещика имела черты власти родительской, недаром он именовал крестьян «детьми», а они его величали «отцом родным», хотя на самом деле были его рабами и даже предметом торговли. Это были сложные и противоречивые взаимоотношения, которые, тем не менее, просуществовали достаточно долго. И «золотой век Екатерины» был периодом расцвета крепостного строя, если только можно применить к нему это определение.

Иван Гаврилович Дмитриев вполне придерживался патриархальных нравов и был единодержавным властелином не только над крестьянами, но и в семье. Он был женат на Екатерине Афанасьевне Бекетовой, сестре известного фаворита императрицы Елизаветы, который за эту близость сильно пострадал от соперников: братья Шуваловы, заметив, что Бекетов усиленно пользуется различной парфюмерией, предложили ему мазь для лица. Бекетов простодушно принял подарок и вскоре по его щекам пошли язвы. Елизавете нашептали, что это дурная французская болезнь, и любовник был отставлен, хотя и щедро награждён.

Екатерина Афанасьевна была кроткой женой и трепетала перед супругом. А тому вздумалось, после отставки из гвардии, получить чин надворного советника, потому что капитанам дозволялось ездить только на паре лошадей. Спесивому Ивану Гавриловичу при его богатстве это казалось недостаточным. Никита Афанасьевич Бекетов помог своему родственнику и Дмитриев получил место городничего в Сызрани, а затем и вожделенный чин надворного советника, позволяющий ему ездить на четвёрке лошадей.

В эти годы помещик и городничий жил весело и открыто, имел самые обширные знакомства и большую псовую охоту. Из Сызрани в Богородское и обратно он ездил в сопровождении дюжины гусар, мобилизованных из дворян, одетых в нарядные

кафтаны. Была у Ивана Гавриловича ещё одна страсть — конный завод, на который он тратил до сорока тысяч рублей ежегодно. Разоряясь на лошадях, в семейных тратах он был весьма прижимист. Все его домочадцы, включая жену, получали от него по двадцать пять рублей на именины, а остальные траты на себя производили собственными деньгами. А они были и немалые, Никита Бекетов умер бездетным и значительные суммы завещал родне, в том числе и Дмитриевым.

В обстановке дома всё было сделано крепостными умельцами, мебель не радовала взгляд изяществом линий, но была сделана прочно. Зал для гостей, спальни, кабинет Ивана Гавриловича были обиты грубыми обоями, тогда их не приклеивали к стенам, а прибивали гвоздями. В других комнатах для прислуги стены — просто обтёсанные брёвна сруба со мхом в промежутках. Кровати для хозяев были деревянными, выкрашенные белилами, отполированные хвощом и по краям расписанные цветными полосками. В гостиной, где принимали посетителей, в углу стояла изразцовая печь, два ломберных столика и маленький столик из красного дерева, купленные бог весть когда, и призванные обличать перед гостями благосостояние владельцев. Хозяева спали на пышных пуховых перинах, накрывались другими перинами чуть потоньше. Все домочадцы день начинали и заканчивали молитвой. По воскресным и церковным праздникам всё семейство отправлялось в церковь Живоначальной Троицы, построенную в 1700 году прадедом Ивана Гавриловича стольником Семёном Константиновичем в селе Дмитриевском — Троицком. Не забывали посетить тамошний мужской монастырь и поклониться могиле прадеда, находящейся в пределах обители.

Размеренная жизнь нарушалась один раз в году, в день именин Ивана Гавриловича. К нему съезжались множество гостей и не из одной Синбирской провинции. Это были родственники, Бекетовы и Карамзины, начальствующие лица из уездного города Сызрани — городничий, судья, соляной пристав, почтмейстер, все в мундирах, при шпагах, купцы — в сюртуках и кафтанах с малиновыми шёлковыми кушаками,

многочисленные соседи и офицеры, бывшие в отпусках. Для поездки к обедне подавали, судя по чину, несколько карет четвернёй, остальные повозки запрягались парой, все лошади в упряжках подбирались по масти: серые, гнедые, чубарые, соловые и другие. После обедни подавали завтрак: круглый пирог, кулебяку с осетром и визигой, икру зернистую и паюсную, сыр и сельди. Затем Иван Гаврилович вёл гостей на конный завод, показывал лучших жеребцов и маток с жеребятами. Тогда правильного коневодства в России не существовало, и многие конезаводчики подбирали лошадей не по физически данным, а по масти. У Ивана Гавриловича были заведены лошади чубарой (с тёмными пятнами по светлой шерсти) масти. Гости, конечно, восторгались конским заводом, как и псарней, где было до полусотни русских борзых, любимых собак степных помещиков.

За праздничным именинным обедом сначала подавались стерляжья уха и суп, затем следовали огромная кулебяка и не менее огромный осётр, ветчина, говядина, фрикасе из цыплят и рагу. На десерт предлагались пирожные, дыни и арбузы, которыми изобиловали заволжские деревни. В этот день Иван Гаврилович изменял своему правилу не употреблять спиртного, на столе в различных фасонных бутылках и графинах стояли вина и водки, в том числе и бывший тогда в моде «Ерофеич». После обеда гости до ужина играли в карты, противники азартных игр оставались в столовой, их продолжали потчевать вином и закусками. После ужина, состоящего из жареных поросят и пирогов с рыбной и капустной начинкой, обильно запиваемых вином, гости укладывались спать в освобождённых для этой цели комнатах на перинах, которых в усадьбе был порядочный запас. Утром все освежались обильным питьём домашнего полпива (пиво, в котором в затор наливается вдвое больше воды) и кваса, затем наступало время прощальных объятий и поцелуев.

Через несколько дней после именин наступал Покров, степную округу покрывали снега, и наступала длинная зима. На гумне начиналась молотьба хлеба, крестьяне веселились — закончился ещё один ежегодный цикл земледельческих работ,

начиналась длинная череда зимних праздников и свадеб. Иван Гаврилович с неодобрением смотрел на языческие игрища своих подданных, но, подчиняясь обычаю, внешне воспринимал их как должное. Иногда он, взяв с собой супругу Екатерину Афанасьевну и более взрослых детей, уезжал на зиму в Синбирск, где имел своё домовладение, и проводил время в беседах с сослуживцами.

До восьмилетнего возраста об Иване Дмитриеве известно очень немного. Сам он о своём детстве пишет неохотно и мало, но даже в этих строчках чувствуется, что с младых лет над ним нависала, застыв свет, строгая фигура отца, неумолимого держателя домостроевского порядка. Строгий распорядок дня, изо дня в день повторяющиеся внушения о своей избранности будущего барина и душевладельца, формальная, без душевности, религиозность, отсутствие умягчающего сердце влияния матери — всё это не способствовало расцвету его поэтического дарования. Но таковы были нравы и обычаи того века, и осуждать их вряд ли стоит, к тому же молодым дворянам предназначалось с рождения не гуманитарное поприще, а государева служба: ещё младенцами их записывали в гвардейские полки. К слову сказать, что записывали всех, отказов не было, поэтому иногда списочный состав гвардейского полка превышал количество действительно проходящих службу в десять, а то и более раз.

Неизбежная государева служба заставляла родителей заботиться об обучении своих чад. Большинство недорослей учились грамоте у своих деревенских священников, те дворяне, что побогаче, приискивали учителей со стороны. Чаще это были отставные приказные, грамотеи из унтер-офицерского чина, и совсем немногие, действительно состоятельные помещики, отдавали своих детей в пансионаты, которые начали создаваться во всех значительных городах России. Организовывали эти пансионы чаще всего иностранцы, французы и немцы.

Осенью 1767 года в такой пансион были помещены Александр и Иван Дмитриевы. Находился он в Казани, где проживал их дед по матери Афанасий Алексеевич Бекетов. Проучились они там недолго, и Бекетов вскоре переехал в

Синбирск, куда уговорил перевести пансион французского мещанина Манженя, содержателя этого учебного заведения.

Мещанин Манжень встретил в Синбирске более удачливого соперника и вскоре свой пансион закрыл. Почти год учителем Дмитриева был доморощенный грамотей гарнизонный сержант Копцев, который учил мальчика по унтер-офицерской методике. Фундаментом обучения была зубрежка, это привело к тому, что за год учёбы ученик не выучил и четырёх арифметических действий. «Я только и слышал, — вспоминал Дмитриев, — непостижимые для меня слова: искомое делимое; видел на аспидной доске цифры и сам ставил цифры же наудачу...» Копцев приходил в ярость и на голову мальчика сыпались самые страшные ругательства.

Тем временем в Синбирске открыл пансион отставной поручик Кибрит, который воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе — одном из лучших военно-учебных заведений в России. Об этом свидетельствует тот факт, что в нём получил образование граф Бобринский, сын Екатерины II и графа Григория Орлова. Кибрит относился к своим воспитанникам снисходительно, не неволил их тупым зазубриванием, а поощрял интерес к знаниям, никогда никого не ругал и не наказывал и всегда был готов ответить на любые вопросы воспитанников. Этот ненавязчивый метод обучения дал свои плоды. Дмитриев в короткий срок освоил арифметику, сделал заметные успехи в занятиях русским языком и в географии. Особенно привлекали его занятия по всемирной и русской истории. Учебников по этим предметам тогда не было, Кибрит зачитывал ученикам отрывки из исторических сочинений Тацита, Плутарха, первого русского историка Татищева, затем они писали по ним сочинения. Мальчик обучался в пансионе французскому и немецкому языкам, знание которых в то время для дворянина, намеревающегося сделать гражданскую или военную карьеру, было обязательным.

Кибрит был всем хорош как учитель, но «платил дань слабостям своего возраста», то есть заглядывался на юных синбирских мещаночек. Иван Гаврилович испугался дурного влияния, которое он мог оказать на его сыновей, и забрал их из

пансиона. Так на одиннадцатом году жизни Ваня Дмитриев закончил своё обучение. Теперь образованием сыновей занялся отец. Где бы они ни жили — в сызранской деревне или в Синбирске — отец заставлял братьев повторять старые уроки, учить наизусть по-французски и по-немецки школьные и домашние разговоры по книге, изданной ещё в начале века. В библиотеке отца были книги на французском языке. Вооружившись словарём, Ваня прочитал «Тысячу и одну ночь», «Шутливые повести» Скаррона, «Похождения Робинзона Крузо» Дефо. Перед ним открылся таинственный мир приключений и открытий, он узнал о существовании других стран, где люди живут по своим законам и обычаям.

В юном возрасте Ваня Дмитриев познакомился со стихами знаменитого в то время пиита Александра Сумарокова. В новом для него мире поэзии поводом к сыну была мать, знавшая поэта лично через своего брата Никиту Бекетова. Екатерина Афанасьевна помнила наизусть многие стихи Сумарокова. Часто вечерами она сидела на канаве за вышивкой, старший брат присаживался напротив неё на маленькую скамеечку и, держа на коленях тетрадь, записывал стих за стихом, а Ваня, стоя рядом с ним, жадно впитывал в себя звуки поэтической речи. От матери он впервые узнал, кто такие Парис, прекрасная Елена, «Золотой век», будущий поэт находил в этих стихах неизъяснимую прелесть и гармонию и часто повторял их про себя, чтобы выучить наизусть.

В семьях, и не только дворянских, до середины XX века существовала традиция вечернего чтения вслух, изгнанная ныне телевидением. В семье Дмитриевых читали стихи Сумарокова, Хераскова. И можно себе представить, как глубоко запали в душу подростка строки Ломоносова из его «Вечернего размышления о величестве Божьем»:

Открылась бездна, звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Дмитриев начал жить в то время, когда только-только начал развиваться русский литературный язык, освобождаясь от ветхих слов и грамматических конструкций, на котором писались книги и песнопения религиозного содержания. В 1755

году М. Ломоносов написал, а в 1757 году издал первую научную грамматику русского языка «Российскую грамматику». Процесс обновления языка занял сто лет и был завершён А. Пушкиным, новый язык обретал права гражданства в произведениях поэтов, и Дмитриев со временем принял в этом деятельное участие.

Пока же он слушал одические вирши Сумарокова и Ломоносова со «...священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые чувства, новые наслаждения и прельстился славой поэта». Неизвестно писал ли в детстве Дмитриев стихи, но от первых публикаций его отделяли ещё пятнадцать лет жизни.

Однажды по дороге в Синбирск Ваня сидел в коляске и любовался окружающими сызранский тракт густыми дубравами, полями, на которых золотилась спелая рожь, причудливо всхолмленными далями и вдруг понял, что он только рассматривает окрестности и ни о чём не думает. Вспомнилось ему, что во французских романах герой, даже передвигаясь верхом или в коляске, о чём-нибудь размышляет, а он, Ваня, попусту тратит время. Эта мысль так поразила будущего поэта, что он будет вспоминать о ней всю жизнь. А тогда он сделал неутешительный для себя вывод: «Конечно, от того я не размышляю, что они (литературные герои, Н.П.) были меня умнее». Вывод одновременно здравый и наивный, но нам важно отметить, что у Дмитриева ещё в отрочестве открылась способность к самоанализу.

Ему было тринадцать лет, по современным понятиям он был ещё ребёнком, но в то время это был возраст возмужания, и мимо него не проходили незамеченными великие исторические события, в которых участвовала Россия. Во время переезда в Синбирск началась война с Турцией. Иван Гаврилович получал правительственную газету и читал её вслух всему семейству. В век Екатерины русский патриотизм был стержнем внешней и внутренней политики России, и понятно, какую радость вызвала весть о сожжении турецкого флота при Чесме. «У отца моего от восторга прерывался голос, — вспоминал поэт, — а у меня навёртывались на глаза слёзы».

Хотя на юге бушевало пламя войны за православие и свободный выход к Чёрному морю, в Синбирске было покойно жить и благоденствовать. В семидесятых годах XVIII века в городе насчитывалось чуть больше десяти тысяч жителей, занимавшихся торговлей и ремёслами. Полковник А. Свечин, обследовавший по заданию сената корабельные леса в Казанской губернии, оставил о Синбирске запись: «Положение места весьма весёлое. Строение ветхое, сделанное по старинному обыкновению. Улицы посредственной ширины, имеющие деревянные мосты, к тому же по высоте места и по скатости оных не весьма грязные».

Приятные впечатления о Синбирске остались у юного Дмитриева. Ему казалось, что обыватели — от дворянина до простолюдина — были довольны своей жизнью, последний мещанин имел при доме «плодовитый» садик, на окне — бальзамин и ничего не платил за доставшийся ему от родителей или купленный лоскуток земли. Эти же приятные чувства будет испытывать к родному городу И. Гончаров, создавший спустя полвека бессмертного «Обломова». Тогда не было в провинции театров и клубов, которые разлучали мужей с жёнами, отцов с их семействами, жизнь была патриархальной, устойчивой в своём нравственно-религиозном основании.

Иван Гаврилович и его семейство вели в Синбирске жизнь согласно установившихся традиций. Первых особ в городе он уважал не за должности, которые они занимали, а по их личным достоинствам. Почти ежедневно у него сходились его приятели — умные, образованные, повидавшие свет. Читали вслух свежую газету, обсуждали политические и военные новости, играли в ломбер (игра в карты, отсюда название «ломберный стол», *Н.П.*), дожидаясь обильного ужина. Ваня не отходил от взрослых и внимательно вслушивался в их разговоры о петербургских новостях, пиитах Ломоносове и Сумарокове, о соперничестве которых ходило по России множество анекдотов, молодом Фонвизине, обратившем на себя внимание комедией «Бригадир», об эпидемии холеры в Москве и победном окончании русско-турецкой войны, которого все ждали в самом скором времени.

Но безмятежное спокойствие провинциальной жизни оказалось непрочным. На оренбургской окраине империи объявился самозванец Емельян Пугачёв, выдававший себя за императора Петра III, свергнутого своей женой Екатериной с престола и вскоре убитого заговорщиками в Ропше при загадочных обстоятельствах. Пугачёв приобрёл сторонников в яицких казаках, далее к нему массами стали присоединяться крепостные крестьяне и крепостные горно-металлургических заводов, острожки Оренбургской черты были захвачены и находящиеся в них коменданты и офицеры зверски убиты, и народный бунт, как вулканическая лава, хлынул в Поволжье.

Всех помещиков Казанской губернии, в которую входила Синбирская провинция, известие о бунте повергло в смятение, а затем в ужас. Те дворяне, что были дальновиднее и представляли себе опасность разъярённых толп крестьян, бежали из своих мест в более спокойные города и местности. Иван Гаврилович не стал медлить с отъездом и спешно со всем семейством выехал в Москву.

Дмитриевым повезло, они не попали в руки ни одной из шаек, которые разбойничали вдоль московского тракта, иначе их участь была бы ужасна. Разбойники и раньше грабили проезжающих богатых людей, но лишали их жизни в исключительных случаях, довольствуясь награбленным. С появлением Пугачёва, призывавшего в своих «манифестах» уничтожать дворянское сословие, классовая ненависть обрела самые жестокие формы. Казалось, вновь вернулись времена Разина, и Синбирская провинция опять стала полем битвы между крестьянами и помещиками.

Народное правосознание никогда не признавало законность своей рабской зависимости от помещиков, особенно эти настроения стали проявляться после указа Петра III о вольности дворянства. Стали распространяться слухи, что вольность объявлена и всем крестьянам, а бары утаили это от народа. Глухое брожение с появлением самозванца выплеснулось наружу, народ стал требовать воли и взял в руки оружие.

Сполохи будущего восстания были заметны в Синбирской провинции ещё до появления Пугачева. Беглые крестьяне,

объединяясь в шайки, жгли помещичьи усадьбы. За пять лет до Пугачёва под Синбирском разбойничали до семидесяти беглых крестьян, дворовых и солдат под предводительством Ивана Колпина, вооружённых ружьями и саблями, пиками и четырьмя пушками. Крепостные графа Шереметьева из села Знаменское Синбирского уезда целый год удерживали власть в селе и были усмирены только регулярными войсками. С появлением верных известий о мужицком царе восстание приобрело характер стихийного бедствия, никто не мог быть уверен в Поволжье, что не окажется в одночасье ограбленным или убитым.

Восставшие крестьяне подступали к Синбирску. Комендант полковник Рычков приказывал трубить сбор и под грохот барабанов выступил навстречу бунтовщикам во главе части солдат гарнизона. От города Рычков дошёл до Уренского городка, там его подчинённые перешли на сторону восставших, комендант и его офицеры были захвачены и казнены. Предводитель крестьян Фирс Иванов двинулся на захват Синбирска, но полковник Обернибесов с помощью полученного подкрепления отразил это нападение.

По всей Синбирской провинции пылали помещичьи имения. Но даже в этом хаосе всеобщего разорения находились те, кого бунт не только не разорил, но и неслыханно обогатил. В 1874 году в Петербурге вышла книга Е.П. Карновича «Замечательные богатства частных лиц в России». В ней рассказывается о том, как разбогател синбирский помещик Степан Кротков. Он во время бунта жил в своей деревне, когда к нему нагрянул сам Пугачёв. По какой-то причине помещика он не казнил, и, покидая село, взял его с собой. Кротков в дороге бежал, возвратился в свою усадьбу и в риге (овине), в хлебных скирдах нашёл несколько сундуков с серебряной посудой и драгоценными предметами, на которых разжился и стал владельцем шести тысяч душ крепостных. Однако от богатства было немного проку, его сыновья оказались пьяницами и мотами, один из них задумал без разрешения отца продать деревню и в списки продаваемых крестьян внёс родного отца в качестве бургомистра. Внук Павел Кротков отличался крайней

жестокостью к крестьянам, и был убит ими в 1839 году в селе Шигоны Сентигилеевского уезда.



А. Суворов указывает Е. Пугачёву на клетку, в которой самозванца доставили в Синбирск

1 октября 1774 года Е. Пугачёв в специальной железной клетке, в кандалах под конвоем двух рот пехоты, 200 казаков и двух орудий, которыми командовал генерал-поручик А. Суворов, был привезён вместе с женой Софьей и сыном Трофимом в Синбирск. На это известие, прогремевшее на всю Россию, о поимке злодея откликнулся поэт А. Сумароков, написавший «Станс граду Синбирску на Пугачёва». В нём есть, в частности, строки:

Прогнал ты Разина стоявшим войском твердо,
Синбирск, и удалил ты древнего врага,
Хоть он и наступал с огнем немилосердно
На волгины берега!
И Разин нынешний в твои падёт оковы,
И во стенах твоих окованный сидит...
Противен род дворян его ушам и взору,
Сей враг отечества ликует, их губив,
Дабы повергнуть престола сим подпору,
Дворянство истребив.

Сказано косноязычно, но вполне понятно. Добавим, что в сумароковском «стансе» чуть ли не впервые в классической русской поэзии был упомянут град Синбирск, и с этого стихотворения начинается поэтическая летопись «Града славного и похвального».

Иван Гаврилович Дмитриев, конечно, горевал о разорении своих усадеб, но у него были и другие хлопоты. В мае 1774 года он повёз своих сыновей в Петербург для их определения в гвардии Семёновский полк для прохождения строевой службы.

В конце 1774 года был заключён мир с турками, и гвардия получила повеление прибыть в Москву на празднование победы. Малолеткам, чтобы они доставили своим прибытием радость родителям, было позволено выехать раньше с условием, что в Москве они явятся к месту своей службы.

В Москву Иван Дмитриев прибыл в разгар приготовлений к празднованию победы над турками. На Пречистинке заканчивалось строительство огромного временного дворца для Екатерины II, а на Болотной площади возводили эшафот и виселицы для Пугачева и его ближайших соратников. Казни были совершены до победных торжеств, Иван с братом на них присутствовали. Более чем через полвека он вспоминал об этом дне:

«В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, чтобы мы ни на шаг от него не отходили.

Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною верностью описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось.

В десятый день января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов пополуночи приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот, или лобное место, вокруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и шарфы сверх шуб по причине

жестокого мороза. Тут же находился и обер-полицеймейстер Н.П. Архаров, окружённый своими чиновниками и ординарцами. На высоте, или помосте лобного места, увидел я с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади фронта всё пространство Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высотах с обеих сторон её, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг всё восколебалось и с шумом заговорило: «Везут, везут!».

Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной величины сани, и в них сидел Пугачёв; насупротив духовник его и ещё какой-то чиновник, вероятно, секретарь Тайной экспедиции. За санями следовал ещё отряд конницы.

Пугачёв, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил в чертах лица его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицом смугл и бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, чёрные и небольшую бороду клином.

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачёв и любимец его Перфильев в препровождении духовника и двух чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное: «На караул!». И один из чиновников начал читать манифест; почти каждое слово до меня доходило.

При произнесении чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал его громко: «Ты ли донской казак Емелька Пугачёв?». Он отвечал столь же громко: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской станицы, Емелька Пугачёв». Потом, во всё продолжение чтения манифеста, он, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов, благословил их и пошёл с эшафота. Читавший манифест последовал за ним. Тогда Пугачёв сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с

народом; кланялся на все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти мне, в чём я согрубил пред тобою; прости, народ православный!». При сём слове экзекутор дал знак: палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шёлкового малинового полукафтаны. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул её за волосы. С Перфильевым последовало то же.

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство и сам осуждал себя. Как скоро Пугачёв готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я притворно показывал то же расположение, но между тем, украдкой, ловил каждое движение преступника. Что ж этому было причиною? Конечно, не жестокость моя, но единственно желание видеть, каковым бывает человек в столь решительную, ужасную минуту...».

В 1775 году Иван и Александр Дмитриевы по ходатайству брата матери сенатора Никиты Бекетова были произведены через чин в ефрейторы и приступили к службе в Семёновском полку. Тогда ни родителей, ни государство не беспокоило, что служба чрезмерно отяготит подростков, повлияет на их здоровье и развитие. Недоросли несли тяготы солдатской службы наравне со взрослыми, занимались строевой подготовкой, участвовали в маневрах, ходили в караулы, учили уставы, французский и немецкий языки, географию, математику и всеобщую историю. Гвардейские полки были школой обучения и воспитания государственной элиты. Гвардейские офицеры пополняли командный состав сухопутных сил, становились гражданскими администраторами, юристами, дипломатами, им открывалась дорога к достижению высших государственных постов.

Тогда не было такой профессии как литератор, звания писателя не существовало. На занятие литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Содержать себя писательством было невозможно, гонорары книгопродавцы предпочитали выплачивать не деньгами, а книгами. За оды,

поднесённые императрице, пииту жаловалась ценная табакерка или перстень, но устойчивое финансовое положение можно было приобрести только службой. Иван Дмитриев это прекрасно понимал и служил, отдавая поэзии редкие часы досуга.

Попытки заниматься сочинительством начались в 1777 году. Дмитриев называл их «мои опыты в рифмовании — мне совестно сказать — в поэзии». Он не знал ни правил стихосложения, не имел понятия о метрах, разнородных рифмах, о их сочетании, он писал как бог на душу положит, плохо представлял себе, что хочет написать, путаясь в нагромождениях переполнявших его слов.

Известный книгоиздатель и масон Н. Новиков в своём журнале «Учёные ведомости» пригласил поэтов сочинить надписи к портретам известных россиян. Дмитриев получил журнал, когда заступал в караул. Объявление Н. Новикова его очень заинтересовало, и он сочинил надпись, потом всю ночь повторял её, чтобы не забыть. Утром, освободившись от службы, он бегом бросился к себе домой, красивым подчерком на хорошей бумаге написал стихотворение и отправил его в журнал. Через неделю оно было опубликовано вместе с отзывом издателя. Поэт счёл его ироничным: Новиков написал, что «желает хороших успехов неизвестному сочинителю», Дмитриева это покорило, но «рифмокопательство» он не оставил. Брат Александр относился к стихотворству Ивана насмешливо и долгое время поэт печатал свои стихи анонимно, чтобы избавить себя от колкостей и насмешек.

В Семёновском полку было много любителей поэзии, и один сослуживец посоветовал Ивану Дмитриеву купить «риторику» Ломоносова, через некоторое время он изучил «Поэтику» Байбякова. Его кумирами были Сумароков и Харасков, но ненадолго, всех затмил Гавриил Романович Державин, которого Иван Дмитриев почитал как гения всю свою жизнь.

В 1776 году типография Академии наук выпустила книгу «Оды, сочинённые при горе Читалагая» без имени автора, которая с первого прочтения покорила Дмитриева мощью поэтического дара создателя невиданных доселе поэтических

шедевров. Затем, уже не анонимно, в «Санкт-Петербургском вестнике» Державин опубликовал «Послание к Шувалову», «На смерть князя Мещерского», «К киргиз-кайсацкой царевне Фелице», под которой ясно для читателей подразумевалась Екатерина II. Императрица, прочитав оду, растрогалась, так о ней ещё никто не писал. Поэт был приближен к трону, но Державин горел желанием посвятить себя государственной службе, и ему это было позволено. Он был назначен Олонецким, затем Тамбовским губернатором, но столь рьяно боролся с ворами и взяточниками, что попал их происками под суд Сената, к счастью был оправдан, но заимел репутацию неуживчивого и строптивого человека.

Державин был на семнадцать лет старше Дмитриева, занимал место в Сенате, имел громкую литературную известность, и о знакомстве с ним скромный подпоручик гвардии мог только мечтать. Узнать друг друга им помог случай. Дмитриев в одном из стихотворений написал о Державине с десятков строк, это место увидел его знакомый П. Львов и сообщил об этом маститому поэту. Державин заинтересовался и пригласил Дмитриева к себе в гости.

Он застал поэта и сенатора в колпаке и атласном голубом халате, когда тот что-то писал на высоком аналое (тогда писали стоя, а не сидя в мягких креслах, как сейчас), его жена Екатерина Яковлевна в утреннем белом платье сидела в кресле посреди комнаты, и парикмахер завивал ей волосы. Начинаящий поэт, краснея от смущения, поклонился, и Державин приветливо его поприветствовал, справился, как это тогда было принято, о здоровье родителей, тепло поблагодарил за стихи о себе и произнёс: «Наши российские пииты между собой сварливы, завистливы и неудержимы. Вот у моего дома каждое утро начинают свару две чухонки, калашницы, за место, уж больно оно бойкое для торговли. Не так ли наши пииты? Сталкивают, ссаживают друг друга с Парнаса, поливают грязью, строчат доносы. Сужу о тебе с первого взгляда — ты не таков».

Державин задержал у себя Дмитриева на целый день. Он о многом говорил: о назначении российской поэзии быть гласом справедливости, что её появление есть верный признак

возмужания языка, и во всём этом находил благодарного слушателя. Впоследствии они близко сошлись, Державин с трудом исправлял погрешности своих стихов, и Дмитриев был их редактором, по этому поводу они даже спорили, расходились, но, остыв, сходились опять.

Державину путь к Парнасу не был выстлан розами, он долго и мучительно находил себя в поэзии, характер имел резкий и вспыльчивый и совершал иногда предосудительные поступки. Будучи уже офицером гвардии, он поехал в Москву продавать деревеньку по доверенности матери. Продал и деньги проиграл в карты. Это затмение продолжалось почти год. Наконец, он опомнился и поехал в столицу, но въезд в неё из-за холеры с поклажей был запрещён. Тогда Державин сжёг сундук со своими рукописями прямо у шлагбаума.

Державин был крупен во всём: и в поэзии, и на службе, и даже в пиры в своем имении Званки закатывал такие, что о них судачили в столице.

Иван Дмитриев, переживший обоих наших гениальных поэтов, своим поэтическим воспитанием во многом обязан Державину и разделял его понимание предназначения поэта.



Сказ про историка Карамзина и его «Историю государства Российского»

-I-

История России необъятна.
Она как затонувший материк
Из толщи временной и невозвратной
Лишь иногда нам свой являет лик.

В ней — радость человеческого детства,
И горечь от несбывшихся надежд,
И подвиги, и подлые злодейства,
И наши мненья жалкие невежд.

И мы пред ней, то в ужасе немеем,
То слепнем от сиянья красоты.
И каждого державного злодея
Готовы оправдать и вознести.

И тщимся объяснить себе причины
Распада царств и гибели эпох...
В её бездонной роковой пучине
Сокрыт всех русских промыслов итог.

Все радости земные и все беды,
Исканья правды и дурман идей,
Все смыслы русской жизни, все ответы,
Всё будущее наше скрыто в ней.

Сонм пращуров державных не попустит
Нам позабыть про свой святой исток.
Россия как река вливается всем устьем
В безмерный океан, чьё имя — Бог.

-II-

Печальный русский дворянин,
Почтительно внимавший Канту,
Париж издавший и Берлин,
Знал цену своему таланту.

Он не любил парад и строй,
Полков упругое равненье.
И чувствовал перед собой
Высокое предназначенье.

Россия мощно шла вперёд,
Но было прошлое сокрыто.
Покамест не имел народ
Российский своего Тацита.

Он первым заглянул во тьму
Примеров грозных и печальных,
Бесстрастно пищу дав уму
Для выводов первоначальных.

Когда читал он, не спеша,
Свои рокошующие главы,
Самой Истории душа
Плыла над ним в сиянье славы.

-III-

Век восемнадцатый безбожный,
Паденье нравов и святынь.
И свет масонства — мёртвый, ложный —
Изведал юный Карамзин.

Попад в объятя Новикова,
Вдохнул мистический туман,
Способный с толку сбить любого,
Но не поддался на обман.

Людей учёных, без сомненья,
Но склонных к тайной суете,
Сказав, мол, жаждут просвещения,
А пребывают в темноте.

Что в нём их дух не обитает,
А тот, что был, давно прокис.
И ум его всегда питает
Обычный русский здравый смысл.

Что он не падок на обновы
И в жизни ценит простоту.
В масонстве видит пустоту,
И в оной духа нет святого.

-IV-

История России – не погост,
Для русского она живая книга,
Как, спотыкаясь, шёл державный рост
Всего, что есть, от мала до велика.

Он оживил минувших лет течение,
И мысль свою направил в высоту.
Вся от истоков Русь пришла в движение,
Ход набирая, от листа к листу.

И оживала под пером бумага,
Чтоб прошлое не стало мёртвым сном.
Не ведая пристрастия и страха,
Поведал нам историк о былом.

От книги к книге мощь державы крепла.
И озаря миллионы лиц,
Слова вставали из огня и пепла,
Герои поднимались из гробниц.

История России величава,
Как Божий храм, который Карамзин
Возвёл трудом монашеским один,
Чтоб воссияла русская держава.

-V-

Карамзин был божественной пробы,
С Геродотом размахом сравним.
Указал он дороги и тропы
Россиянам к истокам своим.

И помог им не только былое
Обрести, а надеждой горя,
Недостатки державного строя
Он в «Трактате...» довёл до царя.

Государь всё прочёл и сурово
Начертал на странице ответ:
«На Руси все крамольны обновы,
И они государству во вред».

Годы славные, годы лихие —
Всё на свете имеет свой срок.
И не царь правит грешной Россией,
Ей владеет как вотчиной Бог.

Карамзин был державного роста,
Духом твёрд, но душою раним.
Разговаривать было непросто
Самодержцу российскому с ним.

-VI-

Историю страны творит народ
Усилиями сотен поколений.
Но воссоздать её державный взлёт
Способен лишь великий русский гений.

Таким был Карамзин. Ему судьба
Минувшее провидеть даровала.
И музы Клио вечности труба
В его твореньях веще прозвучала.

России славу гений вострубил,
Не отвергая сумрачных преданий.
И предков для потомков воскресил
Во всей красе и мужестве деяний.

Веками сохранялась эта связь...
Но в наши времена растленья духа
С тревогою они глядят на нас,
Чьим делом стали смута и разруха.

Не дотянуться нам ни в чём до них,
Не чтим мы предков мудрые заветы.
Нас обуял отступничества стих:
Оболганы великие победы,

И музы Клио – вечности труба –
Безмолвствует, коль гласа нет народа.
России поколеблена судьба,
И торжествует пошлая свобода.

-VII-

Он память дал всем русским людям,
Но так беспамятен наш век,
Что долго труд его под спудом

В хранилищах библиотек
Лежал, сокрытый от потомков,
В подвальных сумрачных потёмках.

Он обвинён был веком новым
В пособничестве крепостникам.
Но арестованное слово
Из полутьмы светило нам.
И глубина времён державы
Нам открывалась в блеске славы.

Всё было в прошлом, но основа
России правдой скреплена.
И до сих пор не меркнет Слово
Историка Карамзина.

-VIII-

Листвы опадающей трепет.
И клик журавлей на лету.
Минувшего шелест и лепет
Слышны в Карамзинском саду.

Здесь русское прошлое живо
Со мной обо всём говорит.
И муза истории Клио
Над глыбой гранита парит,

Читая России скрижали
Понятным простым языком,
Про то, что нашли, потеряли
Мы всё на пути роковом.

Начала сокрыты во мраке,
И знают о них лишь одни
Созвездий сияющих знаки,
Болот колдовские огни,

Да ворон угрюмо молчащий
На древнем могучем дубу.
И лешие в сумрачной чаше
Пророчат России судьбу.

Ещё не рассеялся морок
Преданий, когда Карамзин,
Бесстрашный поэт и историк,
Решился дойти до глубин,

Из коих возшло государство,
И крепи его, и столпы —
До гибели Русского царства
От Смуты и козней судьбы.

До горькой кручины народной —
Паденья державных стропил
Довёл он свой труд благородный
И в бозе смиренно почил.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Художественно-историческая поэзия и проза о Синбирском-Ульяновском крае	5
Сказ про давние давности Синбирского края	8
Сказ про встречу Богдана Хитрово с царем Алексеем Михайловичем перед началом строительства Синбирска	21
Сказ про приход Богдана Хитрово с ратными и работными людьми на Синбирскую гору	29
Сказ про ногайский набег	36
Сказ про то, как синбирские казаки воевали со Степью	40
Сказ про чуму 1654 года в Синбирске	46
Сказ про охоту на лося гоном по льдистому насту	48
Сказ про атамана Лома и его воровскую ватажку	57
Сказ про то, как окольный Богдан Хитрово ударил палкой назойливого дворянина и как сей меткий удар отразился на судьбе патриарха Никона	75
Сказ про Богдана Хитрово	79
Сказ про замученного в Пустозерске синбирского протопопа Никифора	90
Сказ про то, как раскольниковый старец Кирилл пытался учинить самосожжение староверов	97
Сказ про клады синбирские	110
Сказ про купца Гостиной сотни Надею Светешникова	112
Сказ про то, как Богдан Хитрово привёз сыну Надеи Светешникова милостивое слово царя Алексея Михайловича	125
Сказ про Пешаное море и остров Счастья	136
Сказ про колдовскую силу Степана Разина и его решение идти на Москву	146
Сказ про разгром разинского войска под Синбирском	158
Сказ про осаду Синбирска Степаном Разиным	183
Сказ про то, как царь Пётр Алексеевич в Синбирске чай гонял	188
Сказ про Петра Великого	196
Сказ про синбирских невест	198
Сказ про сожжение еретика Якова Ярова	206
Сказ про Никольское-на-Черемшане	212

Сказ про то, как Пугачёв первый раз побывал в Синбирске ...	214
Сказ про то, как синбирское воинство переметнулось к державному самозванцу Пугачёву	226
Сказ про то, как Пугачёв второй раз побывал в Синбирске	234
Сказ про дворянина Кроткова, ставшего по милости императрицы Екатерины Великой обладателем пугачёвской казны	244
Сказ про Емельянову птаху	251
Сказ про казнь Емельяна Пугачёва и скоробогатство синбирского дворянина	253
Сказ про детство и возмужание поэта Ивана Дмитриева	259
Сказ про историка Карамзина и его «Историю государства Российского»	279

Полотнянко Николай Алексеевич

Синбирские сказания

Сборник сказов

В авторской редакции.
Компьютерный набор Л.И. Полотнянко.

На первой странице обложки
портрет Б. Хитрово (худ. С. Слесарский).
На титульной странице книги рисунок памятника
Б. Хитрово в Ульяновске (скульптор О. А. Клюев).
В тексте использованы рисунки Льва Нецветева, старинная
иконография из интернета.

Подписано в печать
Формат 60х90/16. Бумага офсетная.

Гарнитура
Печать ризографическая.

Усл. печ. л. 5,8.

Заказ №

Тираж 300 экз.

Отпечатано в издательско-полиграфическом центре